

Януш Леон Вишневский
Ирада Вовненко



Любовь
и другие диссонансы

Annotation

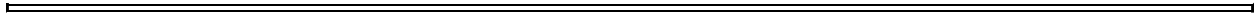
Она томится в золотой клетке — он прячется от жизни в психбольнице. Она с тоской думает о доме — он в свой дом предпочитает не возвращаться. Она растворяется в музыке, а слушая ее, обретает счастье — он слышит музыку в каждом звуке живой реальности. Оба они ранены, и обоих ничто не может исцелить. Или может?..

Что сулит им встреча? Страсть? Нежность? Разочарование? И какую музыку они услышат, если поверят в любовь?

Эта книга о стереотипах, которые живут у поляков и русских в отношении друг друга. Но в ней нет никакой политики, никаких «за» или «против». Только чувства. Теплые. Живые.

- [Януш Леон Вишневский, Ирада Вовненко](#)
 - [Берлин, 3 апреля, суббота, раннее утро](#)
 - [Москва, 28 марта, воскресенье, раннее утро](#)
 - [Берлин, 3 апреля, суббота, поздний вечер](#)
 - [Москва, 2 апреля, пятница, утро](#)
 - [Варшава, 5 апреля, понедельник](#)
 - [Москва, 4 апреля, воскресенье, поздний вечер](#)
 - [Краков, 4 апреля, пасхальное воскресенье, поздний вечер](#)
 - [Москва, 10 апреля, суббота, утро](#)
 - [Москва, 14 апреля, среда, вечер](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)

- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)



Януш Леон Вишневский, Ирада Вовненко
Любовь и другие диссонансы

Берлин, 3 апреля, суббота, раннее утро

Серый рассвет разбавил ночную мглу. Я вздрогнул от сильного удара в окно. Белый голубь словно не заметил препятствия или почему-то хотел проникнуть сквозь стекло. Я подошел ближе. На неровной линии треснувшего стекла виднелось красное пятно, а в месте удара прилипли несколько белых перьев. У меня перехватило горло, и я не смог сдержать слез...

Окна западного крыла психиатрической больницы в берлинском районе Панков выходили на глухую стену, и только с третьего этажа можно было увидеть мир за этой стеной. А перед ней была лишь мощеная булыжником площадь, ограниченная с двух сторон колючей проволокой. Когда-то тут была оживленная улица. В шестьдесят первом меньше чем за неделю асфальт заменили брусчаткой, тротуары ликвидировали и позаботились даже о том, чтобы камни выглядели старыми, словно площадь была такой всегда...

Но если встать подальше от окна, из поля зрения выпадают и стена, и даже несколько рядов колючей проволоки, натянутой на ржавые столбы, — видны лишь автомобили, припаркованные на улицах, часть парка с фонтаном и часы на колокольне красного кирпича. А по вечерам — неоновые огни дискотеки, причем так близко, что кажется, туда можно прыгнуть с подоконника. Когда ночью в больнице отключают электричество, наступает такая пронзительная тишина, что можно слышать музыку. Хартмут, который служит охранником психушки еще со времен Ульбрихта^[1], уверяет: то, что сделали с площадью, было страшной ошибкой. Если бы там, как и прежде, проходила улица, — а ведь она была и при Гитлере, — никто бы не выпрыгивал из окон. А едва появилась площадь, психи стали распахивать окна, разбегаться, отходя к умывальникам, и выпрыгивать, надеясь перемахнуть через стену. На самом деле до стены было больше десяти метров, поэтому они падали на мостовую и разбивались. Как говорит Хартмут, «такое расстояние, ясное дело, и Бимон^[2] не перепрыгнет». Правда, однажды умудрился прыгнуть даже хромой с протезом, после чего окна замуровали. Хромой упал вниз головой на козырек над входом в здание, и, по словам Хартмута, «было очень много крови, потому что, знаете ли, мозг кровоточит сильнее всего. А у хорошей мостовой настоящий немецкий характер: она несокрушима и выпитывает кровь навсегда». Директор клиники наотрез отказался входить в

дверь, «забрызганную кровью полудурков».

Теперь стены больше нет. А площадь осталась. Новая улица огибает ее полукругом. Директор измерил полукруг с помощью лазерного измерителя, и только ради этого власти города Берлина ему его купили. У немцев так заведено. Если на то существует предписание, непременно должен быть измеритель. Не важно, сколько он стоит. В суде главное — цифры. Тем более если архитектор — турок с немецким паспортом. Если бы архитектором был беспримесный, биологически чистый немец, может, и удалось бы сэкономить на измерителе.

Дискотека тоже есть. И фонтан — правда, без воды. И церковь, но ее колокольня молчит, говорят, нет денег на звонаря. «Это уже не мой город, — говорит Хартмут, — в наше время, если была церковь, и колокол звонил. Я-то в Бога не верю, но считаю, что колокол у церкви должен быть. Разве я не прав?»

Когда стену разрушили, число самоубийств резко сократилось. Аннета, психолог с ученой степенью, что работает здесь уже несколько лет, считает, что это заслуга Программы, с большой буквы «пэ». Главная ее идея заключается в том, чтобы «не изолировать гостей». Аннета считает, к примеру, что я не являюсь пациентом. В Панкове лечат не людей, а болезни, а значит, я здесь «гость». У которого поехала крыша. Это вселяет некоторый оптимизм. И что-то вроде самоуважения. Получается, я обосновался в Панкове как в гостинице. Сегодня я понял, что Аннета отчасти права. Тут действительно есть что-то от гостиницы. Рядом с туалетами располагается так называемый зал отдыха. Он находится именно здесь не случайно. В центре зала — рояль, у которого не хватает клавиш, но это не важно, ведь большая часть на месте, и играть на нем можно. Сегодня после обеда, когда я был в туалете, кто-то играл. Шумана. Я узнаю Шумана, даже когда буду лежать в гробу. А играли так, что я, заслушавшись, обмочил себе брюки. Когда вышел в зал, за роялем я увидел Джошуа. Я плотно закрыл окна, чтобы нам не мешал уличный шум, сел на подоконник, поближе к инструменту, и стал слушать. А Джошуа играл. Я заранее знал, когда ему попадет отсутствующая клавиша, и воспроизводил недостающий звук по памяти. Закрыв глаза, я думал, что же в музыке заставляет меня забываться. Когда Джошуа закончил играть и замер на покрытом потрескавшимся дерматином стуле из «ИКЕИ», он выглядел как настоящий псих: бегающий взгляд, дрожащие руки, безвольно повисшие вдоль тела, невнятный шепот, гримаса на лице и пена на губах. Он действительно псих. Такой же, как и я. Мне показалось, что в этот момент я в него влюбился. Так бывает, мужчины порой влюбляются в мужчин. Я

подошел к нему и спросил:

- Джошуа, почему ты играешь Шумана?
- Потому что он один из нас...
- Как это один из нас? Шуман не был евреем...
- И тем не менее он один из нас.
- Что ты, мать твою, имеешь в виду?
- Он был романтик. И психически больной. Такой же, как мы...

Я придвинул к роялю второй стул и сел рядом с Джошуа. И мы не сговариваясь начали играть. Он — Шумана, а я — Шопена. На одной клавиатуре, параллельно. Два психа играли два разных произведения. Я не помню, что именно из Шумана играл он, и не помню, что из Шопена играл я. Но музыка каким-то чудесным образом совпала. Как интерференция волн, способная разрушить мост. Несмотря на отсутствующие клавиши. И в этом не было никакого диссонанса. Это было похоже на одержимость. А потом, когда мы закончили играть, Джошуа стало стыдно, что он так расчувствовался, а мне — что я заставил его стыдиться. Мы встали из-за рояля и молча пошли каждый в свою сторону.

Джошуа отправился в туалет, а я — на групповую психотерапию. Я чувствовал, что мне необходимо срочно переключиться. Групповая психотерапия отличается от обычной тем, что нужно рассказывать о себе не врачу, а целой группе людей. Вообще-то это трудно сделать. Признаться шепотом, с закрытыми глазами, что отец засовывал свой огромный пенис в твой крошечный анус, когда ты была восьмилетней девочкой, еще можно психиатру, но не посторонним. Я не посещал групповую психотерапию. Но после Шопена с Шуманом мне почему-то захотелось туда пойти.

Кроме профессора Мильке, семидесятишестилетнего старика в коротковатых брюках, беспрестанно грызущего ногти, в кабинете были две женщины: Магда из чешского Тешина и немка, которая записывала ее рассказ. Немцы любят все протоколировать. Даже рассказы об анальном сексе с отцом. Я сел на свободный стул рядом с Магдой и обратился в слух. Магда говорила по-немецки.

Она родилась в чешской части Тешина. В этом городе протекает река Ольза, разделяющая Чехию и Польшу. Магда родилась в нескольких сотнях метров от границы — тогда еще между Чехословакией и Польшей. Она и сейчас утверждает, что родом из Чехословакии, и считает, что словаки «отделились только из-за неумной жажды власти нескольких братиславских политиков». Она сама мне это сказала. По-чешски. Для поляка слушать чешский язык — весело по определению. О чем бы чехи ни говорили на своем языке, поляков это смешит. Проезжая неподалеку от

чешской границы, я всегда слушал только чешское радио. Даже информация о цунами и землетрясениях вызывает нервный смех. Хотя это и странно, а может, и весьма оскорбительно для чехов, но это так.

Сейчас Магда говорила по-немецки. Немецкий никогда не звучит смешно. Я много лет живу в Германии, но все равно воспринимаю фразу, сказанную по-немецки, как некую команду. Видимо, усвоил на генетическом уровне. Интересно, через сколько поколений этот ген подвергнется мутации и исчезнет?..

Магда то умолкала, глядя на свои руки, то вздыхала, то повышала голос и даже начинала кричать, чтобы через мгновение перейти на шепот. Но не заплакала. Ни разу...

Я не знаю, существует ли предел страданий, приходящихся на долю одного человека. Говорят, нам отпущено столько, сколько мы в состоянии вынести...

Моя фамилия Шмидтова. Не Шмидт, а Шмидтова. Потому что я не Шмидт. Я не могла бы называться «фрау Шмидт». Даже выйдя замуж за любимого мужчину, я не могла бы стать немкой. Поэтому я заплатила большие деньги, чтобы так было написано в моем паспорте. Это была неудачная инвестиция. Шмидт, мой бывший муж, в один прекрасный день пришел к выводу, что я для него «слишком толстая и слишком старая», а его сослуживцы приводят на вечеринки «куда более красивых и молодых девиц». Он так и сказал. По пьяни, конечно. Я не хотела выглядеть толстой старой коровой на корпоративах «Дойче банка», поэтому подала на развод. Я, может, и толстая, но ведь не старая. А тогда мне было всего двадцать восемь. Дочь Шмидта от первого брака старше меня на два года. Да и не толстая я вовсе! Для Марселя я была худой. И для Дарьи тоже...

Произнося имя Дарьи, я обычно плачу. Я бы и сейчас заплакала, но я теперь в психушке, и мне уже три недели дают психотропные средства. Либо они на самом деле действуют, либо у меня закончились слезы.

Марсель...

Он появился в моей жизни в тот день, когда я развелась со Шмидтом. Выйдя из здания суда, я пошла в соседнее бistro. Развод — всегда поражение. Даже если это развод с таким ничтожеством. Я пила водку, вспоминала напрасно прожитые с мужем годы и, видимо, была похожа на женщину, которая нуждается в поддержке. Марсель подсел к моему столику, протянул бумажные носовые платки и, как он уверял, «без памяти» в меня влюбился. Настоящего Марселя я открыла для себя двумя годами позже. А прежде пережила депрессию, два запоя, четыре увольнения с

работы по статье, зависимость от валиума, пять переездов, восемнадцать различных диет и два аборта, а еще переспала с четырнадцатью мужчинами и одной лесбиянкой, Дарьей из Москвы. Из отчаявшейся я превратилась в отчаянную.

Если исключить Дарью, то инженер Эдвард Мёрфи, сформулировавший свой известный «закон подлости», был абсолютно прав: если есть вероятность того, что какая-нибудь неприятность может случиться, она обязательно произойдет^[3]. Однако Мёрфи не мог предвидеть всего. Самое плохое произошло со мной в день моего тридцатилетия. По собственной вине, пребывая в состоянии подогретого тремя выпитыми бутылками вина отчаяния и двадцатью четырьмя месяцами поисков своего места в жизни, я представила себе, что спустя какое-то время все же смогу полюбить Марселя. Тем более что начиная с той встречи в бистро он постоянно присутствует в моей жизни. И если так и случится, это гораздо лучший выход из ситуации, чем одиночество и очередная катастрофа, к которой я неминуемо иду. Я позвонила ему, и тем же вечером он оказался в моем доме. Уже во время нашей первой ночи любви и после нее он стал расспрашивать меня о мужчинах, бывших в моей жизни. Это повторялось каждую ночь. Какое-то время я уверяла себя, что это из-за любви и всегда сопутствующей ей ревности, из-за мужского тщеславия, что это пройдет, когда мне удастся убедить его, что я принадлежу только ему...

Марсель итальянец. Его отец — эмигрант из Ирана, а мать — сицилийка. Долгое время я объясняла себе его расспросы итальянским менталитетом, исламскими традициями и особенностями характера. Но постепенно расспросы превратились в допросы. Дошло до того, что Марсель мог несколько раз за ночь заниматься со мной любовью, а потом придушивал ремнем, заставляя снова и снова рассказывать о других мужчинах: как я дышала, что говорила, насколько широко раздвигала ноги, пробовала ли на вкус их сперму, было ли мне хорошо... Задыхаясь, я говорила ему правду, а когда рассказывать стало нечего, начала сочинять. По утрам Марсель был нормальным человеком, но к вечеру я снова становилась для него «величайшей чешско-немецкой шлюхой». А когда забеременела, его болезненная ревность превратилась в шизофрению. Я стала для него одновременно и «возвышенной святой любовью» и «грязной проституткой, носящей его семя». Я понимала, что должна бежать, но все время откладывала свой побег. Когда у меня отошли воды, пока за мной ехала карета «скорой помощи», он изнасиловал меня прямо на полу в прихожей, чтобы доказать, что я принадлежу только ему. Дарья, которая

единственная из всех знала о выходках Марселя, через два дня после родов забрала из моей квартиры все, что поместилось в ее маленькую машину, и отвезла нас с ребенком к моей матери в Братиславу. В больнице я оставила Марселю письмо, в котором написала, что улетаю в Лондон, и умоляла его обратиться за помощью к психотерапевту.

Через несколько дней он отыскал Дарью. Сначала упрашивал ее сказать, где я, потом пытался подкупить, потом начал угрожать. Она, несмотря ни на что, не выдала меня, и он впал в ярость. Привязал ее к стулу и полночи избивал. Она вынесла все и молчала — даже тогда, когда он вливал ей в горло водку и прижигал сигаретами лоб. А в конце концов... он повесился у нее на глазах. Она так и просидела, связанная, до утра, глядя на висельника. И теперь я скажу вам главное! Только Дарья меня любила. Только она. Марсель и представления не имел о том, что такое любовь...

И мы это выслушали. Профессор Мильке, который вдруг перестал грызть ногти и задышал как астматик, дама с протоколом, которая посреди рассказа перестала писать и начала всхлипывать, и я, державший Магду за руку. Когда она замолчала, в наступившей тишине я услышал музыку из дискотеки по ту сторону стены, которой больше нет. И мне захотелось разбежаться и прыгнуть...

Даже сегодня, когда думаю о тебе, я слышу музыку Шумана. И чувствую, как Магда в берлинской психушке сжимает мою ладонь, произнося имя «Дарья».

Тишина закончилась тем, что женщина, писавшая протокол, с громкими рыданиями выбежала из кабинета. Мильке снял очки, положил их на письменный стол, отошел к окну и закурил. Курить в психушке можно было только в специально отведенном помещении, в подвале, на «минус втором» этаже, на два этажа «ниже линии света», как говорил Хартмут, рядом с котельной. Курильщики должны были чувствовать себя там как кочегары. Своего рода унижение. Немецкий профессор Мильке нарушил правило. Я сделал то же самое, но мне было наплевать, тогда как Мильке не только рисковал своей репутацией, но и мог заработать официальный выговор, что для немцев куда страшнее, чем потерять репутацию. Мы стояли с ним у окна, Мильке прятал сигарету в ладони, затягиваясь, закрывал глаза, потом снова прятал сигарету и, открывая глаза, выдыхал дым. Как будто он здесь ни при чем, он — невидимка. Невидимый для предписаний.

— Вы когда-нибудь бывали в Москве? — спросил он, стряхивая пепел

за окно.

— Нет. А вы?

— Очень давно. В семьдесят девятом. Зимой. Было очень, очень холодно. Настоящая зима. Теперь такие случаются не чаще, чем раз в четыре года. То в Европе, то в Австралии, то в Южной Африке. Или в Антарктиде, когда газетам больше не о чем писать. Полная чушь. Но все равно читают. Особенно летом, когда не нужно платить за отопление. Вы помните семьдесят девятый? Скорее всего, нет, вы тогда были слишком молоды. Может, вас и на свете не было. Хороший год. Для Хонеккера, может, и нет, но для вина — да. А знаете, кто такой Хонеккер? Видимо, да. Уж кто-кто, а поляки знают фамилии всех сукиных детей. Семьдесят девятый и для меня был хорошим годом. В январе я защитил докторскую, в июне жена наконец ушла, и я получил возможность поехать куда-то еще, кроме нашей дачи под Потсдамом. Если бы моя жена работала на «Штази», ГДР развалилась бы значительно позже или даже вообще не развалилась, — она всегда знала, где я буду, даже когда я сам еще этого не знал... Особого выбора у меня тогда не было: Варшава, София, Прага, Будапешт, Пхеньян, Гавана или Москва. Гавана оказалась не по карману, поездку в Пхеньян можно было расценивать лишь как наказание, а Бухареста и Тираны в списке не было. Румыния и Албания тогда рассматривались как «социалистические проститутки». Сначала Брежнев, а потом и Хонеккер говорили, что эти два еще недавно братских народа сошли с единственно верного пути и продались ревизионистскому Китаю. И я решил поехать в Москву — в самое средоточие зла. Хотя теперь думаю, лучше бы в Варшаву. Это был довольно редкий случай, когда интуиция меня подвела. Мне следовало поехать в Варшаву, а еще лучше — в Гданьск. Когда в сентябре семьдесят восьмого Войтылу избрали папой римским, я должен был почувствовать, что это начало конца.

— Как вы думаете, в Москве есть такие Дарьи? — спросил я.

— Понимаете, Войтыла был первым звоночком...

Я перестал его слушать. Разве может Мильке знать о Войтыле больше, чем я? Но даже если б это было так, Войтыла тогда интересовал меня гораздо меньше, чем Дарья. И я уверен, что Войтыла бы меня понял. Он был человеком, который понимал такие вещи и наверняка и сам был бы не прочь познакомиться с Дарьей из Москвы. Не знаю, заметил ли Мильке, что я потерял интерес к разговору. Когда я отходил от окна, он прикурил очередную сигарету и продолжал говорить. Это мой огромный недостаток. Если что-то перестает меня интересовать, я либо ухожу, либо, если уйти не могу, перестаю слушать. Я не воспринимаю ни одного бита информации,

если она мне ничего не дает.

Выйдя в коридор, я сел в лифт, чтобы спуститься в котельную и покурить. Джошуа стоял на вершине горы из кокса и что-то громко ритмично выкрикивал. Когда я посмотрел на него и прислушался, мне вспомнился концерт некоего Матисьяху, молодого хасидского исполнителя регги из Нью-Йорка. Моя коллега Марлен из Канады, немолодая женщина, специалистка по органной и клавесинной музыке, однажды вечером не позволила мне запереться в номере и потащила в клуб в нью-йоркский Квинс, где очень молодой бородатый мужчина в кипё выступал перед толпой столь же молодых людей. Помню свой восторг и слова Марлен, которая сказала: «Это, кажется, самый крутой еврей из всех, кого я знаю. За исключением Иисуса...»

У меня совершенно вылетело из головы, что сегодня вечер пятницы, а значит, начало шабата. Джошуа в основном соблюдал шабат, но два исключения себе позволял: курил и слушал на своем айпode музыку. Он уверял, что «Мальборо», которое он курил, и айпод, который он слушал, кошерны, но не хотел просветить меня, как можно сделать кошерной музыку. Кошерное «Мальборо» я еще как-то мог себе представить, но кошерный айпод и звучащую из него кошерную музыку — нет. Видимо, только евреям это доступно. А Джошуа в первую очередь был евреем. А во вторую — темнокожим (его мать была эфиопкой, а отец — израильтянином) и гомосексуалистом (по убеждениям и для удовольствия, а не из-за генетики, как он сам уверял). Короче говоря, если цитировать дословно, он называл себя «обрезанным черным еврейским гомиком». И в довершение ко всему — членом (с членским билетом, имевшим номера одной из первых серий!) немецкой неонацистской партии НПД.

Его отец в начале шестидесятых получил в Германии политическое убежище. Джошуа родился в Мюнхене и, поскольку был младенцем, у которого никто не спрашивал согласия, получил немецкий паспорт. С этим паспортом он вступил в партию НПД, чтобы «организовать пятую колонну против этих мудаков с короткими членами в коротких черных кожаных штанах на коротких лямочках». Конец цитаты. Узнав об этом, отец хотел покончить с собой, но у него не было времени это сделать, потому что как раз должен был прийти транспорт с обувью из Милана, и он не мог уйти из жизни, не оплатив товар. А к тому моменту, когда обувь доставили и отец заплатил по счетам, он уже остыл. К тому же он заметил, что Джошуа, вопреки его ожиданиям, после вступления в НПД не стал вести себя «как эсэсовец», а продолжал оставаться все тем же евреем с пейсами и крючковатым носом. Его сыном.

Отец Джошуа еще один раз собирался покончить с собой — в тот вечер, когда сын представил ему Маркуса и после ужина и благодарственной молитвы вместе с другом исчез в так называемой детской комнате, отделенной тонкой стеной от ванной, где отец Джошуа не только принимал душ, чистил зубы, стриг ногти и листал «Плейбой», но иногда занимался онанизмом. А занимался он этим, когда за противоположной стеной ванной фрау доктор Генриэтта Вольф фон Аугсбург кричала во время «рукотворного» оргазма. В тот вечер по той же причине, но гораздо громче, кричал за другой стеной ванной его сын, Джошуа Абрахам Давид Исаак Гроссман. Тогда-то отец вновь вспомнил о том, что мог бы свести счеты с жизнью, однако, наученный горьким опытом, на время отложил принятие решения.

Джошуа влюбился в Маркуса на одном из собраний НПД в Нюрнберге. Это была любовь с первого взгляда. У Маркуса были великолепные широкие мускулистые плечи, аппетитные ягодицы и рот, который казался слишком маленьким для его пухлых губ. Типичный ариец. Два года эти губы и ягодицы принадлежали только Джошуа. Потом Маркус бросил его, и эти губы, и то, что между ягодицами, и все остальное, что было Маркусом, стало собственностью Мирко из Хорватии. Целый месяц Джошуа терпел Мирко. Потом впал в депрессию, а однажды поздно ночью сел в такси и поехал в психушку. Вначале он собирался в клинику Charité, но, проверив содержимое бумажника, выбрал Панков, который больше соответствовал его финансовым возможностям — с учетом ночных тарифов берлинских такси.

Он рассказал молодому врачу о том, что сейчас больше всего на свете хочет умереть, показал свои запястья с нарисованными красным фломастером линиями «для лезвия», рыдал, говорил о страданиях евреев и дрожал всем телом. Теперь у него есть крыша над головой, завтраки, вторые завтраки, обеды, полдники, ужины и рояль в зале для отдыха. А немцы за все это платят. Чего же еще? Маркуса все равно не вернешь. Да уже и не хочется.

Джошуа стоял на вершине угольной кучи в котельной, курил кошерное «Мальборо», слушал кошерную музыку и, как я полагал, молился. Несмотря на плотно прилегающие к ушам наушники, выкрикивавший молитвы Джошуа в самом деле немного напоминал Иисуса, каковым иногда себя воображал.

Он не заметил моего появления. Я замер у чугунной печи и слушал. Джошуа читал рэп. Я не знаю идиш, но понимаю рэп — неважно, на каком языке его исполняют. Рэп — это главным образом слова и история, а еще

напев, легко распознаваемая последовательность интервалов, гармония высоких и низких тонов, которая накладывается на главенствующий специфический ритм. Когда звучит рэп, хочется поднимать и опускать руки, потому что чувствуешь себя игрушкой на батарейках, неким плюшевым медвежонком, который лупит палочками по маленькому жестяному барабану, прикрепленному красной тесемкой к животу.

Джошуа переступал с ноги на ногу на вершине угольной кучи и читал с помощью рэпа свой «Маарив»^[4]. Он поднимал и опускал руки, то касаясь ими бедер, то протягивая к потолку, то сжимая в кулаки, словно кому-то угрожая. Но я понимал, что он молится. Потому что молитва — неважно, иудейская, мусульманская или христианская — тоже своего рода рэп. И тоже рассказывает историю. И так же, как в случае с рэпом, это истории преувеличенные или даже вовсе не имеющие отношения к реальности.

Закончив молитву, Джошуа сел на угольную кучу, резким движением сорвал наушники и швырнул в сторону печи. Я поднял их и спросил:

- А что ты слушал?
- Не твое дело! Ты все равно его не любишь...
- Почему же?! — воскликнул я, карабкаясь к нему.
- Потому что он гей.
- Я ничего не имею против геев, и ты это знаешь.
- Зато я имею. Они не умеют хранить верность.
- И все же, какого гея ты слушал?
- Одного русского.
- А точнее?
- Чайковского.
- Он был геем?! — воскликнул я, не в силах скрыть удивления.
- Ну, был.
- Я не знал. И чем тебя порадовал гей Чайковский?
- Своим скрипичным концертом.
- Я это почувствовал, Джошуа. Только слушая этот концерт, можно молиться.
- Я вовсе не молился...
- Нет?! Это был не «Маарив»? А что же?
- Набор ругательств на идиш. Я могу материться на идиш больше часа без перерыва.
- Но зачем?
- Меня это возбуждает. И Маркуса тоже.
- Но почему ты ругаешься на идиш под музыку Чайковского?
- Потому что этот концерт возбуждает меня больше всего.

— Именно этот?

— И ты еще спрашиваешь?! В нем есть все: любовь и ненависть, солнце и луна, боль и сладость, голод и насыщение, война и мир, нежность и жестокость, торопливость и плавность, тоска и радость, нетерпение и покой, скука и энтузиазм, молчание и крик, жизнь и смерть...

— Да, Джошуа, я еще спрашиваю. Музыка — это не только твое личное дело, и Маркус имеет с ней мало общего. В котельной на угольной куче музыка одна, в Вене у людей в смокингах другая. Ты мне тут жизнь и смерть не приплетай. И Шопена тоже. Ты тащишься от Чайковского? Выбор хороший, но вот я тащусь в воскресенье от Бетховена, в среду от Листа, и только в канун Рождества, независимо от того, какой это день недели, от Чайковского. Знаешь, Джошуа, что такое канун Рождества? А что такое облатка? Если не знаешь, узнай, сука. Только тогда ты по-настоящему поймешь Шопена. Без польского Рождества тебе его не понять. Набери в Гугле «рождество» и узнай. Только ищи в польском Гугле: точка пи эль. Потому что только там описывается польское Рождество. На «точка пи эль». Запомнишь?

Я говорил и взбирался по куче кокса. Оступался, проваливался в толщу угля, падал на колени, но упрямо двигался дальше и кричал все громче, словно мне важно было не только доказать свою точку зрения, но и добраться до вершины — пусть это была всего лишь вершина угольной кучи в котельной.

В психушке с помощью Программы и методичного промывания мозгов нам всем вбивали в голову, что нужно подняться с колен, встать на ноги и стремиться в будущее, к новым вершинам. Даже тем, кто без дозы «Прозака» и крикливых команд медсестер не хотел или вообще не мог встать с постели. И — о чудо! — спустя какое-то время эта психотерапия начинала действовать! На кого-то через несколько дней, на других — через несколько месяцев, но практически все начинали верить в себя.

Желание покорить вершину — атавизм. У альпинистов оно проявляется в наиболее ярком и, как мне кажется, благородном виде. А у тех, кто по-паучьи взбирается по стеклу и бетону небоскребов на глазах у собравшихся внизу людей, свидетельствует лишь о психопатическом стремлении публично рисковать жизнью. Толпа внизу вздыхает, кричит, волнуется, сопереживает, удивляется, восхищается, хотя все знают, что на вершину небоскреба можно спокойно подняться на лифте. Этакая пародия на желание покорять вершины. Фрейд и его ученик Юнг прекрасно знали, как это действует, и использовали в своей практике. Юнг больше, Фрейд меньше, и все же, несмотря на взаимную критику в конце жизни, оба

соглашались, что магией покорения вершин можно заразить, а потом — лечить от нее.

Для кого-то из пациентов Панкова, в основном для тех, кто страдает анорексией, такая вершина находится на втором этаже, за дверью столовой, для других — на уровне первого этажа, за стеклянной дверью, ведущей на площадь. Для них спуститься вниз и выйти после долгого перерыва на шумную улицу, напоминающую о прошлой жизни, равносильно восхождению на вершину. Для некоторых — высочайшую в жизни.

Я поднимался на вершину угольной кучи и кричал. Джошуа смотрел на меня сверху и улыбался. С трудом переводя дыхание, я наконец оказался рядом, посмотрел ему в глаза и крикнул: «Ты запомнишь?!»

— Запомнишь, Джошуа? Запомнишь, да? — добавил я шепотом мгновение спустя.

Он выхватил у меня наушники, вставил штекер в айпод и поднес наушник к моему уху. Потом снял свой снежно-белый шелковый шарф, вытер пот с моего лба, легкими движениями отер мне лицо, волосы и губы. Мы стояли, соединенные белой нитью провода, глядя друг другу в глаза, и слушали музыку. Джошуа, второй раз за этот день, стал мне очень близким человеком. В тот момент — самым близким на свете.

Москва, 28 марта, воскресенье, раннее утро

Прохладный весенний ветер сквозь приоткрытое окно проникал в квартиру в Брюсовом переулке, дом шестнадцать. Тут издавна жили представители элиты: артисты, художники, музыканты, театральные деятели, балерины. Когда-то эти дома принадлежали сподвижнику Петра Первого, генералу, фельдмаршалу и талантливому ученому Брюсу. Переулок и сейчас хранит спокойствие и уединенность, здесь редко слышен даже привычный шум машин. Всюду мемориальные таблички с именами знаменитостей. Анна порой часами бродила по окрестностям, изучая имена и дивясь соседству, о каком и не мечтала. Может, сегодня снова пойдет. Она прикрыла глаза. Все-таки хорошо, что утро наступает всегда, и хотя бы в этом можно быть уверенным: каждую ночь ты знаешь, что через пять, четыре, три часа сможешь встать и начать жить заново.

Девять утра. Анна закуталась в пуховое одеяло, когда-то подаренное дедом. Из кухни доносились звуки «Ноктюрна» Шопена. Анне не хотелось вылезать из-под одеяла, и она с закрытыми глазами слушала музыку. Неожиданно ее внимание привлек звук, похожий на воркование голубя. Она подняла голову и увидела белого голубя, который, вытянув шею, осторожно ступал по карнизу. В теплых красках весны он казался ослепительно белым, и это было очень красиво. Анна привстала, и птица, словно приветствуя ее, постучала клювом по стеклу. Анна улыбнулась голубю, вообразив, что он принес ей благую весть. Подумав, протянула руку и нащупала на прикроватном столике толстую тетрадь. Открыла. Понуднее устроилась на подушках. Где-то должна быть и ручка...

Темнеть стало намного позже. Вечером застегиваешь плащ на все пуговицы сверху донизу, поправляешь полосатый шарф. Выходя с работы, попадаешь в раннюю весну — теплую, волшебную и долгожданную. Она кажется немного нереальной.

Идешь привычной дорогой. Нежные листья и симфония ароматов напоминают о том, что весна наступила — несмотря на сильный ветер и временами заморозки по ночам. Срываешь ветку черемухи, прикусываешь стебель, и это так странно — ее безмятежный аромат среди тревожного вечера. Утром находишь ее в кармане плаща, а аромат

отчего-то стал еще сильнее...

Анна чувствовала себя героем романа Камю «Посторонний»: наблюдала за собой со стороны. Подошла к стоянке у архива. Сигнализация послушно пропищала. Повернула ключ зажигания. Шум мотора еле слышен. Так работают только новые двигатели. Этот автомобиль — подарок мужа на сорокалетие. Она бросила беглый взгляд в зеркало. Вновь поймала себя на мысли, противной и навязчивой, как зубная боль. Уже не двадцать, и даже не тридцать, когда твое лицо послушно и умело хранит все тайны — ты можешь не спать неделю, всю ночь рыдать, потерять голову от любви, и никто ничего не заметит. С годами каждая слеза оставляет заметный след, а каждая бессонная ночь — фиолетовые круги под усталыми глазами.

Нажала кнопку CD-проигрывателя, спокойно тронула с места. Поставила пятый трек. Пустое пространство салона заполнил Прокофьев. На танце Джульетты повернула на Новый Арбат, и тут же очутилась в пробке. Включила музыку на полную громкость.

Хорошо, что в Москве столько автомобилей и узкие улицы. Большая часть вечера уходит на дорогу, сокращая время пребывания дома, общения с мужем.

Машины медленно двигались друг за другом. Она была этому рада. В пробке чувствовала себя спокойно, а главное — проезд через Моховую к Брюсову переулку займет еще как минимум сорок минут.

Вдруг вспомнила, что пила кофе только утром. Олег Михайлович, врач, говорит, что две чашки в день вполне допустимы. Да и приступы в последнее время стали реже. Остановилась у первой попавшейся кофейни. Открыв дверь, вдохнула аромат печеных булочек и — диссонансом, дополнительно — табака.

— Добрый вечер! Вам зал для курящих? — спросила молодая официантка с грудью Мерилин Монро. На ее гладко причесанной голове бархатный ободок, на нем стайка бабочек, и их розовые крылья трепещут на сквозняке.

— Для некурящих, — улыбнулась Анна и проследовала за бабочками.

Год назад у меня случился первый приступ удушья. Я даже не поняла тогда, что со мной и насколько это опасно. Просто легкие вдруг отказались наполняться воздухом и повисли двумя пустыми никчемными мешками. Я начала задыхаться. Это как во сне: хочешь что-то сказать, кричишь, но тебя никто не слышит. Пыталась кричать и звать на

помощь, но голос предал меня, не издав ни звука. Если бы, падая, я не задела ангела — скульптуру-светильник, муж бы меня не услышал. Сергей разговаривал со своим немецким партнером по скайпу. Ангел остался без правого крыла, а я — осталась жить.

«Скорая» приехала через пятнадцать минут. Молодой врач с всклокоченными черными волосами поставил капельницу с эуфиллином. От врача пахло медицинским спиртом — а может, водкой. Через неделю, поздно вечером, мы ужинали с мужем, и он без умолку рассказывал о своих проектах, виртуозно орудуя ножом и вилкой. Приступ повторился.

Сергей повез меня к одному из лучших диагностов города.

За окном приятно шелестела душистая сирень, мягко покачиваясь на ветру. Олег Михайлович — в белом халате и круглых очках в железной оправе, напоминал героев Чехова, а может, и его самого, только лицо было гладко выбрито, обнажая глубокие морщины, — посмотрел на меня добрыми глазами и серьезно спросил:

— Покуриваем?

— Иногда, — честно ответила я.

— Придется бросить, — Он подошел ко мне и взял за руку. Мы помолчали. — Где вы работаете, Анна? — продолжил он низким голосом.

— В городском архиве.

— Вот это уже хуже. Там, знаете ли, много пыли.

Я испуганно замерла. Последние три года, просыпаясь, я ловила мысль об архиве, о выставках, и сажала ее на булавку, улыбаясь предстоящему дню. Архив был не только моей работой — он был моим спасением.

Мягкая, чуть полноватая медсестра дотронулась до меня теплыми, легкими руками и взяла на анализ кровь, а затем проводила в рентгеновский кабинет.

Через неделю мне поставили диагноз: астма. В медицинском словаре, доставшемся от бабушки, я прочла: в переводе с греческого «астма» означает «тяжелое дыхание». Приступ удушья — типичный симптом. Затруднение в дыхании усиливается на выдохе из-за сужения дыхательных путей. Часть воздуха задерживается в альвеолах, легкие растягиваются, а выход воздуха удлиняется. У кого-то астма передается по наследству, у кого-то появляется вначале как аллергия на цветочную пыль, у кого-то — на книжную... Я долго не хотела признаваться себе, что причиной моего удушья был Сергей.

— Вы уже выбрали? — Официантка с бабочками на голове смотрела вопросительно.

— Пожалуйста, чашку «американо».

— С водой или молоком? — привычно уточнила девушка.

— С водой, — привычно ответила Анна.

— Хотите попробовать что-то из наших десертов? — произнесла заученный вопрос официантка.

— Хочу, — улыбнулась Анна и заказала шарик ванильного мороженого.

Она любит мороженое. Существует мнение, что в нем, как и в шоколаде, содержатся эндорфины — гормоны счастья. Жалко, что оно не имеет под собой никаких оснований. Но какая разница! Искусство ради искусства, мороженое ради мороженого.

— Мама, мама, я тоже хочу мороженое!

За соседний столик присела женщина лет тридцати: спортивная куртка, кроссовки, выгоревшие светлые волосы, темные у корней. Рядом мужчина в протертых джинсах и мятом пиджаке. На стул залез мальчик с синими глазами, спрятанными под длинной челкой.

Мужчина выслушал пожелания, нежно поглаживая женщину по плечу.

— Сейчас все будет! — шутливо отдал честь и быстро прошел к стойке.

Довольный, вернулся, поцеловал сначала мальчика, потом женщину. Придвинул стул к ней ближе и что-то зашептал.

Женщина тихо рассмеялась, подцепила своим мизинцем мизинец мужчины. Мальчик с удовольствием ел мороженое, громко рассказывая про своего товарища, настоящего Терминатора, а закончил тем, что «надо пойти в кино, вы же обещали!». На полу стояли пакеты из супермаркета, в них лежали упаковки с лапшой и замороженная курица. Нехитрая еда, нехитрые развлечения, близкие люди, что еще нужно? Дорогой автомобиль и килограмм бриллиантов?

Анна покрутила на безымянном пальце кольцо с черным бриллиантом и крупной жемчужиной, тоже, разумеется, черной — Сергей знает толк в украшениях. Склонилась над остывшим кофе. Кончиками пальцев аккуратно сняла с ресниц слезы. Она никогда не плакала. Почти никогда.

Два дня назад Сергей настоял, чтобы она пошла с ним на прием в немецкое посольство. Для него это было очень важно. На такие приемы по протоколу следует приходить с супругой. К тому же он хотел представить Анну деловым партнерам: речь шла о запуске новой линии производства под Москвой. Утром, собираясь на работу и поправляя перед зеркалом в прихожей узел шелкового галстука от Lanvin, бросил через плечо:

— Анна, потрудись сегодня вечером выглядеть получше. И сделай, ради Бога, что-нибудь со своими волосами, немцы ценят аккуратность и лоск, а не эти твои... локоны Андромахи...

Последние слова он буквально выплюнул, вдел ноги в туфли из телячьей кожи и вышел.

Глаза ее снова увлажнились, сердце сжалось от боли и безысходности. Она накапала себе в «успокоительную» рюмочку сорок капель валокордина, немного постояла у окна. По карнизу прохаживалась синица, нарядно-желтая на сером фоне пасмурного утра. Белого голубя нигде не было видно.

Для приема Анна выбрала любимое бархатное платье глубокого синего цвета и черные замшевые туфли на высоком каблуке. Ей нравились туфли на высоком каблуке. Сразу кажешься себе выше, стройнее, загадочнее, и походка меняется, становится неторопливой. Ничего, что к вечеру ноги отекают, а туфли немного жмут, зато весь день ощущаешь себя красавицей. Ну а сняв туфли, долго смакуешь послевкусие этого ощущения, немного болезненного, но приятного.

В обеденный перерыв отправилась в салон делать прическу. Для каждой женщины это — священный ритуал и одновременно психотерапия. Пока мастер колдовала над ее волосами — густыми, длинными, непослушными, Анна подправила макияж, выбрав помаду вишневого оттенка, к темным глазам. Когда-то Сергей называл их «ореховыми». Давно.

Муж заехал за ней на работу, окинул беглым взглядом, будто выставляя оценку, ничего не сказал.

— Достаточно ли хорошо я выгляжу? — спросила она ровно.

— Нормально. Хотя могла бы щеки, что ли, подрумянить. Бледная слишком...

Ровно в шесть, как было указано в приглашении, они поднимались по лестнице посольства; Сергей — в безупречно сидящем смокинге, Анна — в вечернем платье, с идеально уложенными волосами. На улице она сорвала зеленеющую ветку; та приятно и нежно пахла весной. Муж злобно выдернул ветку и бросил на асфальт:

— Уймись! — прошипел раздраженно. — Ты взрослая женщина! Еще бы венок сплела!..

На самом верху лестницы стояли посол с супругой, вокруг толпились приглашенные. Каждый спешил лично поприветствовать хозяина церемонии, его супруга вежливо и немного снисходительно протягивала гостям руку.

У входа в просторную гостиную официант в накрахмаленной белой сорочке и бордовой бабочке предлагал шампанское.

Анна поблагодарила и залпом осушила бокал: ей хотелось пить.

— Не торопись, — сжал локоть Сергей. — Ты должна произвести впечатление. Хотя бы постараться!..

В зале было много изысканно одетых элегантных женщин, в преддверии приема уделивших своей внешности не один час. Бриллианты загадочно мерцали и отражались в зеркалах. Дамы стояли кружком и беседовали вполголоса. Рядом группа мужчин в смокингах что-то бурно обсуждала по-немецки.

Потом последовало бесконечное «Das ist meine Frau Anna». Она молчала и улыбалась. Светские обязанности она выполняла послушно, но без удовольствия. Рядом с ней остановились две дамы: на одной было платье с открытой спиной, на другой — крошечная шляпка.

— Видела, какое у Светки платье? — прошипела одна.

— Небось, из занавесок сшила, — язвительно поддержала другая. — Благо у мужа целая сеть магазинов, бери сколько хочешь!

Дамы зло засмеялись и смешались с другими представительницами высшего общества, гордо называющего себя «элитой».

В зал вошла женщина в ярко-алом платье, чуть более откровенном, чем допускали правила приличий. На вид ей было не больше сорока, но глубокое декольте, открывающее веснушчатый бюст не первой молодости, неопровержимо свидетельствовало, что пятьдесят-то Антонине Ильиничне уже стукнуло, а юбилей отмечали, конечно, в «Турандот». И посол с супругой туда тоже ненадолго заглянули. Дама стремительно подошла к мужчинам, привычно одаривая их приветственными поцелуями. Сергей шепнул Анне:

— Тонька собственной персоной! — и вызывающе хихикнул.

Тонька десять лет работала кассиршей в ЦУМе, который тогда еще не представлял собой галерею высокой моды с изысканными торговыми марками и ценами, превосходящими допустимые европейские, но все же резко контрастировал с другими магазинами, где вообще ничего не было, а продавщицы виновато улыбались, частенько маскируя хамством чувство неловкости.

За место свое Тонька держалась, терпела самодурство начальницы и зависть коллег. Коллеги завидовали ее умению нести себя и дарить. Тонька искренне считала, что она — ценный приз, настоящий подарок и счастье любого мужчины.

В свои тридцать она, как и героиня известного романа Ильфа и

Петрова, вряд ли прочла хоть одну книгу целиком, не говоря уже о стихах. Зато досконально изучила историю ЦУМа и старалась одеваться как кинозвезда, благо от бабушки ей достался целый чемоданчик открыток с изображением Любви Орловой и других небожительниц советской эпохи.

Она могла часами заученно рассказывать про шотландских коммерсантов Эндрю Мюра и Арчибальда Мерилиза, а также про то, как основанная ими торговая компания в 1857 году переехала из Петербурга в Москву, где на Театральной площади было решено открыть универсальный магазин наподобие лондонского «Уайтли» и парижского «Бон Марше».

Тонька выучила историю ЦУМа на английском, что добавляло ей очков и предоставляло шанс общаться с дипломатами, захаживавшими в универмаг как в одну из достопримечательностей столицы. Наступил девяносто первый год, магазины зияли пустыми полками. Как-то в секцию женской одежды, где в окружении ситцевых халатов скучали Тонька и другие продавщицы, вошел молодой человек. Он был одет в классический «новорусский» красный пиджак, тогда еще не ставший темой анекдотов, и всем сразу стало понятно: это — бывший бандит. Или даже настоящий. «Девки, так, — сказал он, — мне тут надо мамаше в дорогу вещей собрать. Ну там, платье, кофту. Что еще? побыстрее, а то, типа, тороплюсь».

И облокотился на конторку с массивным кассовым аппаратом. Тонька вскочила и затараторила: «А сколько лет вашей маме? А я вам помогу! А какой размер? А у нас есть отличные белорусские юбочки! А еще у нас есть байковые халаты!..»

Молодой человек слушал ее минуты три-четыре, потом сказал: «Эй, рыжая! Рот закрой! Давай скорее свои байковые юбки, размер самый большой. Я тебя снаружи подожду».

На работу Тонька не вернулась, став боевой подругой молодого человека с говорящей кличкой «Бешеный». Через год он погиб «при невыясненных обстоятельствах», а Тонька перешла к другому молодому человеку, с говорящей кличкой «Железо». Прошло двадцать лет, и теперь она — уважаемый в городе человек, владелица крупной строительной компании; любит появляться в ЦУМе и говорить сопровождающим ее мальчикам не старше двадцати пяти: «Отсюда начинался мой светлый путь». При этом она нисколько не шутит. Говорят, она прочла наконец одну книгу: сборник цитат, афоризмов и крылатых латинских выражений, — и даже вполне к месту их цитирует.

Сергей переходил от столика к столику. Два часа, показавшиеся Анне бесконечными, она простояла с бокалом шампанского одна. Ближе к концу приема к ней подошел крепкий незнакомый мужчина. В темном

классическом костюме он выглядел немного нелепо: пиджак словно с чужого плеча, галстук немодной расцветки, впрочем, туфли начищены и на лице приятная улыбка.

— Здравствуйте, — сказал он. — Можно с вами пообщаться?.. Я сопровождаю на приеме жену, а она постоянно занята.

Он неопределенно указал рукой на группку нарядных женщин у высокого окна.

— Здравствуйте, — ответила Анна и медленно отпила шампанского.

Мужчина покрутил в руках бокал виски со льдом.

— Вообще-то, — доверительно сообщил он, — мне бы лучше сегодня не пить. Завтра дежурство. Но тут такая тоска!

— Страшная! — кивнула Анна. — А какое дежурство вы имеете в виду? Вы пожарный? Милиционер? Врач? Авиадиспетчер?

— Врач, — мужчина глотнул виски, — со «скорой».

— Чудесно! — обрадовалась она. — Медики знают множество смешных баек. Расскажите что-нибудь, развлеките девушку...

— Смешных баек? — Мужчина задумался. — Ну да, с нами всякое случается. Например, на прошлой неделе заступили на сутки. Принимаем вызов, больному около шестидесяти, боль за грудиной. Заходим. Сидит себе здорового вида мужчина и пьет коньяк, очень даже приличный, армянский. «Присоединяйтесь!» — говорит и достает еще одну рюмку. Я сначала опешил, а потом спрашиваю: «На что жалуетесь?». А он мне так, знаете, с тоской в глазах: «Собака моя недавно умерла, вот теперь депрессия. Не отпускает. Я и решил в “скорую” позвонить, а куда же еще?» — и залпом осушает рюмку.

Анна засмеялась и допила шампанское, хотя ей почему-то стало жалко и собаку, и хозяина. Мужчина спросил:

— А почему мы не знакомимся? Меня зовут Михаил.

— Анна. — Ее губы сложились в улыбку, первую за этот вечер.

Когда они с мужем вышли на улицу, она радостно вдохнула весенний воздух.

— Ты меня удивляешь! — хмурился Сергей. — Весь вечер проболтала с каким-то нищепородом. Смеялась! Никакой от тебя поддержки!

— Это не нищепород, — обиделась Анна за нового знакомого, — а вовсе даже врач...

— Я и говорю, нищепород! Ладно, хватит о нем... В целом все прошло неплохо.

Их обогнал новый знакомец Анны, который вел под руку невысокую коренастую женщину с неестественно черными волосами. На ней было

белое платье со вставками из кружева, белые открытые туфли.

Сергей шел быстрым шагом и потирал ладони.

— Генрих приглашает в Берлин. Значит, его заинтересовала эта линия. Посмотрим. А там, если что, подготовлю предложение.

Анна почувствовала, как с ноги медленно сползает чулок, остановилась. Подтянув его, выпрямилась и осталась стоять. Сергей ушел вперед, разговаривая сам с собой. О важном. О новых линиях и немецких партнерах.

Она не двигалась. А он все удалялся, не заметив, что идет один.

«Это не случайный эпизод, а типичная картина моей семейной жизни».

Анна допила «американо», уже не в силах сдерживать слезы. Мальчик за соседним столиком удивился:

— Мама, смотри, тете плохо!

Положив на стол деньги, выбежала на улицу. Да, ей плохо!

Снова плывут огни московских улиц, ярких и равнодушных. Рекламные щиты с изображением косметических средств и блокбастеров отвлекают внимание от потока машин. Она и не заметила, как Москва превратилась то ли в огромный каталог по продаже товаров, то ли в выставку новых, разрушающих облик города произведений искусства. Чего стоит памятник Петру Первому, воздвигнутый в девяносто седьмом по заказу правительства Москвы на искусственном острове, насыпанном у слияния Москвы-реки и Обводного канала. Он нелепо возвышается над столицей, наводя ужас и подавляя своими размерами. Журналисты даже утверждали, будто памятник — видоизмененная статуя Колумба, которую Церетели безуспешно пытался продать США к пятистолетию открытия Америки. Брюсов переулок, где они живут с Сергеем, в этом смысле одно из немногих спокойных мест в Москве. Во всяком случае пока. Шесть лет назад Сергей вложил в квартиру все средства, заработанные на запуске первой линии теплооборудования. Зимы в России холодные, и радиаторы нужны всем. Муж, как всегда, не ошибся в расчетах.

Открыв дверь просторной квартиры, Анна щелкнула выключателем. В центре холла загорелся светильник в виде ангела, молитвенно сложившего руки. Пять лет назад Анне казалось, что он принесет ей счастье. Через друга-художника нашла мастера, изготавливающего витражи. Он отлил для нее ангела из разноцветных кусочков стекла. Правда, лик у ангела получился печальный. Теперь же, когда у него осталось лишь одно крыло, ангел словно еще сильнее предавался своей ангельской скорби.

Муж явно уехал в очередную командировку, она это сразу поняла, войдя в дом: ей удивительно легко дышалось. К тому же она вдруг ощутила сильный голод. Две чашки кофе и мороженое — все, что сегодня ела. Не снимая туфель и плаща, прошла на кухню, включила телевизор: захотела ощутить себя частью большого мира. Налила в сияющий бокал красного вина.

— Я пью за себя! — сказала неожиданно вслух. — Пусть у меня все будет хорошо!

Переключая каналы, надолго замерла перед экраном. Фотография ребенка лет семи. Бледное измученное лицо, большие грустные глаза и не по-детски длинная шея, похожая на стебель нежного цветка. О том, что это девочка, можно было догадаться только по нелепому бантику на коротко стриженных волосах. Внизу экрана бегущей строкой — телефон и счет для перечисления денег. Сделала погромче. Маше, воспитывающейся в детском доме, срочно требуется операция на сердце. Тоска одиночества наверняка усиливает все недуги, решила Анна. Интересно, а есть такой диагноз: неприкаянность и отсутствие любви? Надо было спросить у того доктора. Резким движением захлопнула дверцу холодильника, есть расхотелось.

Следом за сюжетом о больном ребенке шел репортаж с презентации нового диска какой-то поп-певички с лицом, не однажды встречавшимся со скальпелем пластического хирурга; имени этой «звезды» Анна никогда не слышала. Впрочем, она от этого не страдала. По наследству от бабушки ей досталась любовь к музыке. Прошла в гостиную, села на широкий мягкий диван, выключила телевизор и поставила «Времена года» Вивальди. Под весеннее аллегро закончился еще один день ее монотонной бесцветной жизни — ведь жизнь наполняется смыслом и красками, только когда любишь.

Казалось бы, что может быть проще — полюбить человека, наполниться чувством к нему? Но — не получается. А ведь хотелось бы, чтобы ударило током, обожгло, чтобы началось то, что называют «химией». Ей так хочется дышать, петь, танцевать, жить! Анна где-то вычитала: ученые доказали, что любовь, или химия (теперь обо всем принято говорить «химия»; если бы знала, учила бы ее лучше в школе), не может длиться больше пяти лет. Всплеск чувств сопровождается выбросом дофамина, который меняет не только активность мозга, но и ощущения. А когда душевный подъем заканчивается, содержание дофамина падает ниже нормального уровня, и у человека появляются симптомы депрессии.

Если бы человечество научилось разумно регулировать уровень проходящих в организме химических реакций, может, не страдали бы в

мире столько мужчин, женщин и брошенных и забытых ими детей?..

Провожу рукой по груди и шее, словно проверяя, способны ли они еще воспринимать тепло прикосновений. Мне так хочется снова почувствовать себя желанной...

Резкий звонок разорвал пространство гостиной.

— У тебя все хорошо? — по интонации она догадалась, что Сергей изрядно выпил.

— Да, засыпаю уже.

— Ну и славно. Я забыл телефонную книжку, а мне срочно нужен один номер...

Она ощутила, как вновь поднимается легкая волна. Протянула руку к журнальному столику за ингалятором.

Наутро луч солнца стрелой прорывается в мою спальню в терракотовых тонах. Сергей любит темные цвета. В дополнение к красно-коричневым давящим стенам он выбрал фиолетовые гардины, напоминающие театральный занавес. Мне это безразлично, на самом деле. Главной достопримечательностью спальни, напоминающей будуар Манон Леско, является огромных размеров кровать.

Каждый раз... Каждый раз, когда это происходит между нами, я закрываю глаза, но отчетливо вижу все те же фиолетовые гардины на терракотовом фоне. Вижу, как женщина с бледным лицом раздвигает ноги перед мужчиной, торопливо расстегивающим брюки. Все чаще секс прерывается поиском ингалятора на прикроватной тумбочке. Это страшно.

С трудом открываю глаза и вскакиваю с постели. Последнее время сплю так крепко, что не слышу будильник.

Анна прошла в ванную, села на мягкую скамеечку и долго чистила зубы. Это всегда помогало ей проснуться. Умылась, приняла душ, надела шелковый, абрикосового цвета халат, достала из холодильника ледяной крем, нанесла на лицо.

Включила радио. Новая информация от британских ученых. Их интересует, сколько времени уделяют люди своему внешнему виду. Звонкий голос ведущей сообщает, что, согласно последнему исследованию английских социологов, женщина проводит в среднем три года своей жизни перед зеркалом. Подумала равнодушно: «И что с того? Я, между прочим,

собираюсь за тридцать минут». Включила газ, сварила кофе. Для вкуса добавила ломтик лимона. Лимон поддерживает чувство реальности. Выпила маленькую чашку. Вслух пожелала себе удачного дня, побросала всякую мелочь в объемную сумку и закрыла за собой дверь.

Здесь начинается другое пространство, где она забывает, что уже десять лет замужем. Другое пространство, в котором она может додумывать чужие истории и судьбы. Мнимые истории, мнимые судьбы, мнимая жизнь — с некоторых пор успешно заменяющая собственную.

Государственный архив, или ГАРФ, Бережковская набережная, 26. Адрес легко узнать, набрав в поисковике слово «Госархив», если, конечно, вы являетесь счастливым обладателем Интернета. Поразительно, насколько Сеть облегчила нашу жизнь. Теперь ехать на Бережковскую совсем необязательно. Достаточно заказать необходимые материалы по каталогу — и сиди себе, изучай, без пыли и посторонних взглядов. Каких-то двадцать лет назад такое было невозможно. Марина Петровна, старейший архивариус, в свое время объяснила Анне сложную процедуру доступа к документам. Это был своего рода ритуал посвящения.

«Подходя к зданию на Бережковской, сразу понимаешь, что тут не районная библиотека, где на полках чинно пылятся томики Пушкина, Гоголя, Гёте... Нет, открывая толстую дубовую дверь и проходя узким коридором, осознаешь, что попал в официальное учреждение, где хранится бесценная информация о людях, их личные досье. И толщина папок тоже разная, как и жизнь этих людей.

Насыщенный серый цвет придает зданию какой-то безличный вид; точно такие есть и в Берлине, в восточной его части. По дороге из аэропорта Тегель даже можно вообразить, будто едешь по Москве или Московскому проспекту в Петербурге. Ты словно возвращаешься в эпоху, где не было места другим цветам. Тогда поделить можно было не только конфету или пирог, но даже город, жителей которого, конечно же, никто ни о чем не спрашивал. Политики, стоявшие во главе государств-победителей, решили, что так будет правильно, и сделали восточную часть Берлина уныло-серой. Москву никто не делил. Она полностью, безраздельно принадлежала одному строю, одной системе, сплошному серому цвету, который проявлялся во всем. В фасадах домов, взглядах людей, в их одежде. Издали и не поймешь, мальчик или девочка: куртки, сапожки, шапочки — все у них одинаковое... От женщин исходил одинаковый аромат, аромат «Красной Москвы». Этот запах стал родным для тех, кто пережил то великое и страшное время. Так что в центре Москвы, среди насыщенного серого, и находится это хранилище информации, «святая

святых» для историков.

В сегодняшней пестрой многоэтажной Москве здание архива уже не выглядит столь ужасающе. Даже напротив — придает некую законченность и серьезность облику квартала...

Новый день, утренний кофе, подъездная лестница, поворот ключа зажигания. Неожиданно кто-то постучал в стекло. Анна вздрогнула, нажала на кнопку. Два мальчика лет десяти серьезно смотрели на нее, у одного на носу — круглые очки. Яркие куртки, объемистые ранцы.

— Здравствуйте, — сказал тот, что в очках. — Извините, пожалуйста, мы тут с другом поспорили. И решили спросить. Вы не знаете случайно, существуют ли квадратные корни у отрицательных чисел?

Она улыбнулась, ответила в тон:

— Здравствуйте. В математике есть такое понятие — мнимые числа. Это именно те числа, вторая степень которых является отрицательной величиной...

— Мнимые! — восторженным эхом отозвался мальчик. Поправил очки, схватил товарища за руку, и они убежали — яркие куртки, объемистые ранцы.

Мнимые числа, мнимая жизнь. «Так и я, — подумала Анна, — сочиняю себя, свое место в пространстве и времени, а ведь даже не уверена порой, что существую. Приходится смотреть в зеркало, чтобы убедиться, что я есть. Мнимая женщина, мнимая жена, ничья не любовь. Так. Так. Остановиться, не портить утро».

Сегодня у Марины Петровны, ее начальницы — день рождения. Нужно обязательно купить цветы.

Марине Петровне исполняется шестьдесят два, но она, конечно, не собирается бросать работу. В России прожить на пенсию невозможно, особенно если ты одинок. Марина Петровна в архиве уже сорок лет, досконально знает все тонкости профессии. Таких специалистов, любящих свое дело, сейчас днем с огнем не сыщешь, их просто не существует: огромные фонды, маленькая зарплата, приходящие и уходящие директора...

В последний момент Анна решила ехать в архив на метро. Захотелось отпраздновать день рождения Марины Петровны по-настоящему, а не бокалом минералки. У входа слилась с толпой, всплывающей в мрачный туннель, а войдя в вагон, ощутила приятно будоражащий аромат дорогого мужского одеколона. К парфюму примешивался запах сигарет. Ей ужасно хотелось обернуться, но что-то удерживало. Некоторые называют это хорошим воспитанием. От вынужденной близости физическое

возбуждение, которого не испытывала уже несколько лет, росло. Щеки порозовели, кровь пульсировала в висках.

Но тут металлический голос объявил нужную остановку: «Киевская». Анна буквально пулей вылетела из вагона.

Она любила эту станцию, получившую название от одноименного вокзала и открытую в год смерти Сталина. Удивительно красивая, с пилонами, украшенными изображениями из смальты, на которых запечатлена история воссоединения русского и украинского народов — такой, какой ее видели в те времена партийные руководители. Анне нравилось рассматривать картинки, они напоминали ей какую-то смутную мечту о всеобщем счастье, мечту, с которой так долго жили несколько поколений людей и с которой так мучительно потом расставались.

Пятнадцатиминутная прогулка под морозящим дождем — и вот она уже в небольшом цветочном магазине.

— Вам помочь? — спросила миловидная женщина с усталым лицом.

— Мне нужно что-то торжественное и одновременно нежное.

— Возьмите розы, беспроегрывный вариант, — предложила продавщица.

— Розы так розы, только не алые. Давайте бледно-розовые.

Марина Петровна придет сегодня позже, будет время все подготовить.

Вместе с новой секретаршей директора Светланой нарежали салаты. Светлана хлопала ресницами, накрашенными так жирно, что казалось, они при этом издавали вполне различимый звук. Вместо фартука она повязала невероятных размеров цветастый платок из ситца. На ярко-желтом фоне сплелись крупными венками грибы, ягоды, листья и какие-то животные. Ежи?

— Откуда это у тебя?

Светлана рассмеялась.

— Анна, вы себе представить не можете! Очередная подружка сисадмина — ну, Димочки, что на «Харлее» гоняет, — у него забыла, давно уже! Неужели такое можно носить на голове?!

Светлана залилась смехом, на языке блеснула крошечная серьга-гвоздик.

Анна с удовольствием вдыхала ароматы отварной говядины, зеленого горошка и майонеза. Интересно, почему любой праздник обязательно сопровождается приготовлением оливье, который в иностранных отелях называют «русский салат»? Может быть потому, что в нем, как и в нашей жизни, все вперемешку?

Сейчас мало кто сам готовит салаты, предпочитая покупать их в

супермаркете, — но разве можно купить традицию? Тепло можно взять у ТЭЦ, а радости набраться из бокала виски... Хорошо, что работы сегодня немного. Списки по выставке в Берлине подготовили вчера, фотографии тоже подобраны.

Именинница пришла в полдень. Элегантная, с гладко причесанными волосами, в черной блузе и с ниткой жемчуга на шее. Она сама себя называла «каменным веком». Но как же прекрасна эта верность традициям в пестроте приспущенных джинсов и бесформенных свитеров! Марина Петровна позволила себя расцеловать и со вздохом облегчения поставила на стол огромную круглую коробку:

— Ох, устала! — призналась она. — Мало того что торт пришлось ждать, так еще боялась, холодец не застыл как следует...

Роскошный многоярусный торт из французской кондитерской Светлана поставила в холодильник; туда же отправился превосходно сваренный холодец. Он призывно пах чесноком, Марина Петровна присовокупила к нему еще горчицу и тертый хрен.

Именинницу поздравил Виталий Семенович, директор архива. Прочел адрес, полный теплых слов и благодарности, вручил букет огненно-красных гвоздик — привычка из коммунистического прошлого. Человеку трудно отходить от стереотипов, особенно мужчине.

Было весело и совсем по-домашнему. Под вечер никто не хотел расходиться, но призывали личные дела. У Виталия Семеновича недавно родилась внучка, и он с радостью прогуливался вечером с коляской, укрепляя сердечную мышцу и борясь с тахикардией. Светлана пребывала в состоянии любовной эйфории и торопилась на встречу с сисадмином Димой.

Остались только Анна, которая давно уже никуда не спешила, и Марина Петровна. Переглянувшись, женщины поставили Шопена и убрали со стола, слушая волшебную музыку. Марина Петровна всегда говорила, что если бы этот вундеркинд, написавший свое первое музыкальное произведение в восемь лет, родился не в Польше, а в Германии, его слава была бы еще более ошеломляющей. Что может сравниться с его вальсами? В них так явственно ощущается связь между его обычной жизнью и музыкой — его лирическим дневником.

Анна замедленными, плавными движениями, в такт музыке, мыла посуду, Марина Петровна аккуратно вытирала ее белым вафельным полотенцем.

— Ну, вот, Анечка, глаза боятся, руки делают, — улыбнулась она.

Анна собрала все цветы из ваз и банок в огромный букет и протянула

ей.

— Не надо! — вскрикнула Марина Петровна, заставив Анну вздрогнуть от неожиданности, и, опустив глаза, добавила: — Простите, Анечка, но я ведь не люблю цветы. Я никогда никому об этом не говорила... — Она тяжело опустилась на стул. — Это случилось сорок два года назад... Вы еще даже не родились... Но я помню все до мельчайших подробностей. — Говорила она спокойно, но чувствовалось, что ее сотрясает дрожь. — Мы познакомились с Николаем в университете, в самом начале учебного года. Боже мой, как я тогда была счастлива! Поступила на исторический факультет — и буквально летала! Мы с подругой снимали комнату в одном из арбатских переулков, по тем меркам это была роскошь... Коммунальная квартира, перенаселенная, такой, знаете, огромный коридор с разветвлениями... На стенках — велосипеды, тазы, а в уборной у каждой семьи свое сиденье на унитаза, своего рода гигиена... — Марина Петровна улыбнулась. — Соседи были совершенно потрясающие, такие типажи... Тетя Шура, дородная женщина, полуграмотная. Как она писала! Прямо берестяные грамоты: все буквы подряд, без пробелов и запятых, ее письма приходилось буквально расшифровывать... Зато добрая! Подкармливала нас. Сама в столовой работала поваром, приносила в судках борщ, кашу, а иногда — настоящие киевские котлеты... Это была еда!.. Еще одна соседка держала в сарайчике напротив петуха и кур... Каждое утро у нас начиналось — как и положено! — с кукареканья. У входной двери висел телефон, а стена вокруг густо исписана цифрами... Марина Петровна посмотрела на Анну и сказала удивленно: — Знаете, некоторые номера я помню до сих пор... — Помолчала. Потом продолжила: — Николай... заканчивал археологическое отделение, собирался в экспедицию на Урал. Я с ним столкнулась случайно, в дверях «гэзэ», так студенты называли главное здание... Он буквально сбил меня с ног! Извинился, попросил разрешения проводить... А какой красавец! Темные зачесанные назад волосы, светлые глаза, ямочки на щеках, широкие плечи... Он был родом из Сибири, и говор у него был необычный, немного окающий. Ах, как мне нравилось его слушать!.. Мы столько времени проводили вместе, бродили по улицам и говорили, говорили... Бывало, зайдем в кинотеатр, а на билеты денег нет, так мы немного потолкаемся у кассы, погреемся — и снова на улицу... Знаете, Анечка, Николай был влюблен в Москву. И хотя прожил здесь всего несколько лет, отлично знал город. Например, научил меня правильно любоваться радиобашней на Шаболовке... Сейчас по ночам эту ажурную башню, которая днем практически не отбрасывает тени, подсвечивают

желтыми и белыми прожекторами. Раньше, без прожекторов, важно было подобрать правильный ракурс, и мы разглядывали ее из двора дома на одной из близлежащих улиц. А еще он водил меня «навещать животных» — четырех слонов, обрамляющих открытый бассейн в детском саду близ улицы Щукинской, лосей в первом Хорошевском проезде... Как-то, ворвавшись в мою комнату, схватил меня на руки и громко прокричал: «Марго! Я принесу к твоим ногам все золото мира!.. — и добавил, уже серьезно: — Люблю тебя, и всегда буду любить». В тот вечер мы впервые были близки... За стеной гомонили соседи, в сотый раз рассказывала свой анекдот тетя Шура, но ничто не мешало нам быть счастливыми. Подружка тихо отсиживалась на кухне; я потом перед ней извинилась, конечно... А на следующий день на столе обнаружили билеты в Большой театр. Николай приглашал меня на премьеру «Спартака» в постановке Григоровича. Это было равноценно полету на Марс, Анечка, так же невероятно. Тогда в Большой было не попасть, о балетах мы только слышали, в основном читали рецензии на триумфальное выступление труппы за рубежом, а оперу изредка передавали по радио, причем обычно почему-то со второго акта. А о том, что было в первом, рассказывал диктор. В конверте с билетами лежала записка: «Встречаемся в шесть у Большого на Театральной!» Николай любил старые названия и никогда эту площадь иначе не называл.

Собирали меня всей коммуналкой. Подруга одолжила лакированные туфли. Они были чуть великоваты, и в носки я затолкала немного ваты. Женщина, что сдавала нам комнату, вынесла мне прекрасную расписную шаль и сумочку, оставшиеся от мамы. Соседка, что держала кур, притащила великолепное петушиное перо, черно-зеленое, переливающееся, и мы долго пытались приспособить его на шляпку, но не получилось... Чуть ли не впервые я подкрасила глаза и губы, чувствовала себя очень красивой и неприлично счастливой. Шла по городу, размахивала старинным ридикюлем из крокодиловой кожи с серебряным замочком... Приехала я первой. Без четверти шесть уже стояла у входа, искала его глазами. Рядом с театром было довольно оживленное движение. Наконец я услышала его голос: «Марго! Я лечу к тебе!» — и увидела его улыбку. И тут — жуткий удар, визг тормозов. Никогда я не слышала более ужасного звука. Все кричат, собралась толпа. Какая-то женщина бросила авоську на асфальт и опустилась на колени, громко рыдая. «Волга» резко затормозила и въехала на тротуар. От угла здания бежал бледный до зелени милиционер. А я все еще ничего не понимала. Наконец, когда подошла, и толпа расступилась, я увидела... Николай лежал на мостовой с улыбкой на

лице, а вокруг были рассыпаны тюльпаны, которые он купил для меня...

Марина Петровна замолчала, на лице и шее выступили красные пятна, губы дрожали. Она не плакала, просто сидела, и глаза ее были безжизненны. Анна с грустью глянула на ни в чем не повинные цветы, источавшие нежные ароматы. Что ж, можно оставить их здесь, в архиве, разнести по кабинетам, самый большой букет поставить в читальный зал...

Они с Мариной Петровной вышли из здания молча. Анне хотелось обнять эту хрупкую, все еще очень красивую женщину. Но она не сделала этого, испугалась нахлынувших чувств. Почему мы всегда боимся самих себя и своих лучших порывов? Анна посадила Марину Петровну на автобус и медленно побрела к станции метро. В вагоне было немногочленно. Она думала о только что услышанном и о том, каким хрупким оказывается счастье. Кто-то посылает тебе великую любовь, а потом вдруг отбирает ее, нелепо и безжалостно. И люди живут дальше, без любви, и сохраняют «крепкие» семьи, ячейки общества.

Когда она вышла на своей станции, накрапывал дождь.

Начала писать и задумалась — зачем я вообще пишу? Но мне кажется, это зачем-то нужно, поэтому продолжаю... Это как письма в никуда о чем-то таком, от чего хочется освободиться. Недавно подруга прислала мне книгу «Техника исполнения желаний». Оказывается, есть даже такие. Техника, по сути, простая: нужно представить то, что желаешь, и нарисовать на бумаге, потом внутренне пережить этот момент и искренне ему порадоваться. А потом это отпустить, выбросить из головы. Вот так и я пишу эти строки — словно переживаю заново свою жизнь.

Пока что мои записи довольно печальны, но будут и другие. Я вырвала и выбросила лист с одной историей, но о ней после.... Это, наверное, та самая личная история, которую учит стирать Кастанеда.

Я очень хорошо помню тот день, когда вдруг осознала, что обижаю людей. Несколько последующих недель превратились у меня в сплошное «прощеное воскресенье» — я звонила, назначала встречи, ловила взгляды и просила прощения. Никогда не понимала смысла исповеди в том виде, как она существует сейчас; если мне отпустит грехи посторонний человек, это ничего не даст, прощения надо просить, глядя в глаза. И меня до слез трогало то, что меня прощали.

И еще. Я прощаю любимым людям то, что не могу простить себе. И недавно мне стало страшно. Понимаю, бывает всякое, какой-то один поступок не характеризует личность человека в целом и не изменит мое о

нем мнение, но любить его так, как раньше — я больше не смогу. Во мне появится еще один кристаллик льда, из которых потом можно будет сложить слово ВЕЧНОСТЬ.

Пусть то, что умерло, остается мертвым, но я надеюсь, что «прах, в прах возвратившись», даст плодородную почву живущему ныне...

Шум дождя... Шум дождя... Что за глупость вертится в голове. Иногда надо всем довлеет полная ерунда, наподобие навязчивой идеи о брошенном на тебя мимолетном взгляде, или того хуже — о покупке новой сумки. Анна стремительно шла по Тверской, свернув на нее из своего переулочка. Все самое новое и лучшее в Москве начиналось с Тверской. Когда-то по ней отправлялись в путь первые дилижансы, потом — первая конка-вагон. А в конце девятнадцатого века по Тверской был пущен первый московский трамвай. И люди несказанно радовались каждому подобному событию. Сегодня, когда город уже ничем не удивишь, ни новой информацией, ни количеством развлекательных мероприятий, все реже встречаются на лицах улыбки, а если и встречаются, то с оттенком грусти.

Тверская, как всегда, была оживленной. Дыхание большого города ощущается даже в выходной — в походке людей, в том, как движутся, тесня друг друга, машины. Каждый пытается быть первым, словно несется по беговой дорожке. Анна помнила, что вышла купить хлеба и круассаны для Сергея. Но она уже давно прошла кондитерскую, а потом и еще одну.

Куда направлялась — она и сама не знала. Просто бесцельно подчинилась общему движению. Как в музыке. Только там все определяет мелодия и заданная тональность. А здесь она шла, почти бежала, совершенно чужая происходящему вокруг. И чем быстрее шла, тем легче ей становилось. Легче... Антонимы. Легко — тяжело. Холодно — горячо. Во всем заложена двойственность, или, как модно говорить, дуализм. И одно предполагает наличие другого: если есть одиночество, должна быть и любовь. Иначе невозможно.

— Иначе невозможно, — повторила она вслух.

Даже в выходной не получается снизить темп. Все бегут, даже те, кто мог не ускорять шаг и так и брести с бумажным стаканчиком в руке. Приятно совершать тысячу действий одновременно — наслаждаться ароматным кофе, слушать в наушниках музыку или изучать итальянский, прогуливаясь по главной улице. Анна обратила внимание на парочку — девушку и парня в спадающих джинсах и с дредами. Их обогнала старая дама; бледно-розовое кружево длинного платья странно дисгармонировало с фетровой мужской шляпой и высокими солдатскими ботинками. Анну

дернула за руку темноволосая женщина, таджичка или цыганка, с одутловатым лицом и круглыми, ничего не выражающими глазами. Рядом топтался босоногий мальчуган и тыкал в нее грязными кривыми ручками:

— Тотя, тотя, дай на мороженое!..

Она посмотрела на мальчика и полезла в сумку.

— Ему же холодно! — сказала она женщине.

Но та лишь качнула головой и оскалила золотые зубы. Конечно, ни для кого не секрет, что в Москве попрошайничество — один из видов предпринимательства. Детям порой намеренно наносят увечья, чтобы они вызывали жалость. Но все-таки ребенок...

Она протянула мальчишке десятку, тот выхватил ее и что-то прошипел, убегая. Мелькнули голые грязные пятки. Цыганка громко выругалась. В крайнем правом ряду проехал длинный лимузин цвета лососины. Из заднего, открытого настежь окна высовывался длинноволосый парень. Гремела музыка, совершенно неожиданное в такой ситуации «Прощание славянки». Москва, с ее исторически подтвержденной склонностью чудить, демонстрировала свою самобытность.

Анна приехала в столицу много лет назад. Разумеется, чтобы стать знаменитой актрисой. При отправлении фирменного ночного поезда «Орел — Москва» тоже играли «Прощание славянки».

...Грянул марш, она вздрогнула, прижалась лбом к вагонному стеклу. Над зданием вокзала висела равнодушная ко всему молодая луна. Ветер гнал по асфальту окурки и бумажный мусор.

Она смотрела в окно, смаргивала слезы. Соседка по купе уже колупала сваренные вкрутую яйца; развязный демобилизованный солдат шумно радовался, отхлебывая пиво из стеклянной бутылки. Анна прикусила губу — не подозревала, что ей будет так тяжело. Дедушка не шел за вагоном, остался стоять на месте, и вокруг его начищенных ботинок нагло бродили упитанные воробьи.

Дедушка. Самое раннее воспоминание о детстве. Он вообще — само детство. Черно-белые фотографии с ажурными краями, фигурно обрезанными специальным ножом, аккуратно стоят на серванте в гостиной.

Портрет в массивной серебряной рамке. Сделан в фотоателье. Девушка с черной косой, уложенной вокруг головы, держит за руку молодого офицера. Черный китель, белоснежная рубашка, бледное лицо и синие глаза. Черно-белый снимок не передает цвета, но Анна точно знала, что они синие. Мама и папа.

Отец Анны, Борис Семенович Зенгереви́ч, окончил в Ленинграде

Военно-морское высшее училище имени Фрунзе, бывший Морской корпус, и был типичным офицером советского Военно-Морского флота, служил в Западной группе войск: редкие визиты домой в отпуск, посылки на родину с импортным трикотажем и жевательной резинкой, бытовое пьянство, карьерные устремления.

А мама — Зинаида Иосифовна, Зиночка, — была очаровательной женщиной, тонкой, изящной; сейчас непременно добавили бы «стильной». До замужества работала в музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново». Сейчас, в Москве, с ее бешеным ритмом жизни, Анна понимала, сколь счастлива была в Орле и сколь многим обязана этому провинциальному русскому городу.

Родилась она в Германии, недалеко от тихого Любека, в военном городке, где проходил службу отец, и первый год провела там. Потом Зиночка привезла ее в Россию и передала с рук на руки своему отцу. Как позже выяснилось, тем самым она спасла Анне жизнь: через несколько месяцев Зинаида и Борис погибли, были убиты на улице тихого Любека группой неофашистов, протестовавших против советского присутствия в Германии.

Анна полутора лет от роду сделалась круглой сиротой. Она не помнила родителей и знала их только по фотографии в массивной серебряной рамке.

Зиночка, тоненькая девочка. Любительская фотография; Зиночка в собственноручно сшитом ситцевом платье держит в руках громоздкий этюдник и смеется радостно. На заднем плане полуразрушенная стена, довольно живописная. Зиночка мечтала стать художником. К восьмому классу она неожиданно для отца самостоятельно поступила в художественную школу, с отличием ее окончила и задумала поступать в Ленинградское художественное училище. С восторгом и трепетом зачитывала отцу из «Справочника для поступающих в вузы»: «Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха основано 1 октября 1839 года. В соответствии с Указом Государя Императора Николая Первого, “Положение”, опубликованное в “Полном собрании ЗАКОНОВ Российской Империи”, гласило, что “Рисовальная школа для вольноприходящих”, или “Рисовальная школа на Бирже”, как ее называли в соответствии с местом расположения на Стрелке Васильевского Острова, учреждена “для распространения между фабрикантами и ремесленниками необходимого для них искусства рисования, черчения и лепления”, в целях “поднятия художественного уровня среди рабочих масс”»...

Напряженно готовилась к вступительным испытаниям; было известно, что абитуриенты должны пройти творческий конкурс, сдать экзамены по

рисунку, живописи и композиции. Иосиф Давыдович заранее грустил о предстоящей разлуке с любимой дочерью, но возражать не смел: был уверен, что Зиночка — истинный талант, будущий блестящий художник; всячески помогал и поддерживал.

Первым экзаменом был рисунок. Поступающим предлагали посвятить этому три дня по четыре часа. Зиночка в маленькой квадратной комнате общежития жарко обсуждала с соседками преподавателей. Откуда-то всем были известны их нравы и пристрастия; один, мол, ценит то, другой — иное. Все это следовало запомнить, а также успокоиться и быть готовой ко всему.

Еще не было семи утра, а Зиночка уже прогуливалась вблизи знаменитого особняка на улице Пролетарской диктатуры, дом пять. Ночью прошел дождь, асфальт влажно поблескивал и, казалось, чуть пружинил под Зиночкиными взволнованными шагами. Никого вокруг не было — пустые улицы, старые деревья, тишина.

Зиночка с досадой подумала, что зря не выпила в общежитии чаю — не стала доставать кипяtilьник, шуметь, будить подруг; хотела побыть одна, собраться с мыслями, а теперь вот чаю очень хотелось.

— Привет! — кто-то вдруг тронул ее за локоть, и она резко отдернула руку.

В шаге от нее стоял рослый парень в странной одежде: брюки короткие, пиджак тесен, на рубаше пуговиц в два раза меньше задуманного.

— Ты чего такая пугливая? Просто чижик какой-то! — Парень взглянул пристально. Густые брови, синие глаза.

Дальнейшее Зиночка воспринимала весьма смутно. Как загипнотизированная, она позволила себя отвести в какую-то котельную, где сновали странные худые люди, похожие на индусов; их было много. Зиночку усадили на смешную низкую лавку, напоили чаем, коньяком; потом выяснилось, что времени уже девять утра и начался экзамен. С полным равнодушием Зиночка отметила этот факт — ее новый знакомый как раз рассказывал о своей учебе в морском училище, и Зиночке хотелось его дослушать. Парень назвался Борисом, был весел, сыпал шутками, Зиночка смеялась. Выяснилась и причина коротких брюк: «Это самоволочный комплект, — объяснил Борис, — один на всех курсантов. Понимаешь, в форме-то нельзя шнырять по улицам...»

Фотография не черно-белая, а бело-коричневая и странная. Большой формат. Четыре ряда курсантов, парадные кители, новенькие лейтенантские погоны. Без привычки никогда не найдешь родного человека. Но вот этот парень, шестой слева во втором ряду. Папа.

Через неделю Зиночка уже работала помощницей закройщика в одном театральном ателье, снимала комнату на Васильевском и каждый вечер приезжала на набережную Лейтенанта Шмидта в надежде встретить своего Бориса. Удавалось это не всегда: дисциплина и вообще порядки у курсантов были строгие. Отцу Зиночка о переменах в своей жизни сообщить забыла. Забыла, и все. С ней вообще происходили странные вещи, а может, и не странные. Просто раньше ее заветной мечтой было стать живописцем, мастером своего дела, собирать толпы взволнованных поклонников на персональных выставках. А теперь она хотела быть просто Зиночкой, женой Бориса.

Они поженились через три года, после того как он окончил Военно-морское училище, и их брак был счастливым — вплоть до момента, когда лейтенанта Зенгеревича сначала оглушила, а потом забила до смерти группа немецких подростков-неофашистов. Его жена получила множественные ножевые ранения, общим числом двадцать девять, и истекла кровью. Улицы спокойного Любека были пусты, здесь никогда — ни до, ни после этого ужасающего случая — не возникало подобных инцидентов. Берлинская стена еще стояла, и до ее низвержения оставалось долгих девятнадцать лет... Крошка Анна недавно научилась разговаривать фразами, и это у нее прекрасно получалось.

Маленькая девочка сидит на деревянном детском стульчике, сосредоточенно грызет погремушку в форме паровозика; ножки ее обуты в вязанные пинетки, каждая пинетка завязана на бантик.

И все же детство ее было счастливым. Дедушка, Иосиф Давыдович, приложил для этого немало усилий. Прежде всего счел необходимым сменить место работы. Ушел из института, где профессорствовал, и устроился экскурсоводом в Спасское-Лутовиново. Немало способствовал тому, чтобы в 1976 году музей открыли для посетителей. Оставив за собой городскую квартиру, переехал с внучкой в усадьбу. Ему предоставили три комнаты во флигеле, прекрасно обставленные. Просторная угловая, в виде правильного квадрата, сразу же закрепилась за малюткой Анной. Вместе с ней обитала толстая добрая нянька Галина Ивановна, которую девочка окрестила Ивангалинна. Это забавное имя прилипло к женщине, и вскоре все сотрудники музея и друзья дома называли ее только так...

Иосиф Давыдович был интереснейший человек: литературовед и историк, он посвятил свою жизнь изучению творчества Фета и Тургенева. Воспринимал их взаимоотношения очень болезненно, мог рассказывать в настоящем времени о резкостях, допускаемых Тургеневым в переписке... Считал, что Фет совершил большую ошибку, взяв фамилию отца —

Шеншин, мог часами горячо доказывать, что если бы поэт не посвятил жизнь восстановлению родовой фамилии и прав на наследование титула, он имел бы более времени и тем для творчества... Обожал, разумеется, стихи поэта, декламировал наизусть: «Не смейся, не дивися мне В недоуменье детски-грубом, Что перед этим дряхлым дубом Я вновь стою по старине. Немного листьев на челе Больного старца уцелели; Но вновь с весною прилетели И жмутся горлинки в дупле...»

Чтобы оценить литературные переводы Фета, Иосиф Давыдович в свое время выучил немецкий и знал его в совершенстве.

Хороший портрет в деревянной рамке; Анна заказала ее в багетной мастерской, под размер. Ей нравится это дедушкино фото — седые волосы коротко подстрижены, привычная улыбка, грустные глаза. Пиджак светло-оливкового оттенка, подарок коллеги, привезен из Швеции. Модный галстук в диагональную полоску Анна повязывала ему сама.

Вечером, усаживаясь с внучкой пить чай — процедура, сказочно интересная для маленькой Ани, — обязательно дед говорил: «Над дымящимся стаканом Остывающего чаю, Слава Богу! понемногу, Будто вечер, засыпаю...» К чаю подавались маленькие сушки местного производства, удивительно вкусные, и колотый от большого куска сахар в серебряной потускневшей сахарнице. Сахар полагалось брать специальными щипцами и класть в чашку, а не грызть, как хотелось бы малютке Анне.

Анна росла. В ее жизни присутствовали сразу два дома: комнаты во флигеле музея-усадьбы в Спасском и большая квартира в Орле, принадлежавшая еще родителям деда; когда-то его отец владел всем этим старинным зданием и доходным домом напротив. Купец первой гильдии, он одним из первых построил в городе паровую мельницу, самую современную на тот момент. Передовых взглядов был человек, большого ума, погиб в девятнадцатом году при попытке вывезти семью за границу. Его жена и четверо детей вернулись, осиротев. Иосифу Давыдовичу тогда не было и года, старшей девочке исполнилось пять... Разумеется, его матери не удалось оставить себе всей квартиры. Вдова ютилась с малышами в одной комнате и появлялась на кухне поздно вечером, когда отходили ко сну новые соседи — рабочие местных заводов и фабрик.

И только Иосифу Давыдовичу спустя почти полвека удалось восстановить историческую справедливость и вновь завладеть семейной недвижимостью — конечно, не всей. Правда, счастливой жизни на отвоеванной площади в сто двадцать метров не получилось... В первый же год скоропостижно скончалась его возлюбленная супруга — сгорела

буквально за два месяца от саркомы легких, которую приняли поначалу за язву желудка и лечили самыми простыми средствами. А через неполных три года погибла единственная дочь. Хорошо, что у Иосифа Давыдовича оставались работа и внучка. Он часто произносил благодарственную молитву, обращаясь, сам не зная, к какому Богу: «Благодарю тебя, Боже, что у меня есть моя девочка и моя работа...»

Воспитанием своей девочки занимался сам. С самого начала у Анны было личное пространство, по мнению деда, необходимое каждому человеку для нормального существования. Ее комнаты и в городе, и в Спасском-Лутовинове были оформлены с большим вкусом, все в них отвечало представлениям Иосифа Давыдовича об интересах девочек: золотистые обои с порхающими бабочками, мебель натурального дерева, маленький расписной столик под хохлому и такие же стулья. Очень рано обнаружив музыкальный слух, кроха Анна рассаживала на ярких стульях кукол, мишек и зайцев, ставила Чайковского и дирижировала карандашом...

Цветная фотография, сделанная неумелым мастером: синий и зеленый оттенки сливаются, красный слишком желт, общее впечатление нечеткости. Девочка в форменном коричневом платье и белом парадном фартуке сидит на неустойчивом крутящемся стуле, обе руки занеся над клавишами пианино. Полированная крышка отражает букет цветов в высокой вазе.

С четырех лет она занималась музыкой; три раза в неделю к ней приходила учительница — молодая красавица с тяжелым узлом черных волос на затылке. Время занятий Анна называла музыкальным часом и никогда по своей воле его не пропускала. Даже заболевая, с температурой и горящими щеками, настаивала на необходимости урока и горько плакала, если дед, беспокоясь о ее здоровье, не разрешал вылезать из-под одеяла...

Температура падала, появлялась учительница, ставила на крышку пианино метроном, садилась рядом, и начиналось: «Руку яблочком! Спину прямо, звук идет от поясницы. Помогаем себе корпусом и ведем линию...»

Неизменная Ивангалинна — верный слушатель и поклонник; если какой-то пассаж девочке не удавался, она могла плакать в голос, кричать; темперамент у нее был буйный, огненный.

В школу Анна пошла поздно, восьми лет. При сдаче необходимых для зачисления в первый класс анализов у нее неожиданно обнаружили хронический нефрит — как следствие многочисленных ангин. Перепуганный дед забрал из школы документы. Анна прошла необходимое лечение в стационаре городской больницы и долгих пять месяцев прожила с Ивангалинной в детском санатории под Анапой. Вместе с девочкой

путешествовали и ее любимые ноты.

Анна была очень красивым ребенком, просто необыкновенно красивым — сочетание темных густейших волос и светло-карих глаз с белоснежной кожей придавало ее облику невыразимую прелесть. Как-то раз Ивангалинна решила, что девочка должна сама ходить по магазинам, чтобы не быть чужестранкой в родном городе. Анна была отправлена за свеклой. Как воспитанная девочка, она вежливо обратилась к продавщице: «В какую цену свекла?» Та восторгалась, посмотрела на часы и ответила: «Половина второго». У нее в голове не укладывалось, что такого маленького ребенка могли отправить одного в магазин.

Лет с двенадцати Анна уже сама сочиняла музыку, и дед видел в ней будущего композитора или классического исполнителя. Но в девятом классе ею овладело желание поступить в театральный, стать актрисой, выходить на сцену и заставлять благодарных и взволнованных зрителей смеяться и плакать. С такой же целеустремленностью и трудолюбием, какие вкладывала в занятия музыкой, Анна погрузилась в изучение актерского мастерства и всего, что, по ее мнению, необходимо знать актрисе. В частности, записалась в школьный драмкружок. Им руководила старая дама, бывшая актриса, появлявшаяся когда-то на вторых ролях, но Анне она казалась великолепной... Девочка обложила себя книгами Станиславского и Гиппиус, пьесами Чехова и Бертольда Брехта, серьезно занималась ритмикой и хореографией, а также вокалом — поставленный голос очень важен для актрисы. Она читала биографии великих актеров, бросалась в крайности — то садилась на овощную диету Сары Бернар, то меняла местами буквы своей фамилии по примеру Веры Комиссаржевской (до революции ее фамилия писалась Коммисаржевская)... Но если говорить откровенно, более всего в занятиях драматическим искусством Анну привлекал сын руководительницы кружка.

Это был худощавый молодой человек лет двадцати, студент. Пятнадцатилетней Анне он казался невероятно взрослым и, разумеется, — первым красавцем. Честно сказать, красавцем Максим не был. По мнению матери, он был очень похож на Лоуренса Оливье, но на самом деле, кроме ямочки на подбородке, этих двух мужчин ничто не объединяло. Имя Максим сделалось для Анны любимейшим; она стремилась произносить его как можно чаще, испытывая при этом истинное наслаждение. Слова «максимальный», «максимально» приобрели для нее особое, романтическое значение, и она часто удивляла деда и Ивангалинну фразами типа: «Максимально хмуро на улице, надо бы максимально тепло сегодня одеться, а то максимум вероятности замерзнуть и простудиться, а простуда

— это максимальная осенняя пакость!»

Анна одевалась «максимально» по погоде, заплетала длинные густые волосы в косу или — если хватало времени — сооружала прическу посложнее. Как-то даже освоила вообще невероятную, «Кошки, львицы и львы», из локонов разного размера, закрепленных по обе стороны пробора. Локоны завивала на бигуди, заимствованные у Ивангалинны. Та выдала их неохотно: «Нечего дурью всякой голову-то забивать, лучше бы поиграла!» — имея в виду фортепиано.

Максим ни о чем не подозревал, свою маму на занятия сопровождал неизменно — старая дама два года назад упала на улице и сломала шейку бедра. Оправившись от травмы, она уже одна не выходила. Максим безропотно ходил с ней везде, а поджидая мать, читал или что-то записывал в общую тетрадь в зеленоватом коленкоровом переплете.

Анна долго скрывала от всех свои чувства, тем более что и сама не была в них уверена. Вероятно, история ничем бы не закончилась, а чувства постепенно сошли на нет, но судьба распорядилась иначе. Так бывает почти всегда — случаются события, которые кажутся незначительными, но меняют все. В случае Анны это выглядело так:

Фотография с последнего звонка — две выпускницы держатся за руки, ветер раздувает длинные темные волосы и светлые кудряшки. По прохладной погоде на девочках плащи, к плащам приколоты традиционные колокольчики.

Начинаются летние каникулы. Анна, разлученная с предметом своих мечтаний, скучает дома. Городская квартира пуста, из комнаты в комнату летает тополиный пух. Но тут ближайшей подруге, однокласснице Тане делают небольшую операцию, и ей из-за начавшихся осложнений приходится провести несколько дней в больнице. Анна ее навещает, они едят вишни и говорят о каких-то пустяках. И вдруг Таня, замявшись, спрашивает: «Помнишь Максимку, драмкружковского сынка? — Анна вся мгновенно подбирается, но старается ничем себя не выдать. — У нас уже были настоящие свидания, с вином, тортом и поцелуями, — продолжала Таня. — Целых четыре». И тут в палату заходит «драмкружковский Максимка». У него светлые короткие волосы, узковатые глаза, на подбородке — ямочка. Дружески присаживается на Танину кровать, угощается вишнями, травит байки из студенческой жизни, девочки смеются. Анна встряхивает длинными темными волосами, Таня — светлыми кудрявыми. Анна неожиданно чувствует подъем, прилив новой, странной энергии, она смеется новым смехом и по-новому забрасывает ногу на ногу. Она откуда-то знает, что будет дальше, и готова к этому.

Наконец она собирается уходить, и Максим идет ее провожать. Он говорит: «Как раз собирался пойти, заняться курсовой», — машет Тане рукой и этой же рукой берет Анну за локоть, крепко. Они выходят с больничного двора; июльский вечер длинный и все тянется, тянется. В стране очередной продовольственный кризис, нигде нет сахара; богатый урожай ягод портится на балконах и лоджиях, в воздухе пахнет сладко, но как будто уже и гнилью тоже. Максиму двадцать, Анна никогда так не общалась с взрослыми мужчинами, боится выглядеть глупой и, конечно же, выглядит. Но Максим ей все прощает, предлагает подбросить домой на машине. «Бабушка подарила, — небрежно объясняет он, усаживаясь за руль. — У меня бабушка в полном порядке, начальница отдела капитального строительства...»

В общем, через час-полтора Анна, в полнейшем смятении, слушает дома через наушники Баха в современной аранжировке, пьет крепкий сладкий чай и даже что-то ест. На следующий день назначено свидание, и как поступить, непонятно. Анна волнуется, не спит ночь, но на встречу вероломно собирается. Вероломство заключается еще и в том, что она опять навещает Таню в больничной палате, приносит ей еще вишен и белых сладких слив. Ей ужасно стыдно, Таня — лучшая подруга, но ведь это Максим, ее мечта. Кумир. «Это же Максим», — шепчет она, оправдывая себя. «Что ты бормочешь?», — спрашивает Таня. «Так, ничего», — краснеет Анна. Поспешно прощается и напрямик направляется с Максимом в кино, а потом в бар.

В баре она карабкается на высокий табурет, пьет советское шампанское, чуть ли не впервые в жизни ест сушеный миндаль; свет приглушен, и можно видеть свое отражение в зеркале за стойкой — глаза блестят, и в каждом бьют фонтаны ожидания.

Ожидания оправдываются: Максим обнимает ее за угловатые плечи и целует, в рот, в шею, в плечо. Анна задыхается, щеки горят, и сердце колотится ускоренно. «Какая ты классная, — шепчет Максим, — и пахнешь офигенно...» Анна обнимает Максима за шею, а он наматывает ее темную прядь на указательный палец. Восторг, восторг, пятнадцать лет, чудеса, чудеса.

Утром Анна едет к Тане, застаёт ее за сборами: выписали. «Таня, — нетвердо произносит Анна, — я вчера ходила с Максимом в кино, потом в бар. Мне кажется, что...» У Анны дрожат ноги, и руки тоже дрожат. Чужим голосом она повторяет: «Мне кажется, что...» и молчит. Она очень боится: а) потерять дружбу Тани; и б) потерять любовь Максима.

Таня сначала ничего не отвечает, потом садится на кровать — уже без

простыней — и вдруг начинает смеяться. Смех у Тани тяжелый, увесистый. Не взлетает, а падает. «Да не бери в голову! — говорит она, насмеявшись. — Он мне сразу сказал, что пойдет с тобой, типа, ты очень забавная. Такая, говорит, грива волос! Я просто хотела посмотреть, как ты отреагируешь. И как долго будешь скрывать. Проверочка...» Анна молчит. Таня встает, подходит близко, похлопывает ее по ярко-красной щеке.

Они вместе выходят на улицу, идут к остановке автобуса; Анна тащит сумку с пустыми банками — ничего нельзя оставлять в больнице, плохая примета.

Никакого «мне кажется, что...» не получилось. На следующий звонок Максима Анна ответить не захочет. А потом, довольно скоро, он перестанет звонить.

В новом учебном году Максим на занятиях драмкружка уже не появлялся. Его мать нашла себе другого провожатого — старинную подругу, настоящую компаньонку с редким именем Василиса.

Но мечту стать актрисой Анна не оставила. Напротив, с удвоенной, утроенной энергией готовилась к поступлению в театральное училище.

Черно-белая фотография — Анна с высокой прической, длинное платье, пышная юбка, в роли Софьи, ставили «Горе от ума». Она и сейчас помнит пьесу наизусть...

Только кому это интересно?

Бегущий навстречу мужчина грубо толкнул ее в плечо. Она поняла, что прошла уже довольно много и даже устала; мышцы приятно ныли.

Зазвонил телефон в кармане, резко и вызывающе. Надо же, как по-разному можно реагировать на одно и то же событие — когда ты его ждешь и когда боишься. Она знала, что звонит Сергей.

— Слушай, это уже не смешно. По-моему, кондитерская находится в ста метрах от дома, а очередей уже лет десять как не бывает. Неужели покупка хлеба может занимать целый час?!

Ничего не ответив, она сбросила звонок и выключила телефон.

Ей хотелось сказать: «Знаешь, покупай хлеб сам и завтракай один!.. А я буду бродить по городу! И час, и два!» Но она просто нажала на кнопку. И успокоилась. И задумалась.

Ведь это она, Анна, ждала Сергея с работы, полная желания и нежности. Готовила ужин, внимательно слушала рассказы о новых планах и проектах. Иногда они даже гуляли вместе, хотя Сергей не любил ходить пешком, называл это пустой тратой времени. Может, он и сейчас шел бы рядом, придерживая ее за локоть, и она ощущала бы тепло его ладони сквозь тонкую ткань плаща. Может быть...

Если бы не тот случай пять лет назад. Если бы не он. «Если бы да кабы, во рту выросли грибы, был бы не рот, а целый огород», — промелькнуло в голове.

Она остановилась у театра Станиславского. Внимание привлекла афиша — «Братья Ч.»

Из дверей театра вышла немолодая пара, что-то бурно обсуждая. Дама аккуратно складывала в сумочку лаковой кожи глянцевые прямоугольники билетов, мужчина горячо говорил:

— А я повторю тебе, что хуже современного искусства может быть только современное искусство!..

— Аркаша, Аркаша, — дама успокаивающе похлопала его по плечу, улыбнулась Анне.

Та улыбнулась в ответ и вдруг обнаружила, что почти забыла, как это делается. Улыбка. Какие при этом задействуются мышцы?

— Надо что-то менять! — сказала она вслух. Решительно открыла тяжелую театральную дверь и прошла к кассе.

Девушка в смешных роговых очках на пол-лица и разноцветных бусах пила чай, прихлебывая из большой кружки.

— Хороший спектакль. Сделали в рамках чеховского фестиваля. И Рядинский в роли Антона Павловича просто бесподобен, — прокомментировала она. На столе перед ней беззвучно завибрировал телефон, девушка подобралась и звонко проговорила в трубку: — Да, дорогой! Да! Не сможешь? А почему? Ой, прости-прости, не достаю! Обещала, и не достаю...

Анна отвела глаза. Было неудобно подслушивать. Девушка плаксиво крикнула в трубку:

— Но ведь мы собирались! Я целую неделю ждала!

Анна вздохнула. Отошла к афише.

Для нее Чехов был еще одним воспоминанием, связанным с дедушкой.

Долгими зимними вечерами в Орле они читали его рассказы и пили чай, непременно с малиновым вареньем, сваренным заботливой Ивангалинной, и говорили, говорили. Иосиф Давыдович любил повторять: «Чехов, как и его герои, страдает оттого, что его идеальные представления о порядочности и совестливости вступают в конфликт с реальностью и человеческой природой». Анне показалось, что она и сейчас слышит голос деда, низкий и певучий.

— Во сколько начало спектакля? — поинтересовалась она у любительницы чая.

— В семь, — ответила та, хрустя печеньем.

Анна взглянула на часы: было два. Ну и замечательно, решила она.

— Дайте билет, пожалуйста, — сказала она и протянула девушке деньги.

— Осталось одно место в пятом ряду, — кассирша подчеркнула голосом слово «одно», явно имея в виду неуместность похода в театр в одиночестве. Анна вспыхнула. Выхватила билет, не сочтя нужным проститься с бестактной девицей.

Вышла наружу. Жадно втянула московский отравленный воздух. Приложила холодные пальцы к горящему лицу. Подумала, что надо с детства, со школы, что ли, преподавать какую-нибудь теорию одиночества, чтобы люди, взрослея, его не боялись. Смотрели смело в лицо, дружили. А то ведь боятся — настолько, что готовы выстраивать между собой и одиночеством заслоны в виде ленивых, скучных, бесцветных будней, пустых разговоров по дорогим телефонным трубкам. Есть отличное английское выражение — *Less is more*. Переводится примерно так: «Лучше меньше, да лучше». Лучше остаться одной, чем задыхаться с кем-то.

«Одно место в пятом ряду, — повторила Анна зачем-то и сосчитала про себя: — раз, два, три, четыре, пять». Когда-то любое важное событие сопровождалось счетом про себя до пяти, потом это забылось, а сейчас почему-то опять вспомнилось. «Раз, два, три, четыре, пять». Она сделала пять шагов. Резко остановилась.

Пять лет назад осень началась резко и сразу. Уже первого сентября улицы заливают холодный дождь, дети отправляются в школу под зонтиками, я смотрю через мокрое стекло автомобиля. Глаза полны слез. Смаргиваю их ненакрашенными ресницами и прерывисто вздыхаю. Сергей поворачивает ключ зажигания и неожиданно кричит прямо в ухо:

— Ну откуда мне знать, что это мой ребенок?! А?! У нас секса практически не бывает последние полгода! Я постоянно в отъездах! А тут приезжаю — и на тебе!. — Его лицо багровеет. Глаза становятся круглыми, как тарелки. Брови изламываются строго посередине.

Плотнее запахиваю на груди кожаный пиджак цвета теплых сливок. У меня нет сил спорить, опровергать абсурдные домыслы мужа, все это безумие: «не мой ребенок», «не бывает секса», «постоянно в отъездах»... Мне и — самое главное — Сергею прекрасно известно, что ребенок — его и секс — бывает. Может быть, реже, чем хотелось, но достаточно для того, чтобы зачать. Кладу руки на плоский еще живот, пальцы дрожат. Я молчу. Почему беременность вызывает такую реакцию у мужчин? Ведь не они ходят девять месяцев, отекая от излишка жидкости, набирая

излишки веса. Не они страдают и корчатся от схваток, сопровождающихся такими болями, что сознание отключается, уступая природе, полностью доверяя ей. А ночью, усталые, с красными от бессонницы глазами, не они встанут к ребенку, отдавая ему свою любовь и молоко.

Молчу. Я слишком много говорила последние дни, сначала в женской консультации, когда молодая врач-интерн бесконечно долго заполняла карту, уточняя несущественные детали вроде перенесенных инфекционных заболеваний. Рассказывая излишне многословно о ветрянке и кори, я захлебывалась словами, я была счастлива, но отчего-то с самого начала ощущала свое счастье сугубо временным. Преходящим.

Потом разговор с мужем. Тут я уже в основном слушала. Встретила его в передней, спросила, поужинает ли он вместе со мной, накрыла на стол. «Знаешь, — сказала неожиданно робко, — у нас будет... Я тут ходила в консультацию, и у нас будет...» — «О господи!» — ответил муж и вышел из комнаты. Потом вернулся. Тяжело молчал.

И была ночь. И настало утро. И вот я снова молчу. Автомобиль приветливо рокочет, и в салоне тепло.

— Чертово бабье! — кричит Сергей.

Он не смотрит на меня, не смотрит вперед, не смотрит никуда — или вглубь себя? Внутрь своей головы, вглядываясь в нежные сероватые извилины мозга...

— Чер-р-ртово бабье, — повторяет он, — сговорились вы все, что ли! Второй раз я не допущу такой глупости, слышишь? Не допущу...

Я прекрасно знаю, что Сергей имеет в виду, — своего сына от первого брака, рослого мальчика тринадцати лет; мальчик давно уже живет с матерью в Израиле, в Хайфе, и Сергей не любит говорить на эту тему. Как-то раз я слышала, как на вопрос о детях он ответил малознакомому человеку: «Пока нет». Пока нет. Хороший, умный мальчик, много занимается и планирует поступать в Технион, Израильский технологический институт. Изобрел то ли новый язык программирования, то ли что-то еще в этом роде, я не разбираюсь.

— Анна, — Сергей снижает тон и пытается говорить даже ласково. — Анна, ты сама подумай. Ну какой ребенок? Все так неопределенно. Завтра останусь без гроша, и что? Будем жить на твою зарплату? — Он смеется и обрывает себя: — Недавно в гостинице книжка попалась. Какая-то сумасшедшая феминистка, но я от скуки пролистал. Сюзен Зонтаг, слыхала?

Киваю. Конечно.

— Так вот! — голос Сергея опять взлетает и набирает злой силы. — Она болела раком! И говорила, что рак — это дьявольская беременность! Понимаешь? Понимаешь?

— Что я должна понимать? — спрашиваю. Я удивлена.

— Как что? Что беременность презирают даже феминистки...

Наверное, что бы сейчас ни прочел муж, хоть правила дорожного движения, все будет на одну тему.

— К Либерману! В клинику, — продолжает Сергей, ноздри его свирепо раздуваются. — Немедленно! Пусть посмотрит. А мы подумаем. Подумаем... Дьявольская беременность!..

Он переводит дыхание, наконец трогает с места. Я, словно дожидаясь этого, рывком открываю дверь, на ходу, без всякого страха, выпрыгиваю. Точнее, выпадаю. Скорость машины еще невелика, но я неловко опираюсь на правую ногу, нога подворачивается, и я приземляюсь в лужу на оба колена сразу, мне мокро и больно. Приду в себя уже в больнице, увижу грязную руку в птичьем сизом оперении, закричу, забьюсь в руках перепуганного Сергея. Рядом нависнет кто-то непомерного роста в белом.

— Кажется, она пришла в себя, — обрадуется Сергей.

Но он ошибется. Приду в себя я еще нескоро. Начавшееся кровотечение остановить не удастся, и через несколько часов измученный дежурством хирург сделает первый надрез на моем бледном животе. Первое слово, которое я услышу, очнувшись от наркоза, будет «гистерэктомия».

Анна прошла в небольшой холл театра. Сняла в гардеробе серый плащ, поправила непослушные волосы и поднялась по лестнице. Когда-то в этом здании был кинотеатр с меблированными комнатами. Кто обитал в них? История всегда хранит множество тайн, и нам, потомкам, их уже не разгадать. Можно лишь додумывать, фантазируя. Чашка кофе согревала руки. Людей было много, и это радовало. Значит, не все так плохо, если люди интересуются Чеховым, подумала Анна.

Через сцену тянулась веревка, на которой висели простыни, пододеяльники и даже подштанники — то самое белье, правда, чистое, ворошить которое интеллигентным людям не пристало. Как в реальности, подумала она, — декорации занавешивают жизнь. За несколько минут до того как погас свет, она услышала странный шум за спиной. Женщина в инвалидном кресле подъехала к пятому ряду.

— Я тут припаркуюсь рядом, — улыбнулась она, обнажив великолепные зубы. Белые волосы на старинный манер были уложены

вокруг головы.

— Конечно, — ответила Анна, почему-то обрадовавшись соседке.

Свет погас. На сцену вышла горничная, начала снимать белье с веревок, словно освобождая пространство для жизни. Показались стол, буфет, качели.

Запахло дачным летом, молодостью.

Три брата пили водку, обсуждали глобальные вопросы мироустройства, но милого, хорошо знакомого Чехова Анна так и не увидела. Не возникло и умиления перед его семьей.

Ей показалось, что взаимоотношения Антона Чехова с братьями и отцом куда интереснее, чем с женщинами. Женщины здесь вообще казались какими-то лишними, ненужными. Мужской мир творчества и амбиций... Женщина может быть всего лишь дополнением — дополнением к сильному мужскому миру.

Женщина рядом внимательно наблюдала за происходящим на сцене.

— Казалось бы, многое изменилось, но на самом деле — ничего... — неожиданно сказала она.

Анна медленно повернула ключ. В квартире было так тихо, что любой звук казался гораздо громче, чем был на самом деле. Стук каблуков и шум расстегивающейся молнии на сапоге гулким эхом отскакивали от стен.

Пахло табачным дымом. Она поморщилась; на цыпочках прошла в ванну, открыла кран. С детства она любила смотреть на льющуюся воду. Ей доставляла удовольствие бесконечность этого процесса и в то же время ощущение своей власти над ним. Дверь резко отворилась, на пороге стоял Сергей.

— А что, побриться — это проблема? — спросила она равнодушно, рассматривая его отражение в зеркале.

— Ты решила окончательно вывести меня из себя? — нарочито спокойно произнес он. — Думаешь, я начну орать? Выяснить, где ты провела весь день?

Промолчала. В зеркале колыхались тени, напоминающие тонкие, очень тонкие ветви деревьев. Что бы это могло быть? Ничего похожего в ванной комнате нет и в помине. Она с интересом огляделась, будто пришла в гости и любителю интерьером.

— Ты вообще чего добиваешься? — продолжал Сергей. — Чего тебе, дур-р-ра, не хватает? Я столько лет вкалывал! Не расслаблялся вообще! Такие проекты запускал! Чего тебе надо? Чего?

Сергей шагнул к ней и прижал к себе. Так крепко, что ей стало больно.

— Отпусти меня, — с усилием прошептала она.

— Да пошла ты!.. — Он сильно сжал ее руку. На нежной белой коже остались красные следы. Продолговатые, как колышущиеся в зеркале тени. Она вскрикнула. — Все мстишь мне? О, только, умоляю, не начинай! Не было у тебя никакого ребенка! Эмбрион! Зародыш! Одноклеточное!

— Это ты — одноклеточное! — просипела Анна.

Дышать становилось все труднее. Не закрывая глаз, увидела темноту, красные проблесковые огни, вспышки слева и снова длинные, сплетающиеся тени; только теперь они стали белыми и тянулись, тянулись к ней щупальцами, обнимая за шею. Никакого зеркала впереди, никакого Сергея позади, только тишина и сильный жар. Что-то упало с грохотом, кто-то витиевато выругался и — снова ничего. Черная дыра, где время ведет себя самовольно, не подчиняясь законам, где пространство скручивается в спирали и где исчезают галактики. Наверное, там она и оказалась и блаженно задышала в безвоздушной космоса.

А что если довериться провидению и ни о чем не думать? Лежать, скажем, в комнате на диване и ждать того, что должно случиться. Например, придет сосед или еще кто-то, кто окажется кем-то важным в твоей жизни. А может, ничего и не случится, даже если ждать целую вечность. Анна попыталась открыть глаза. Странный треск. Или стук? Больно отзывающийся в одном из полушарий. В левом. Вот опять.

Веки медленно, с трудом поднялись. Анна увидела смутно знакомое лицо. Или незнакомое? Или не увидела, а просто придумала? Отдельные моменты ускользающей цепи событий вспыхнули в голове, выстраиваясь в цветные паззлы. Платье. Замшевые туфли. Немецкое посольство. *Das ist meine Frau Anna.*

— Михаил, — чуть слышно выдохнула она.

Белый халат из-под сине-зеленой куртки. Усталые глаза. Упрямый подбородок с ямочкой. У кого же еще была ямочка? Это потом, потом, сейчас важно понять, что происходит.

— Ну да, ну да, «скорая помощь», врач, — сбивчиво бормотала она. — Со мной что-то случилось? — попыталась говорить громче, но закашлялась.

Михаил встревожено посмотрел на нее:

— Честно говоря, диагноз рано ставить. Необходимы дополнительные обследования. Сейчас вот доберемся до больницы. Здесь поблизости двадцать четвертая городская. Там и уютно, и персонал хороший.

Как причудливо история раскручивает свою спираль. Такое чувство, что здания тоже проходят свой виток. Когда-то, в тысяча семьсот

шестнадцатом, на углу Петровки и Страстного бульвара была построена усадьба князей Гагариных, с мощным двенадцатиколонным портиком, равных которому нет в Москве. В свое время здесь располагался Английский клуб, позднее — интенданты армии Наполеона. Но с 1833 года и по сей день здесь находится больница.

— Прекрасное здание, и по внешнему виду, и по сути, — словно читая ее мысли, вдруг сказал Михаил.

Анне показалось, что она что-то говорит, но голоса не было.

Михаил положил свою широкую ладонь на ее руку и мягко спросил:

— Что же с вами случилось?

Она почувствовала, что сейчас заплачет, и отвернулась. Что с ней случилось? Да если бы она сама понимала, ей не было бы так горько, и она не чувствовала бы, как внутри нее все скручиваются какие-то жгуты, мешают двигаться, душат.

И не задавала бы себе постоянно этот опускающийся тягучим туманом вопрос. Дышать снова стало тяжело. Пытаясь успокоиться, она закрыла глаза, погрузившись в смутную дремоту. Увидела перед собой лицо девочки с большими грустными глазами и красным бантом на коротко стриженных волосах, небритое, беспомощное лицо Сергея — и почувствовала, как ее охватывает паника. «Во всем виновата я, только я!»

Машина остановилась, дверца с громким стуком распахнулась, и Анна увидела табличку «Терапевтическое отделение». Михаил заполнял бумаги, что-то спрашивал, но ей трудно было говорить. Тяжелые веки отказывались подчиняться. Она чувствовала, как проваливается в длинную, постоянно вращающуюся трубу. Летела, захлебываясь от увеличивающейся скорости и чувствуя легкое покалывание в руке.

Дружелюбный шум дождя напомнил о вчерашнем. Она увидела светлые стены и окно с задернутыми занавесками — практически белыми. В дверь постучали, и в палату легко и непринужденно, словно танцуя, вошла полноватая женщина. Положила на тумбочку пластиковый стаканчик с разноцветными таблетками, весело пропела:

— Доброе утро, Анна Борисовна! Выспались?

— Даже очень, — чуть слышно ответила Анна.

— Сейчас выпьем таблеточки и сделаем укольчик!

— Укольчик?

— Да, красавица, а то разве это дело так нервничать? Нужно немного успокоиться, в себя прийти. Вся жизнь ведь впереди.

Анне понравился голос женщины, хотелось, чтобы она поговорила с ней еще.

— Как вас зовут? — тихо спросила Анна.

— Вика, Виктория, — бодро ответила медсестра.

— Вы, наверное, очень любите свою работу?

— Люблю, — спокойно ответила Вика и выпустила из шприца воздух.

Только сейчас Анна заметила, что на соседней кровати спит женщина, с головой укрытая одеялом. Присутствие соседки обрадовало Анну. Что ни говори, а человек — существо социальное. К тому же становится легче, если кто-то переживает то же, что и ты. Странно, но когда нам хорошо, когда испытываем чувство влюбленности, нам кажется, это происходит только с нами, и никто еще не переживал ничего подобного. Когда же случается что-то плохое, мы бесконечно рады каждому, кто находится в таком же или даже худшем положении. Когда сознаем, что не одиноки в этом мире, сразу становится легче.

Теплой мягкой рукой Виктория помассировала место укола. «Так меня могла бы гладить мама», — промелькнуло у Анны в голове.

— Спасибо, — выдохнула она, почувствовав, что глаза снова становятся влажными.

— Ну, разве за это благодарят? Смешная вы какая, Анечка! Поправляйтесь и ни о чем не думайте. Пospите, сон — лучшее лекарство.

Быстрой походкой женщины, не привыкшей расслаиваться, сестра вышла из комнаты. Анна закрыла глаза.

Высокие, очень высокие и строгие горы кольцом окружают со всех сторон. Чувство восхищения смешивается со страхом. Кажется, горы сейчас сомкнутся и задавят маленькую девочку. Она беспомощно стоит перед ними — в пышном платье в цветочек с развевающейся юбкой. Ветер треплет ее кудрявые волосы. Глаза слезятся от попадающего в них песка. На голых ногах легкие сандалии, но она не чувствует холода. Горы все ближе придвигаются к ней, и уже не видать их снежных вершин. Они словно сливаются с голубым и близким небом. Какая-то большая птица проносится низко, задев ее мягким крылом.

«За мной, за мной!», — слышится голос птицы.

Она совершает еще один круг и приземляется у ног девочки.

«Садись, садись!» — снова обращается к ней птица, и она видит птичьи пронзительные глаза-бусины. Девочка легко запрыгивает на гордую спину, большая птица медленно поднимается над землей. Девочка бесстрашно обвивает руками ее крепкую шею. Через мгновение птица приземляется на горе и исчезает так же внезапно, как появилась. Девочка смотрит вниз, ее охватывает ужас. Внизу возникает фигура дедушки, и

она почему-то отчетливо видит его лицо. Он машет рукой и кричит: «Анна, Анна, поднимайся выше!» Грубая поверхность камня в кровь царапает колени.

Но она не чувствует боли и отчаянно карабкается вверх.

Руки уже отказывают. Но сверху вдруг доносится голос: «Я помогу тебе, Анна». Она не видит лица, только размытый облик мужчины, сильного и большого. Он тянет к ней руки: «Я помогу тебе, Анна, держись! — Она различает его улыбку. — Я помогу тебе».

Снова дождь за окном и гроыхание тележки в коридоре.

— Девочки, завтрак!

Она открыла глаза.

«Я помогу тебе, Анна», — вспоминает она и пытается воссоздать образ мужчины-спасителя, но ей это не удается.

— Эй, сони, вы будете завтракать или нет? — В палату вошла грубоватая женщина, заматеревшая от невзгод, выпавших на ее долю. Это чувствовалось в интонациях голоса, в том, с каким раздражением она ставила на тумбочки тарелки с кашей и разливала чай.

— Просыпайтесь! Новенькая, что ли? Бледная какая!

— Спасибо, — сказала Анна.

Женщина поставила на тумбочку кашу и выкатила из палаты тележку.

— Завтрак! — донеслось дальше из коридора.

Анна дышала ровно, и это доставляло ей удовольствие.

Сугроб зашевелился, и она увидела широкое лицо соседки; левую щеку и часть рта пересекал большой шрам в виде ящерицы. Женщина потянулась и открыла глаза.

— Доброе утро, — сказала она приятным низким голосом. — Вы ночью поступили? Я даже не слышала. Эти уколы такие сильные, ничего не слышишь, хоть всем табором пой. Меня Тамара зовут, а вас?

— Анна. Приятно познакомиться.

— Мне тоже, — ответила Тамара и закашлялась. — Кашу эту я есть не могу, а чай — просто помой. Тут внизу неплохое кафе. Может, сходим потом? Там и кофе натуральный есть, и сырники просто замечательные.

В дверь постучали, и обе устремили свои взгляды на входящего. На пороге стоял небритый мужчина в мешковатом свитере и джинсах. Анне трудно было узнать в нем своего всегда щеголеватого супруга.

— Сергей, ты?.. — вырвалось у нее. — Так рано?

За десять лет совместной жизни таким она его ни разу не видела. Обычно он собирался на работу не меньше сорока минут, пятнадцать из

которых уходило на бритье. Из ванной выходил румяный, гладко выбритый, благоухающий дорогим парфюмом.

Сергей молча подошел к ее койке и присел на край.

— Тебе лучше, — произнес он, глядя в сторону. — Поспала?

Она чувствовала, что он волнуется, но от его заботливой интонации ей стало не по себе.

— Мне лучше, — ответила она. — Зачем ты «скорую» вызвал? Все бы обошлось...

— Лучше было смотреть, как ты задыхаешься? — вспыхнул он. — Ладно, хватит разглагольствовать. Давай собирайся, поедем в нормальную клинику. Меня от одного запаха здесь тошнит.

— А мне тут нравится! — ответила она и отвернулась.

— Опять начинаешь! Я из-за тебя всю ночь не спал! Ты меня совсем извести хочешь! У меня, между прочим, сегодня важное совещание с бургерами, решается вопрос о новой линии. А ты...

— Ну и занимайся своими бургерами, — равнодушно сказала она и почувствовала, как дыхание снова затрудняется. — Прошу тебя, не начинай. Решай спокойно свои вопросы. Мне здесь хорошо.

Сергей резко встал и процедил сквозь зубы:

— Как знаешь, только судки с комплексным обедом я тебе сюда возить не буду. Ладно, завтра заеду. Сегодня не получится. Немцев придется выгуливать до ночи.

— Они что, собаки? Смешно.

Муж открыл бумажник из крокодиловой кожи, достал деньги:

— Вот тебе на расходы.

Поцеловал Анну в лоб и вышел, звучно закрыв за собой дверь.

— Да, суровый, — отметила Тома и виновато улыбнулась.

Анна не ответила. Спокойно потянулась за таблетками на тумбочке. Пришел врач с обходом, медсестра с бесконечными анализами. Потом Тамара и Анна спустились в кафе, где пахло чем-то подгоревшим и женщина в цветастом платье ловко принимала заказы. Анне очень понравился и этот запах, и ободранный лак на коротких ногтях буфетчицы. В махровом халате Анна походила на тень. За последнее время она осунулась и явно потеряла в весе, что придавало ее облику болезненную аристократичность. Они заказали сырники, кофе и уселись за маленький столик у окна. Светило яркое весеннее солнце — словно любовник, восторженно дарящий ласки новой избраннице. Анна смотрела на Тамару. Шрам на щеке приковывал взгляд. Казалось, он хранит какую-то тайну.

— Да, вот такое у меня украшение, — грустно улыбнулась Тамара.

— Нет, ничего, — оправдываясь, как пойманный воришка, сказала Анна.

— Да ладно тебе, знаю, что ужасно, но я привыкла. Сначала хотела делать пластику, но Алексей отговорил.

Анна не знала, что сказать, и молчала, ковыряя алюминиевой вилкой подгоревший сырник.

— Знаешь, нам всегда кажется, что уж с нами такое никогда не случится, что мы под особой защитой. — Тамара многозначительно указала пальцем вверх. — Но происходит какое-то событие, и ты вдруг понимаешь, насколько уязвим, а самое главное — что ничего уже нельзя изменить. — Она громко отхлебнула из чашки. — У тебя давно приступы?

— С полгода.

Тамара отодвинула тарелку с недоеденным сырником и сказала негромко:

— Я всегда была очень веселой девочкой. Родители так воспитывали — учили во всем видеть светлое и доброе. Папа всю жизнь очень любит маму. Сейчас им по семьдесят, и они до сих пор гуляют за ручку. Я в старшем классе была уже вполне сформировавшейся девушкой. Это у меня в маму. А у нее в бабушку. Школа наша находилась довольно далеко от дома. Мы в Подмоскowie жили. Знаешь город Королев?.. Наш город связан с космонавтикой. У нас всегда было спокойно. Мужики пьяные по улицам шатались, но, знаешь, безобидные — выругаются и дальше пойдут. Меня в десятом классе старостой класса выбрали. Мы как раз стенгазету доделывали для праздника. Тогда их много было, уже и не помню, для какого. Подружка моя недалеко от школы жила, а мне еще через овраг нужно было пройти, а там рукой подать до улицы Циолковского. Папа с мамой работали до ночи на своем заводе. Зимой вечерами темно — хоть глаз выколи. И ведь ничего не боялась! Не боялась, — протянула она, — до того самого вечера. Бежала по оврагу, довольная, что доделала газету и сейчас сяду ужинать. Картошку хотели сварить, а папа должен был принести копченой скумбрии, им на заводе выдавали раз в неделю. Дальше помню обрывками. Знаешь, такими клипами. Сейчас так снимают кино... Кто-то схватил меня за руку и швырнул на землю. Прерывистое тяжелое дыхание. Раздирающая боль. Рука, больно сжимающая мою грудь. Что-то резко ударило в лицо. И все. Нашел меня сосед, который тоже возвращался домой. В травмпункт отнес. Ну и все такое. Смутно помню, как щеку зашивали, врач потом долго осматривал. Тогда и случился у меня первый приступ. В городе об этом случае много было разговоров. Я даже школу хотела бросить и уехать. Мама плакала. У этого маньяка, его потом нашли,

десять жертв оказалось. Все девчонки-школьницы, и все со шрамом.

Тамара помолчала, потом улыбнулась и добавила:

— Ну что, пойдем, сейчас мои Леша с Манюней придут. Мое счастье.

Они поднялись в отделение.

В дверь постучали, в палату вошел интересный мужчина лет тридцати пяти и румяная девочка с двумя косичками. Она была в красной куртке, отороченной белым мехом, и держала в руках букет сирени. Мужчина приветливо поздоровался и, подойдя к Тамаре, нежно поцеловал ее в обезображенную щеку.

— Тебя завтра выписывают. Устроим вечером праздник. Манюня «шарлотку» решила тебе испечь.

Тамара радостно улыбалась. Было видно, что она ощущает себя самой счастливой и любимой женщиной на свете. Анна чувствовала, что стала свидетелем чего-то очень важного. Простого счастья, которое, оказывается, возможно. Она потихоньку встала и вышла в коридор, чтобы не мешать.

Там сильно пахло карболкой. Анна побродила по коридору и, наконец, чувствуя легкое головокружение, вернулась в палату.

Медсестра Вика вместе с врачом Борисом Львовичем пытались нащупать вену на тонкой руке женщины с заплаканным бледным лицом, похожим на скорбную маску Пьеро.

Новая пациентка. Рядом суежилась давешняя санитарка, что привозила тележку с завтраком. Сейчас в руках у нее была бутылка с физраствором.

— Аня, хорошо, что ты вернулась! — взволнованно сказала Виктория. — Помоги. Нужно жгут принести и руку поддержать. Ей очень плохо!

Сбегала в процедурную за жгутом. Вчетвером они держали сопротивляющуюся женщину, Виктория вводила ей какую-то желтую жидкость, потом — димедрол. Установила капельницу. Руки пациентки перестали вздрагивать и легли двумя длинными плетями, она наконец затихла. Чувство ужаса в больших глазах постепенно погасло.

«Сейчас ей тоже приснится сон», — подумала Анна.

* * *

Маленькая девочка с ободранными коленками в своем цветастом сарафане карабкается вверх по огромной скале. Из последних сил цепляется за чахлые побеги. Сверху и сбоку катятся камни. Силуэт впереди. Она не видит лица, только очертания. «Я помогу, тебе Анна», —

повторяет он и протягивает руку.

«Ужин, ужин, жен-щи-ны!», — прокричала нянечка.

Новая пациентка лежала с открытыми глазами и смотрела в потолок, а потом вдруг встала и направилась к окну. Поставила босую ногу на подоконник и быстро забралась на него. Анна вскочила и буквально столкнула женщину на больничный линолеум, схватила за руки.

— Ты что, с ума сошла?! Хочешь попасть туда, откуда, даже если вернешься, получишь диагноз на всю жизнь?

Вместе с Тамарой усадили новенькую на кровать.

— Тебя как зовут, парашютистка? — спросила Анна.

— Галя, — бурно всхлипывая, ответила та.

На вид ей было хорошо за тридцать, хотя фигура была безупречно стройной.

— Я не сумасшедшая, — сказала она, — пока не сумасшедшая!

И снова слезы ручьем. Черные волосы упали на лицо.

— Ладно, успокойся. — Анна осторожно присела рядом, обняла соседку за плечи.

— Как жить, ну как жить? — заговорила Галя, не отрывая рук от лица. — Как она могла так со мной поступить?

— Кто? — поинтересовалась Тамара. Она поставила перед Галиной стакан с компотом. — Если хочешь, расскажи. Может, легче станет, когда выговоришься. Синдром попутчика, слыхала?

Галина быстро закивала и начала свой грустный рассказ.

— Отца своего я не знала. Мать на мои расспросы отвечала, что он погиб. Но большую часть времени она была под хмельком. Не уверена, что она вообще знала, кто он. — Галина прерывисто вздохнула и отпила компота. — Спасибо, очень вкусный... — Помолчав немного, продолжила: — У нее было высшее образование, но последние двадцать пять лет она торговала на рынке. Сначала у грузина — яблоками, потом у азербайджанца — помидорами. Я изо всех сил старалась не повторить ее судьбу. В старших классах выучилась на парикмахера, тренировалась на одноклассниках. Получалось хорошо, быстро появились постоянные клиенты. А в двадцать лет я забеременела от парня из благополучной, как говорится, семьи. Узнав, что жду ребенка, он исчез. Очень банально, да. Я все время работала, и пока беременная ходила, и потом, когда родилась моя принцесса, Софья. Она действительно была необыкновенной, даже плакала по-особенному. А красивая!.. Я и в садик ее не водила, работала день и ночь. У меня было что-то вроде парикмахерского салона на дому. На

Софью денег хватало, а о себе я не думала. Какие мужчины? О том, что я женщина, вспомнила год назад. Влюбилась. Он был моим клиентом...

Глаза Галины вновь наполнились слезами. Анна напряженно слушала.

— Так красиво ухаживал! Курьер принес мне в салон букет белых лилий с запиской: «Ты восхитительна, как эти лилии». Я и не думала, что такое бывает! Пригласил на настоящее свидание, с шампанским и заказанным в ресторане столиком. Марк его зовут, необычное имя, правда? Читал мне из Пастернака, я потом выучила: «Свеча горела на столе... Свеча горела». Никто никогда не читал мне стихов. Поладил с Софьей. Готовил ее к экзаменам. А месяц назад сделал мне предложение. Я была счастлива! Вчера, — губы и руки Галины задрожали, — я заехала к подруге. Болтали допоздна, пили вино, и я решила остаться. Позвонила Марку, сказала, чтобы не ждал. Но потом захотелось домой — соскучилась. Вызвала такси. Приехала. Открыла дверь тихо, чтобы не потревожить, разулась и на цыпочках прошла в комнату. До сих пор эта картина перед глазами! Марк целует мою дочь, мою принцессу. А она, обнаженная, обвивает тонкими руками его шею. Что-то шепчет. Дальше я ничего не помню, помню только, как выбежала босиком на улицу — и все.

— И все, — эхом повторила Тамара. — Господи, вот уж действительно — и все. Ничего особенного. Дети, они, знаешь, вырастают и становятся посторонними людьми. Это нормально.

Резко поднявшись, она вышла в коридор. Анна молча смотрела, как Галина раскачивалась на больничной койке. Вперед-назад, вперед-назад, в такт биению своего разбитого сердца.

За окном уже стемнело, можно было ложиться спать. Завтра кто-то опять приклеит к стеклу пейзаж: вид больничного сада с нежной зеленью листьев. А может, прилетит голубь, Анна пока не знает.

Когда утро наступило, голубя не было, сил — тоже. Постаралась взять себя в руки, встала и вышла из палаты.

— Ага, — кивнул ей бегло Борис Львович. — Выписку я подготовил, в двенадцать перевозим вас в другую клинику...

И пошел-побежал по коридору. Белый халат развевался, как мушкетерский плащ.

— Куда? Куда меня перевозят? — Анна в полном недоумении схватила за рукав проходившую мимо Вику. Небольшого усилия хватило, чтобы она вновь начала задыхаться, и противный холодный пот выступил на лбу.

— Муж ваш распорядился, — медсестра понимающе улыбнулась. — Не пугайтесь. Все хорошо. Присядьте-ка. Я вам водички...

Анна тяжело опустилась на подвернувшийся стул. Закрыла руками лицо. Колченогий стул шатался под ней. Приняла мокрый стакан от Вики-Виктории. Стараясь ни о чем не думать, медленно пила холодную воду. Вода растекалась по желудку, и время текло, заворачиваясь вокруг ее ног в домашних тапочках.

— Кто это? — спросила она чуть погодя у Вики-Виктории, показывая глазами на удаляющегося мужчину. Пустой стакан крутила в руках.

Было на что посмотреть. Мужчина выглядел как американский киногерой — разворот плеч, открытая улыбка, светлые волосы слегка растрепаны. За руку он вел маленькую девочку в смешном комбинезоне и шапке с заячьими ушками. Девочка смеялась и лепетала что-то неразборчивое, но веселое.

— Это... пациент? — переспросила Анна. На пациента мужчина похож не был.

— Да нет, — ответила Вика-Виктория, не отрываясь от записей в большой амбарной книге, — это навещающий. В шестой палате женщина лежит, с пневмонией. Ну, такая, полноватая. Светленькая... Это ее муж и ребенок. Ой, и не говорите! — Вика-Виктория с размаху уселась на такой же шаткий стул. — Там такая история! — Она заулыбалась. — Знаете, очень жизнеутверждающая! В общем, у той женщины из шестой палаты, Денисова ее фамилия, этот брак второй. Ей уж за сорок. А первый муж был преподавателем в университете и постоянно появлялся всюду со студентками: гладкие щеки, пирсинг пупка, тату на нижней части спины, ну, вы понимаете. «Это моя работа! — возмущенно отвечал он на робкие вопросы жены. — Я все-таки педагог!»

Вика-Виктория смотрела выжидательно, и Анна кивнула.

— Вот. «А кто виноват, — спрашивал педагог, — кто виноват, что ты торчишь дома, как клуша? Не ходишь никуда, ничем не интересуешься, ни в театр, ни в клуб, ни на выставку!..» Возразить было нечего, не вписывались выставки в ее напряженный график главного бухгалтера, не оставляли свободного времени заботы о дочерях. Две дочки у нее от первого брака. Взрослые уже. Старшая в институте учится...

Анна слушала. Как бы она хотела тоже кому-то рассказывать о своих детях. Об их успехах, хороших оценках... Да что там — о хороших! Хоть о двойках!

Вика-Виктория между тем продолжала:

— «Никто не виноват», — соглашалась Денисова и возвращалась к домашним хлопотам. Так бы, наверное, все и шло, если бы не случай с повесткой в районный суд по поводу установления отцовства. Одна

студентка подала исковое заявление. От ребенка, полугодовалой девочки, педагог отказывался до последнего. Ссылался на свободные взгляды студентки. Демонстрировал фотографии. К отцовству его все же приговорили.

Анна замерла.

— Сами понимаете, после этого все пошло у них с мужем наперекосяк. Через год они разменяли квартиру на две, меньшей площади, причем в противоположных районах.

— Понимаю, — неожиданно горячо ответила Анна, — еще как понимаю!

— Ну да, — даже немного удивилась Вика-Виктория. — И вот, на новой уже квартире, как-то вечером готовила она ужин... ну, дочки же у нее... Как ни переживает женщина о несложившейся личной жизни, а выходит на кухню и жарит котлеты. И тут...

Вика-Виктория таинственно замолчала. Анна смотрела на нее, не отрываясь. Почему-то ей казалось, что медсестра скажет сейчас нечто очень важное именно для нее.

— В дверь позвонили, она открыла. «Вы нас заливаете! — крикнула ей в лицо толстенькая старушка с синими волосами. — Вас что, не предупредили хозяева, что здесь вечная проблема со сливом?» — «Простите, — испугалась Денисова, — я сейчас посмотрю, я сейчас исправлю...» — «Исправит она!» — передразнила старушка и вдруг схватилась пухлой ладонью за левую сторону груди и застонала. Принесла она старушке стакан воды, та оттолкнула стакан и застонала еще громче. А по лестнице в это время кто-то поднимался, — голос Вики-Виктории празднично взлетел, — и это был высокий мужчина, похожий на киногероя...

Анна подумала, что Вика говорит о нем ее словами. Американский киногерой, да.

— «Твой голос, мама, — сказал мужчина, — с улицы слышно! Я привез тебе кресло, его отлично перетянули. Пойдем, пожалуйста, не пугай людей». Посмотрел внимательно на Денисову, а Денисова — на него. И совершила странный, немыслимый для себя поступок. Глубоко вдохнула, шумно выдохнула и произнесла: «Простите, молодой человек. Вот вы говорите, кресло перетянули... Значит, у вас есть знакомый мастер? А то у меня, видите ли, похожая проблема с мебелью. Обивка устарела. А сейчас столько тканей! Столько возможностей! И хочется сделать красиво». — «Если вам удобно, — предложил киногерой, взглянув на часы, — я зайду минут через сорок, и мы договоримся»...

— И что дальше? — жадно спросила Анна, хотя ей, конечно, и так все было понятно.

— Ну, а что дальше? — Вика-Виктория мечтательно зажмурилась. — Дальше можно рассказывать долго. А можно коротко. А можно просто сказать, что счастливый конец бывает не только в малобюджетных сериалах. И еще можно сказать, что Денисова, терпеливо выслушивая по телефону жалобы бывшего мужа, ни разу ему не ответила: «А кто виноват?» или: «Обратитесь в лигу сексуальных меньшинств!» — как советовал ей веселый киногерой, сидя в так и не отреставрированном кресле.

— Не отреставрированном? — удивилась Анна. — Она же хотела... Перетянуть...

— Не так уж и нуждалось светло-фиалковое кресло в перетяжке. Денисова купила его специально для новой квартиры, вместе с просторным светло-фиалковым диваном, овальным столиком и еще одним креслом. Тоже светло-фиалковым...

Мимо прошел американский киногерой с ребенком на руках. Его сопровождала милая женщина, укутанная поверх теплого халата в пуховый платок. Они остановились у дверей отделения.

— Имей в виду, — говорила женщина, убирая со лба светлую челку, — эти лыжи мы тебе купим. И костюм.

— Посмотрим, как будет с деньгами. — Мужчина поставил девочку на пол и поцеловал женщину сначала ладонь, а потом висок.

— Обязательно купим! — Женщина чуть нахмурилась. — Я хочу, чтобы ты у нас был спортсменом...

В отделение вошел Сергей и направился к Анне. Лицо его было серьезным. В руках — черный кейс с ноутбуком и роскошная коробка конфет. Он небрежно придвинул ее к локтю медсестры:

— Мы уходим.

Анна судорожно вдохнула, уже привычно закрыла глаза и позволила сознанию ее покинуть.

— Сергей!

Анна приложила ладонь ко лбу. Лоб пылал, и ладонь приятно его охлаждала. Муж, казалось, ее не слышал. Он внимательно изучал входящую почту на экране ноутбука, одновременно пролистывая свежий выпуск «Форбса».

— Сергей! — повторила она. — Прощу тебя, объясни, что я тут делаю. Поговори со мной. Ты не ответил ни на один вопрос!

Муж посмотрел на нее поверх крышки ноутбука и поморщился.

— Курить хочу, — пожаловался он, — но ты ведь сейчас заноешь...
«Дым... я задыхаюсь...»

— Кури, если хочешь, я выйду, — Анна нашарила домашние туфли и поднялась с кровати.

— Стоять! — Сергей с яростью схватил ее за холодную руку, сжал узкое запястье. — Хорош тут страдалицу корчить! Выйдет она! Сиди! На вопросы я не отвечаю! А то у меня забот больше нет!..

Он резко встал и вышел, раздраженно хлопнув дверью. Вернее, попытавшись хлопнуть дверью, но дверь с доводчиком закрылась мягко, никого не беспокоя.

Анна огляделась. Она была в больничной палате, менее всего напоминавшей больничную палату.

«Это как современное искусство, — подумала она, — которое постепенно перестает быть искусством».

Стены были покрашены матовой краской нежных оттенков: прилегающая к двери — светло-светло-желтая, а три остальные — светло-светло-фиалковые. Кровать с отличным ортопедическим матрасом и нарядным изголовьем из мореного дуба; комод и столик на массивных колесах тоже соответствовали общему стилю, а шкаф для одежды просто потрясал великолепием. Он зачем-то был снабжен даже антресолью. Кроме всего прочего, в смежном маленьком помещении без окон размещались холодильник, микроволновая печь и пароварка. Стулья и барная стойка со сверкающими вогнутыми доньшками бокалами. Линолеум нейтральных тонов. Бамбуковые жалюзи. На стекле витраж: два кота переплелись хвостами. Из окна вид на ухоженный сад. Скамейки, фонари, вычищенные дорожки.

Анна вытянулась на кровати. Закрыла глаза. Потом открыла. Посмотрела на потолок.

Светильники в тщательно продуманных местах, близ кровати — красивая настольная лампа с абажуром из материала, напоминающего шелк.

Не может это быть шелком, отстраненно подумала Анна, поглаживая пальцем абрикосовый абажур. Просто надо же было о чем-то думать.

— Доброго утречка! — в дверях показалась полная женщина в ярко-оранжевой униформе. На кармашке вышита гладью эмблема клиники — какой-то цветок. Анна не разглядела.

— Здравствуйте, — она села.

— Лежите-лежите! — захлопотала женщина. — Сейчас укольчик

сделаем. На животик поворачиваемся... Вот так, молодец!

— Простите, — Анна обернулась, — простите, наверное, это ужасно глупый вопрос... Но муж не хочет меня волновать, — про себя усмехнулась, — и не говорит, что это за клиника. Вообще ничего не говорит, если честно. Он очень своеобразный человек. Доктор заходил, но разговаривал опять-таки только с мужем... Вы не подскажете?

— Во-первых, — женщина негромко и как-то продолговато рассмеялась, — после обычного транквилизатора вы бы не заснули. Седативными препаратами загрузили...

— Это неважно, — Анна страдальчески прикусила губу.

— Во-вторых... Как же, подскажу, — женщина со стеклянным хрустом сломала кончик ампулы, заговорила специально поставленным рекламным голосом, — многопрофильная частная клиника «Подсолнух», четыре отделения — хирургическое, гинекологическое, терапевтическое и детское. Она помолчала и сказала зачем-то еще раз: — И детское в том числе.

Анна поморщилась, почувствовав укол.

— А... я в каком лежу? — глупо спросила она.

— В терапевтическом, разумеется, — ответила бодро медсестра и вышла; дверь тихо закрылась.

Вернулся Сергей. Хмуро закрыл ноутбук, проворчав, что батарейки хватает на каких-нибудь пару часов, значит, придется опять тащиться в сервис.

— Послушай, а что я делаю в этой больнице? — спросила Анна, выделив голосом слово «этой».

— Хороший вопрос! — Сергей поднял бровь. — Ты здесь проходишь курс лечения. Посмотри вокруг! Это — лучшая клиника из всех, что ты видела в своей жизни. Лежи и радуйся. Принимай пилюли, клизмы и массажи. И пожалуйста, избавь меня от вопросов. Кто это у нас недавно хватал ртом воздух и сипел: «Спасите, умираю!..» А?! Ну вот, дай профессионалам тебя спасти...

Сергей дежурно поцеловал воздух у ее виска и вышел, печатаая шаг.

Она была уверена, что заплачет. Но не заплакала.

Болезненно худая девушка с большими глазами, похожими на глаза ночного животного, тихо рассказывала:

— Хотели с мужем усыновить ребенка. Ходили по детским домам, интернатам. Познакомились с мальчиком лет семи, взяли домой. Как бы в гости. Полтора года мальчик ходил к нам... Мы его кормили, водили в кино, брали с собой в лес — на спортивные игры, я детские команды

возила. Звонила и предупреждала родителей: с нами ВИЧ-инфицированный ребенок, если вы против — можете не отпускать своего ребенка на игру; предупредить я обязана. Но родители не скандалили...

Анна вышла прогуляться в коридор «лучшей клиники из всех, что видела в своей жизни». Все вокруг напоминало интерьер первоклассной гостиницы — картины на стенах, цветы, низкие диванчики, журнальные столики на массивных ножках, много света и солнца.

Слева обнаружила небольшой кафетерий — и решила выпить кофе. Миловидная официантка в форменном оранжевом платье по компьютеру проверила, нет ли у Анны противопоказаний, и предложила чай из трав.

Анна согласилась. Тут и появилась худая девушка, закутанная в махровый халат. Официантка молча поставила перед ней высокий полосатый стакан с коктейлем из овощных соков. Девушка кивнула, вопросительно посмотрела на Анну и кивнула на соседний стул.

— Пожалуйста, — сказала Анна. Она была рада возможности с кем-нибудь поговорить.

Девушка назвалась Лизой. Ее темные волосы были заплетены в недлинную тонкую косу.

— Ездили в лес... Мазала пацаненка тоннами антикомариной мази, на всякий случай. Никаких забав с костром, разумеется. Ничего такого, когда порезаться можно. А в остальном все как у других. Как-то он спросил: «Почему вы меня не усыновите?»...

Лиза задохнулась, замолчала. Ей было лет двадцать пять. Или даже меньше. Анна слушала внимательно.

— Лекарства ему дорогие были нужны. Ответственность, документы, драться за него пришлось бы, с чиновниками и прочими... Мы были неготовы. Он был для нас младший друг, брат... но не сын. Он понял сам: «Вам свои дети нужны, да?» Я сказала: «Да». И он перестал приходить. Сам перестал. Один раз шел мимо моего балкона и рукой помахал. Мальчишки рядом какие-то... Приютские, наверное. И все, больше мы его не видели.

Анна невольно потянулась к руке Лизы. Хотелось ее утешить. Сказать какие-то правильные слова. Но не было правильных слов. И дотронуться до руки она не посмела. Так и сидели обе — руки на столе, рядом — нетронутые стаканы.

— Не видели его больше, — повторила Лиза, — а через два месяца... это случилось... Поехали мы в «Леруа Мерлен» — обои покупать, плитку. Ремонт затеяли... А я что-то с утра себя плохо чувствовала. Но, думаю, ничего, разгуляюсь. Выбирали кафель, огромный зал, красивые панно, все

такое, и я вдруг чувствую, как земля уходит из-под ног. Никогда не думала, что это выражение имеет реальный смысл...

Лиза обхватила ладонями свой высокий бокал с соком, нашарила ртом соломинку, сделала глоток. На длинных пальцах не было маникюра, зато на указательном блестело-переливалось кольцо с хорошим бриллиантом.

— Потеряла сознание, — продолжила она, машинально прокрутив кольцо камнем внутрь, — остальное знаю со слов мужа. Упала, стали поднимать, обнаружили кровь. Молодая женщина, кровотечение — решили, что либо выкидыш, либо еще что-то такое, гинекологическое... Вызвали «скорую». Оказалось — анальное кровотечение. Причина — злокачественная опухоль в толстом кишечнике. Аденокарцинома сигмы. Операция. Потом еще. Общим числом четыре на сегодняшний день. Шесть курсов химиотерапии. Вот, восстанавливаю кровь... И думаю... Я все время думаю: это мне за мальчика. За предательство. Понимаете?! — Лиза почти кричала. На ее бледном лице ярко выступил неровный румянец.

Анна похолодела. Ей хотелось встать и убежать от худой девушки с ее жуткой историей. Но это неудобно, вдобавок у нее внезапно пропал воздух. Перед глазами запрыгали черные шарики, много, вверх-вниз, чуть позже к ним присоединились красные.

— Женщине плохо! — кто-то сказал ей в самое ухо, и сразу же все вокруг залилось чем-то густым и горячим.

Открыла глаза в своей палате. Рядом на удобном стуле — давешняя медсестра в оранжевом читала журнал «Все звезды».

— Спасибо, — пробормотала Анна, — но я бы хотела остаться одна.

— Это как доктор распорядится, — звонко ответила медсестра, поправив пышную прическу. — Сейчас спрошу...

Анна отвернулась к стене и прижала колени к груди, инстинктивно стремясь занимать как можно меньше места. Ей было очень страшно, каждая клетка ее тела вопила от страха, визжала; она была сейчас не властна распоряжаться ни собственными мыслями, ни собственными желаниями, вот только — прижать колени к груди и замереть...

«Господи Господи и я знаю и я знаю и мне это за мальчика или за девочку и мне это наказание я убийца, я сама, сама виновата...»

— Простите меня, — раздался спокойный голос за спиной. — Простите, я вас расстроила.

Анна с усилием обернулась — перед ней стояла худая Лиза в слишком большом махровом халате. Она протягивала ей румяное яблоко и говорила:

— Вот. Угощайтесь. Мне нельзя, а все несут. Даже клубнику. Даже малину... Простите.

Голос у нее был такой несчастный, что Анна вновь задохнулась, уже от жалости, и сумела выговорить:

— Ничего... Ничего. Все в порядке. Присаживайтесь...

— Спасибо! — обрадовалась девушка. — Давайте, я вам что-нибудь веселое расскажу. Ну, не то что прямо веселое, а хотя бы про любовь. Хотите?

— Конечно, — Анна тоже села на кровати. — Про любовь — это самое оно!

Она посмотрела в окно. Смеркалось. Ветки деревьев колыхались. Погода, кажется, испортилась окончательно. Лиза оживленно потерла птичьи ручки и снова прокрутила кольцо.

— Вчера меня товарищ навещал, однокурсник, вот яблоки — это он. Хороший парень, но совсем бедный и даже никчемный. Практически не работает, так — фотограф на договоре... Пьет. Жалуется на жизнь. Представляете, да?

Анна кивнула.

— И вдруг ему повезло — влюбился в прекрасную женщину, красивую и успешную — топ-менеджера крупной промышленной компании... Все складывалось хорошо: и секс, и общение, и перспективы... На днях она пригласила его к себе домой. Он вошел в элитную квартиру на улице Садовая-Триумфальная и замер от ужаса. Нет, по части дизайна все прекрасно, тщательно продумано: картины, ковры, лампы, камин, антиквариат... А ужас вот в чем — в чувстве оглушительной пустоты. Ни одной старой фотографии, потертой книжки, семейного альбома, дешевой безделушки, напоминающей о чем-то личном... Говорит: «Я не увидел ни прошлого хозяйки, ни прошлого ее родителей. Только здесь и сейчас».

— И что же? — Анна вспомнила свою квартиру, тщательно вылизанную, идеально спланированную.

— Повернулся и под благовидным предлогом ушел. Пустота подавила его, не оставила места ни для любви, ни даже для секса.

«И у меня так», — отстраненно подумала Анна, и глаза ее оставались сухими.

Когда наступает весна и первые листочки начинают появляться на просыпающихся к жизни ветках, я хочу верить, что все в мире устроено правильно и хорошо. Спокойное завершение жизненного цикла и наступление нового меня успокаивает. Лет пять назад, в канун Нового года, вместо того чтобы готовиться к празднику, я страдала от непонятной рези в глазах (позже оказалось — невроз, опять невроз) и 31

декабря все-таки отправилась к врачу. Мы уже приехали к друзьям в загородный дом и вынуждены были вернуться. Добирались довольно долго. Я смотрела в окно, пытаясь что-то различать сквозь непросыхающие слезы, и удивлялась количеству яблоневых садов, которые, как оказалось, окружают Москву со всех сторон. Они стояли черные, пустые и прозрачные.

В детстве слышишь от взрослых, что деревья зимой «спят». Мне же они казались мертвыми. Всю зиму они находятся где-то очень далеко, чтобы запастись мудростью и стряхнуть с себя суету, надоевшую за три сезона. Вот это пробуждение меня и волнует.

В прошлом году отдыхала на юге Франции, как всегда — одна. Во время прогулок обнаружила виноградники. А еще там, наверху, был очень милый замок — маленький, в нем жили хозяева виноградников.

Я все еще бродила по окрестностям, когда из ближайшего дома вдруг раздались странные звуки. В окне второго этажа время от времени появлялись две девочки, завывавшие на разные лады, подражая привидениям из мультфильмов. Им было лет по семь, прелестным маленьким куклам с лентами в прямых темных волосах, глядя на них, я улыбалась и была, пожалуй, счастлива. Пошла обратно — между рядов виноградника, взбираясь по склону горы, которая оказалась очень крутой.

По пути промочила ноги и простудилась.

Все, что происходит весной, для меня наполнено особым смыслом.

Когда не стало дедушки, я приехала в Спасское собрать его вещи. Хорошо помню — цвела сирень. Сильный, душистый запах одурманивал. Было тихо. В мае я любила слушать пение птиц и иногда даже пропускала школу, дедушка не возражал. После обеда приходили соседские мальчишки, и мы до позднего вечера пили в саду чай и болтали.

Все это не имело тогда никакой цены, а сейчас кажется особенно дорогим, вместе с черемухой и теплым весенним ветром, и запахом земли...

А я все жду, когда круг завершится и все вернется снова.

Отложила тетрадь и ответила на телефонный звонок. Уже второй день она была дома. Муж отсутствовал, и Анна практически не вставала с дивана в гостиной. Не включала ни телевизор, ни компьютер, читала старый детектив Рекса Стаута, пила травяной чай и вела дневник.

— Алло. Здравствуйте, Марина Петровна. Спасибо, намного лучше! Да. Я вполне здорова. Слушаю вас... Конечно, помню, выставка в Берлине, но я думала, вы поедете с Надеждой Леонардовной... Поняла. Поняла. Все,

вопросов нет. Ура!!! Уже собираю сумку. Спасибо. Спасибо...

Анна поднялась. В волнении подошла к окну. Она и не мечтала отправиться в Берлин с выставкой, и звонок заботливой Марины Петровны, включившей ее в список группы, оказался приятнейшим из сюрпризов. По карнизу расхаживал знакомый голубь. Она приложила руки к стеклу, словно желая осторожно погладить доброго вестника.

Берлин, 3 апреля, суббота, поздний вечер

Джошуа ко мне прикоснулся. Меня укололо ощущение близости, и я этого устыдился. До Панкова со мной такого не случалось. До Панкова я был куда нормальнее! Панков изменил меня к худшему. А мне казалось, это невозможно. В Панкове нас постоянно убеждали, что близость — нечто такое, чего мы, психи, не в состоянии понять. Нас здесь учили, как добиться того, чтобы возникло ощущение близости, и как потом беречь, развивать и ценить его. Но в то же время предостерегали. Ибо близость, возникающая в результате предательства, дурного поступка, унижения, отчуждения, подлости, молчания, пренебрежения, — может стать причиной ужасных страданий.

Я тоже так считал, но не стал озвучивать свои мысли. Потому что, хоть и помешан на музыке, остаюсь «нормальным», а в таком случае прослыл бы «умником». Конечно, закрытая психиатрическая больница в Панкове — не тюрьма, но и в ней существовала своя иерархия. Там жили «нормальные», «пролетарии», «умники» и «наемные». Наемными считались те, кому платили, — начиная с кухарки, за нищенскую зарплату вкалывавшей с пяти утра до десяти вечера, и заканчивая имеющим ученую степень главврачом. Он зарабатывал за месяц больше, чем она за целый год, хотя появлялся в клинике лишь тогда, когда кто-то действительно сходил с ума: пытался покончить с собой или убить другого пациента. «Нормальными» считались обычные сумасшедшие, «пролетариями» — те, кто опустился на низшую ступень не только социальной лестницы. Панковские «пролетарии» не имели ничего общего ни с теми, о ком писали Маркс—Энгельс—Ленин, ни с теми, кто живет, к примеру, в Северной Корее; так здесь называли тех, кто не отличался интеллектом и вел себя подобно агрессивным футбольным фанатам, отвергая хорошие манеры, — к примеру, демонстративно портил в столовой воздух. «Умники» считали себя лучше других, поскольку некоторые из них имели образование, а остальные хоть раз в жизни прочли газету, в которой картинок меньше, чем текста, и с пафосом об этом рассказывали, не к месту употребляя непонятные им самим слова. Им казалось, что таким образом они выделяются на фоне психов, которых они презирали, не желая признавать, что и сами являются таковыми. Они не видели разницы между интеллектом и умничаньем, а это все равно что перепутать прокреацию^[5] с проституцией. «Умников» в Панкове не любили даже больше, чем

«пролетариев», поскольку «пролетариями» рождаются, а «умником» родиться невозможно.

Хотя вот Свен...

Этот человек — доказательство того, что можно быть сумасшедшим и в то же время гением, достойным всяческого уважения. Благодаря Свену, и только ему, некоторые пациенты Панкова могут говорить своим женам, сестрам, братьям, детям, родителям и друзьям: «Да, я попал в психушку, так случилось, но здесь есть и такие, как Свен...».

Говорить со Свеном все равно что читать энциклопедию. Он часто использует слова, значение которых мало кто понимает, но его никто никогда не назовет умником. Разве что пролетарии. Прежде чем попасть в Панков, он был профессором астрофизики в Гейдельбергском университете и печатался в «Nature» и «Science», что является пределом мечтаний для любого ученого. Но Свен об этом не мечтал, ему звонили из редакции и упрасивали дать для публикации какую-нибудь из статей. А когда он рассказывал о Вселенной по телевидению, то, несмотря на все его усилия говорить просто, никто не понимал, о чем речь. Возможно потому, что он заикался.

До Панкова Свен писал свои ученые статьи правой рукой. Теперь он статей не пишет, а все остальное пишет левой. Когда Свен был маленьким, его отцу не нравилось, что сын левша. Он считал это отклонением от нормы, а в жизни, по его мнению, «норма важнее всего». Прадедусшка Свена был правшой, дедусшка Свена был правшой, и он, отец Свена, бил мать Свена тоже правой рукой. А значит, его сын тоже должен быть правшой. Свен научился писать правой, но стал заикой. Отец Свена до конца своих дней не видел связи между этими двумя фактами.

Однажды, еще будучи правшой, Свен возвращался с научной конференции из Чикаго. Он попросил жену приехать из Гейдельберга в Берлин и встретить его в аэропорту, чтобы провести вместе уикенд. Это было осенью, два с лишним года назад. Автомобиль, в котором ехали его жена и четырехлетняя дочка, столкнулся на автострате с грузовиком. Это произошло на въезде в Берлин, на южном участке Берлинской кольцевой дороги: белорусский водитель, который ехал без остановок из Минска, заснул за рулем и не заметил вереницу автомобилей, подъезжавших к сужению автостраты, — там ремонтировали правую полосу. Пострадали четыре автомобиля, погибли восемь человек. Машина, в которой ехали жена и дочка Свена, была смята в лепешку. Фрагменты тел аккуратно собрали, положили в два гроба и подготовили к кремации. Организацией похорон занимались родители жены. Свен не поехал на церемонию в

Гейдельберг, остался в Берлине и вызвал из отеля такси.

За рулем такси была женщина, говорившая с восточноевропейским акцентом. Свен попросил высадить его на автостраде — в том месте, где еще остался покореженный отбойник, лежали перевязанные черными лентами букеты цветов и горели свечи. Женщина-таксист забеспокоилась. Накануне ей уже пришлось возить сюда пассажиров, но она ждала их на ближайшей парковке, и когда те, заплаканные, вернулись, отвезла обратно в Берлин. Этот же пассажир повел себя странно.

Она остановила машину там, где он просил, включив аварийную сигнализацию. Свен достал из кармана пиджака бумажник и, не пересчитывая, молча протянул ей пачку банкнот. Она сказала ему, что он ошибся: на счетчике значилось сто двадцать восемь евро, а он дал ей более двух тысяч и еще несколько сотен долларов. Свен молчал. Ей показалось, что он вообще не понял, что она говорит. Обернувшись, она повторила сказанное еще раз, только громче. Свен продолжал молчать, теперь уже глядя ей в глаза. Потом вдруг протянул руку и коснулся кончиками пальцев ее щеки. И не прощаясь вышел из машины. Все это она позднее написала в своих показаниях. В том числе и про кончики пальцев: еще никто никогда так к ней не прикасался.

Доехав до ближайшей парковки, она вышла из автомобиля и, спрятавшись за деревом, следила за Свеном, который опустился у обочины на колени и долго шарил руками по асфальту, словно что-то искал. Минуту спустя он поднялся, снял очки, отбросил их в сторону, вышел на середину трассы и встал лицом к приближающимся машинам. Водители принялись отчаянно сигналить, и Свен вначале отошел в сторону, но потом снова вернулся на автостраду, на этот раз повернулся к потоку спиной и опустился на колени. Женщина села в свое такси и помчалась к нему. Она сигналила, кричала, мигала фарами, но поскольку он не реагировал, съехала на обочину и, выскочив из машины, подбежала к Свену и повалила на землю. Откуда-то издалека раздался пронзительный гудок и почти сразу — оглушительный визг тормозов. Женщина упала ничком на асфальт и закрыла глаза. Но к ней уже бежал какой-то мужчина, который кричал и размахивал руками. Вдвоем они подхватили Свена и, спотыкаясь, поволокли к обочине.

Вначале приехала карета «скорой помощи», затем — три полицейские машины. После соблюдения всех формальностей Свена отвезли в ближайшую больницу, чтобы осмотреть на предмет телесных повреждений. Когда выяснилось, что кроме нескольких царапин на лице и сломанного мизинца на левой ноге, повреждений нет, его отправили в

Панков. В сопроводительных документах молодой врач написал что-то непонятное, напоминающее эсэмэску: *30mg Diazepam(Intrav.), (0)Ethanol, (-)Suizid, (-)Nomine*. В переводе на человеческий это значит, что Свену внутривенно ввели 30 мг диазепама (такая доза успокоит даже раненого медведя), что в его крови алкоголя не обнаружено, что он пытался покончить с собой и что его личные данные, в частности фамилия, неизвестны. Самоубиц-неудачников всегда отвозят в психушку, залечивать душевные раны. Кажется, так записано в немецком законодательстве.

После долгого обследования и нескольких консультаций врачи пришли к выводу, что Свен не мог справиться со своей болью и чувством вины и решил покончить с собой в том самом месте, где выбившийся из сил белорусский водитель убил его жену Марлен и дочку Корину. Удивительный, мать их, диагноз! Настоящий переворот в истории немецкой и мировой психиатрии...

За два с лишним года жизни в Панкове Свен стал местной знаменитостью. Лучшим поваром, лучшим астрономом. Иногда по вечерам он читает в столовой лекции о планетах, звездах и галактиках. И угощает слушателей блюдами, собственноручно приготовленными по рецептам, обнаруженным в блоге его жены. О том, что она вела в Интернете один из самых посещаемых и обсуждаемых в Германии кулинарных блогов, он узнал только после ее смерти. Незадолго до трагедии она открыла в Гейдельберге ресторан. Свен там никогда не был, не нашел времени. Для жены ресторан был главным делом жизни, но Свен не воспринимал ее увлечение всерьез: он считал, что нет ничего важнее астрономии, ну, может, еще генетики и философии. Теперь, вспоминая о ее ресторане, он изо всех сил старается не расплакаться. Он рассказал мне все это в котельной, шепотом. Два года назад Свен перестал заикаться, но начал курить. Иногда, возвращаясь из «увольнительной» в город, Джошуа приносит нам пакетики с «травкой». Я сворачиваю самокрутки, засовываю в пачку из-под «Мальборо» и угощаю в котельной Свена. Мы глубоко, чуть не до желудка, затягиваемся и беседуем. И как-то раз, глубоко-глубоко затянувшись, Свен признался, что не может себе простить, что не нашел времени хотя бы раз побывать в ее ресторане. И что ему не хватает мужества поехать на кладбище и увидеть на надгробии имена жены и дочурки. Свен говорит это, прижимает тлеющий конец самокрутки к своей ладони и держит, и закрывает глаза, и быстрее и глубже, чем обычно, дышит. Он пытается заглушить постоянную душевную боль кратковременной физической. Потом снова затягивается марихуаной — и говорит, что его невниманию к жене, его эгоизму нет оправдания. И

начинает плакать. В котельной психушки сгорает не только кокс. Человеческие эмоции горят не хуже...

Свен готовит угощение для всех, кто приходит послушать его лекции по астрономии. Он платит за компьютер и проектор, с помощью которых показывает психоделические картины сталкивающихся галактик. А еще он купил четыре подзорные трубы, которые, по его просьбе, установили на террасе у самой крыши больницы.

На лекции Свена приходят и наемные, и нормальные, и пролетарии, и умники. Все, кто в состоянии доплестись до пятого этажа. Некоторые встают с постели ради того, чтобы послушать Свена. Ведь его лекции — это событие. Так говорят журналисты, которые тоже на них ходят и которым Свен категорически запрещает что-либо из сказанного публиковать. Но они продолжают ходить в надежде, что рано или поздно Свен передумает. Это же настоящая сенсация, достойная первой полосы любой газеты: полоумный астрофизик, защитивший две докторские диссертации и имеющий звание профессора двух университетов — Гейдельбергского и Ванкуверского, рассказывает в психбольнице о зарождении Вселенной и темной материи, и его понимают даже кухарки с начальным образованием. По окончании каждой лекции журналисты обычно просят у него интервью, и Свен его дает. Он говорит всего две фразы: что сошел с ума и что это хорошо, потому что иначе он бы не пережил своего горя, а затем просит оставить его в покое. Еще он говорит, что в противном случае убьет их всех по очереди, ведь ему нечего терять, «а те, кому нечего терять, опасны: именно такие взрывают бомбы в автобусах и метро». И как ни странно, это работает. Даже бульварный «Бильд» ни слова не написал о Свене.

Его лекции — событие не только для больницы в Панкове, но и для всего района. И хотя ни в одной газете нет информации о том, когда они проходят, какимто образом все о них узнают.

Не знаю почему, но когда я думаю о близости, передо мной возникает образ Свена. Он возник и тогда, когда, стоя на вершине угольной кучи, мы с Джошуа слушали Чайковского.

Как бы я рассказал о такой утрате, если бы мне пришлось объяснять это Свену, когда мы с ним курили травку? Видимо так же, как рассказывал самому себе, стоя на вершине угольной кучи. Джошуа не мог меня понять, ведь я рассказывал по-польски, потому что только по-польски могу сказать о близости, которой лишаешься из-за предательства, смерти, дурного поступка, злого слова, разочарования, подлости, молчания, невнимания, небрежения... И это может стать причиной страшных страданий. «Потому

что, видишь ли, Джошуа, — говорил я, — у меня отняли близость...» В это мгновение Джошуа перебил меня и спросил, что такое «близость». Я попытался объяснить, но не успел: в котельную с грохотом вломился Норберт. Котельная была его территорией, потому что Норберт — наш кочегар.

Позавчера ему исполнилось пятьдесят, и в Панкове по этому случаю было торжество. Норберт, как и Свен — здешняя достопримечательность. Конечно, их никто не ставил на один уровень, но это не значит, что один чем-то хуже другого. Позавчерашнее торжество называлось «Contergan Party», его освещали все берлинские газеты и несколько телевизионных каналов, в том числе общенациональный. И так же, как в случае со Свеном, в Панков понаехали журналисты. Правда, на сей раз они представляли совсем другие издания, и их было гораздо больше. Дело в том, что Норберт Карлос Цубер — воплощение немецкого скандала и немецкого стыда. А если бы не было скандалов, газеты через неделю бы обанкротились. Кроме того, в Германии тема немецкого стыда очень выигрышна. Немцам присуще испытывать стыд и раскаяние. И есть за что каяться. Хотя многие думают, что они — нация агрессивная. Что тоже верно. Ведь известно: не согрешишь — не покаешься. Но известное всему миру покаяние немцев не имеет ничего общего с днем рождения Норберта, состоявшимся два дня назад. Тут речь о другом.

Норберт родился в мае 1960 года. Его отцом был оставшийся неизвестным красавец-спасатель с пляжа испанской Майорки, где в конце сентября 1959 года его будущая мать, Хелена Цубер, провела недельный отпуск. По возвращении в родной Марбург она обнаружила, что беременна. Хелена не знала ни фамилии, ни адреса красавца-спасателя, только его имя — Карлос. Ночью, на пляже, и в номере дешевой гостиницы городка Пуэрто де Польенса этой информации ей вполне хватало. Мать советовала Хелене сделать аборт, отец приказывал его сделать и называл ее «грязной шлюхой», а выпив, бил по лицу. Его возмущало, что она, «как течная сучка, спуталась с кем попало». Кончилось тем, что после очередного скандала он выгнал дочь из дома.

Хелена одолжила денег у подруги и поехала на Майорку. Но хотя она спрашивала об этом не только в своей гостинице, никто не смог припомнить, чтобы на пляже в Пуэнто де Польенса работал спасатель по имени Карлос. С Майорки Хелена вернулась в Западный Берлин, где жила ее бабушка по материнской линии, которая единственная, кроме самой Хелены, хотела, чтобы дитя родилось. Хелена поселилась в небольшой бабушкиной квартирке в подвале обшарпанного дома в районе

Шарлоттенбург. Бабушка помогла ей устроиться продавщицей в ближайшем продовольственном магазине. Беременность проходила тяжело. Утром тошнило, а по ночам Хелена страдала от бессонницы и кошмаров. Гинеколог, которого она время от времени посещала, выписал ей контерган. Таблетки не избавили Хелену от токсикоза, зато она стала спокойно спать по ночам.

Норберт родился ранним утром в клинике соседнего Шпандау. Он был нормальным здоровым ребенком — только без рук. То есть они у него были, но назвать руками эти культи было сложно. Два года спустя, в 1962-м, гамбургский врач Видукинд Ленц установил, что Норберт родился без рук потому, что его мать во время беременности принимала контерган. Немецкая фармацевтическая фирма «Грюненталь» из Аахена, которая в конце 1957 года запустила контерган в продажу не только в Германии, но и во многих других странах, включая Австралию, не провела всех необходимых предварительных исследований. Как объяснял Свен, содержащееся в контергане активное вещество талидомид очень коварно. Молекула талидомида может существовать в двух вариантах, вращающих плоскость поляризации в одном случае вправо, в другом — влево. И если в первом случае обеспечивается терапевтический эффект, то во втором препарат препятствует нормальным процессам, необходимым для деления клеток и развития зародыша.

Для большинства пациентов, принимавших контерган в качестве снотворного, это не имело значения, но только не для беременных женщин: дело в том, что употребление талидомида приводило к формированию дефектов развития плода, в частности, к недоразвитию конечностей. В результате четыре тысячи матерей родили мертвых детей (потому что у них не сформировались не руки, а, к примеру, легкие, сердце или мозг), а семь тысяч матерей родили калек. Без рук, без ног или без рук и ног. Свен считает, что директор фирмы «Грюненталь» должен был тогда вскрыть себе вены. Так считает Свен.

Норберту не повезло: его мать принимала злосчастный талидомид. Он родился без рук. Но не особенно по этому поводу переживал, считая, что гораздо хуже было бы, если бы руки у него были, а их потом ампутировали. Это как у женщин с маленькой грудью, спокойно говорил Норберт: им кажется, что если бы она была больше, жизнь сложилась бы иначе, ведь мужчины предпочитают женщин с большой грудью.

Два дня тому назад Норберт праздновал свой пятидесятилетний юбилей. В Берлин со всей Германии, а также из Франции, Голландии, Люксембурга, Дании и Швейцарии съехались «контарганцы», как он их

называет. Им не выказывали фальшивого сочувствия, и никто из них не рыдал над своей несчастной долей. Не было ни пафосных речей, ни молитв, ни воззваний. Так уж сложилась их судьба. Не всем суждено иметь ноги и руки.

Я сидел за одним столом со Свеном и Джошуа. Мы молча смотрели на этих людей, и нам было стыдно. Наши депрессии, меланхолия и несчастья казались нам ничтожными. Улыбающийся, счастливый Норберт время от времени подходил к нам и спрашивал, хватает ли нам вина. А потом переходил к соседнему столику, за которым сидела в инвалидном кресле Марта из Франкфурта. В какой-то момент она изящно подняла обрубками ног бокал с шампанским, произнесла тост за здоровье Норберта и поднесла бокал к губам. Я смотрел на нее скорее с восхищением, чем с сочувствием. Она, видимо, заметив это, повернулась ко мне и тихо сказала: «Знаете, я все могу, только ходить еще не научилась...».

Сейчас Норберт пришел в котельную за коксом. Он не заметил, что мы с Джошуа стоим на вершине угольной кучи. Он толкал перед собой грязную ржавую тачку. Это была особенная тачка: с ручками, к которым были приварены специальные трубы, куда Норберт мог вставлять культю. Он толкал тачку, а рядом шла девочка в белоснежном платье с оборками и маленьким веночком из ландышей на длинных светлых волосах. Они остановились, девочка достала из тачки синевато-серый продолговатый цилиндр, заканчивающийся чем-то вроде кисти с тремя пальцами, как у роботов в японских мультфильмах. Норберт вставил левую культю в отверстие цилиндра, и девочка подала второй цилиндр. Потом она пристегнула протезы металлическими защелками, похожими на крепления на ботинках горнолыжников или сноубордистов.

Норберт схватил протезами лопату, лежавшую на бетонном полу, и принялся накладывать кокс в тачку. Девочка помогала, бросая в тачку куски кокса.

— Аленка, дорогая, не нужно, — сказал ей Норберт. — Ты испачкаешь платье. Сегодня не нужно! Мама и бабушка будут сердиться.

— Я осторожно, дедушка, — ответила девочка и наклонилась, чтобы подобрать очередной кусок.

Я смотрел на них как зачарованный, и мне казалось, что это заблудший ангел очутился в котельной психушки в берлинском Панкове. Значит, ангела зовут Аленка! Норберт часто приводил ее в клинику по вечерам...

Психиатрическая больница в Панкове с семи вечера до шести утра была закрыта для всех, кроме врачей, санитаров, водителей «скорой помощи», прокуроров, полицейских, сотрудников похоронных служб,

монахинь и священников. В числе последних был хороший знакомый Джошуа, которого он ненавидел всей душой. Этого человека звали отец Ремигий.

На самом деле его звали Хакан, а потом, при довольно странных обстоятельствах, стали именовать Гельмутом. Он купил на барахолке монашескую сутану, выучил по-немецки несколько молитв и, превратившись в «отца Ремигия», стал посещать берлинские тюрьмы и психушки. В бездонных карманах его сутаны, кроме молитвенника, Библии, четок, презервативов и сигарет, всегда имеется «товар». Не только марихуана, но и гашиш. А иногда кокаин, ЛСД, героин и даже крэк. Но и это не все. В последнее время у него появились виагра, циалис и уприма. Отец Ремигий, как настоящий дилер, ориентировался на спрос. Кому-то нужен полный «улет», а кому-то — полная эрекция. В последнее время на эрекции Ремигий зарабатывает значительно больше, чем на улете. Заказывая в интернет-магазинах виагру из Индонезии, с Филиппин или Каймановых островов, он просит доставить препарат по некоему адресу в польском Щецине. Однажды он заказал посылку на свой берлинский адрес и лишился товара на более чем четыреста долларов: дотошные немецкие таможенники вскрыли посылку и, придя в изумление от количества разноцветных таблеток в пластиковых пакетиках, отправили адресату вежливое письмо с приглашением на допрос. Мало того, что отец Ремигий потерял деньги, ему еще пришлось выкручиваться.

Теперь посылки для отца Ремигия приносят пенсионерке пани Кунегунде в двухкомнатную квартиру обшарпанного панельного дома в юго-западной части Щецина, недалеко от выезда с берлинской автострады. Внимание польских таможенников они почему-то не привлекают. Сама пани Кунегунда уже семь лет пребывает в глубоком старческом маразме. Ее внучку Ивону заботит только, чтобы у бабушки были чистые и сухие памперсы, чтобы та была накормлена и напоена и хотя бы раз в неделю мылась под душем, а у самой Ивоны была крыша над головой, доступ к бабушкиной пенсии, а в перспективе — право собственности на квартиру.

Отец Ремигий встретил Ивону на берлинском Центральном вокзале. Она стояла в главном вестибюле и никак не могла сообразить, с какого перрона отходит гданьский поезд, идущий через Щецин. Отец Ремигий подошел, спросил, не нужна ли помощь, проводил на перрон, поднес чемодан и даже доехал с ней до Щецина. Там, на вокзале, он взял такси и довез Ивону до ее дома. С тех пор как умер дедушка, об Ивоне никто так не заботился, хотя тогда ей было восемь, а теперь уже двадцать восемь. И все же дедушка — это дедушка, а мужчина — это мужчина. Тем более из

Германии. Ивона пригласила отца Ремигия зайти на чашку чая — отчасти из благодарности, отчасти из любопытства. Они пили чай, потом чай с водкой, потом просто водку. Когда выяснилось, что все поезда на Берлин уже ушли, Ивона разложила диван-кровать, застелила свежим бельем, велела отцу Ремигию закрыть глаза и разделась. Потом легла, широко развела ноги и велела ему открыть глаза.

На Центральном вокзале отец Ремигий прятался от полицейского, который должен был препроводить его в прокуратуру на очередной допрос. Полицейский заметил его на первом этаже, когда отец Ремигий торопливо поднимался по лестнице на второй, к выходу на перроны. Там всегда много людей и легко затеряться в толпе. Женщина, к которой подошел отец Ремигий, была на полголовы выше него и очень толстая. Он спрятался за ее спиной, и полицейский прошел совсем рядом, не заметив его. Отец Ремигий для конспирации поднял с пола чемодан этой женщины, взял ее за руку и повел на перрон, откуда должен был отправиться поезд в Щецин. Когда и на этом перроне появился все тот же полицейский, отец Ремигий поспешно вошел в вагон, рассудив, что лучше отправиться в Щецин, чем в комиссариат на Александерплац. Тем более что его карманы были набиты товаром, а сам он уже несколько дней подряд употреблял кокаин. В комиссариате товар бы конфисковали, что для отца Ремигия равносильно смертному приговору, а у него самого отрезали бы прядь волос и отправили на экспертизу в Карлсруэ. Спустя две недели пришли бы результаты. Учитывая, что отец Ремигий уже получал условный срок за наркоманию, на сей раз ему пришлось бы отправиться за решетку не на пару часов «с духовной миссией» в качестве утешителя страждущих, а на долгий срок, в качестве заключенного. Ясное дело, он выбрал поездку в Щецин. Чемодан был тяжелым, женщина — огромной, косоглазой и едва говорившей по-немецки. Всю дорогу от Берлина до Щецина отец Ремигий старался быть любезным кавалером и через силу заставлял себя прикасаться к ее ладони и даже несколько раз — к колену. А в Щецине отдал последние деньги за такси, потому что решил, что так будет лучше всего.

В прихожей маленькой квартирке на пятом этаже обшарпанного дома, ничем не отличавшегося от подобных домов в Восточном Берлине, женщина сначала представила его сморщенной, как сушеное яблоко, старушке, сидевшей в инвалидном кресле, а потом пригласила в комнату, а сама отправилась на кухню, чтобы приготовить чай. Отец Ремигий уселся на скрипучий диван и подумал, не на нем ли ему придется сегодня спать, что было весьма вероятно, потому что в квартире было только две комнаты, и в одну из них женщина закатила коляску со старушкой. Денег на

гостиницу у отца Ремигия не было, а в Берлин он в тот день возвращаться не хотел. Значит, оставалось либо до утра бродить по городу, либо ночевать на жесткой скамье в зале ожидания вокзала. О том, чтобы провести ночь с этой женщиной, он предпочитал не думать.

Он уже и не помнил, когда в последний раз пил чай из стакана с металлическим подстаканником, но точно помнил, что никогда еще не пил чай с водкой. Сначала водки в чае было немного, потом от чая остались только черные чайники, плававшие в прозрачной водке. Хозяйка время от времени подносила с кухни водку, которая закончилась довольно поздно. Так поздно, что к тому времени все поезда из Щецина в Берлин ушли, даже самые неудобные, с пересадкой в Гамбурге или Кельне. Об этом отцу Ремигию сообщила сотрудница справочного бюро во Франкфурте-на-Одере, куда ему удалось дозвониться. Тогда хозяйка встала из-за стола, нетвердой походкой подошла к комоду, достала оттуда постельное белье, одеяло и по-немецки велела ему закрыть глаза. Он повиновался и стал думать, как бы слинять. Когда он открыл глаза, женщина уже лежала, широко раздвинув ноги. Голой она показалась ему еще ужаснее. Он резко вскочил и убежал в ванную.

Товар, предназначенный для клиентов, всегда был для него табу, но сегодня — так он пытался оправдаться перед самим собой — был формажор, точнее экстрим. Отец Ремигий вскрыл один из полиэтиленовых пакетиков с кокаином и насыпал короткую «дорожку» на розовый стульчак унитаза. В бумажнике не было ни одной банкноты, которую можно было бы свернуть в трубочку, поэтому он просто нагнулся над стульчаком и втянул в себя порошок. Затем достал из флакона таблетку упримы, положил на язык и запил водой из-под крана. Много, очень много водки, плюс кокаин, плюс уприма. И все это на пустой желудок. Он вдруг вспомнил, что со вчерашнего вечера ничего не ел. Хозяйке почему-то не пришло в голову его накормить. Интересно, выдержит ли сердце такую адскую смесь? Уприма, не говоря уже о кокаине, действует куда сильнее, чем виагра. Но выхода у него не было — он не испытывал к этой женщине никаких чувств, а ему надо было быть на высоте.

Он вернулся в комнату. Женщина с широко раздвинутыми ногами продолжала лежать на диване. Она мастурбировала под музыку из радиоприемника и не слышала его шагов. Он отвернулся и снова ретировался в ванную комнату. Закрылся на защелку и улегся в ванну. Поездка в Щецин представлялась ему совсем иначе... Заснуть не получалось. Стало холодно. Он укрылся всеми полотенцами, что там были, но его продолжал бить озноб. Тогда поверх полотенца он накинул

провонявший мочой халат, что валялся на полу. Несмотря на озноб, он вспотел, и время от времени на него накатывали приступы паники. Он никак не мог понять, чего боится, и от этого ему становилось еще страшнее. Промучившись около часа, он решил вернуться в комнату. Ему никак не хотелось оставаться одному.

В детстве он никогда не мог заснуть от страха после того, как мать кричала на отца, а тот ее бил. Потом отец их бросил, и скандалы закончились, но мальчику уже не хватало этого страха и этих дней, когда отец был с ними, и мать кричала на него, а на следующее утро надевала огромные солнцезащитные очки, чтобы скрыть следы побоев. Страх, когда отец возвращался ночью, а мать кричала, был все же лучше, чем новый, когда мать сидела в спальне одна и ждала отца, который так и не вернулся. Ремигий перестал бояться только когда узнал, что отец умер. Говорят, его похоронили на кладбище маленькой деревушки под Анкарой. Той самой, где он родился. Ремигий понял, что теперь отец уже никогда не вернется, и страх прошел. Но сейчас, лежа под кучей грязных влажных полотенец, он снова боялся и чувствовал необходимость прижаться к кому-нибудь, как прижимался к матери, пока был жив отец.

Он вбежал в комнату совершенно голый. Женщина спала, сидя на полу и опершись спиной о комод. Она громко храпела. Он подошел к краю комода, ухватил ее за руки и с трудом втащил на диван. Потом лег рядом и крепко к ней прижался. Почувствовал, что страх уходит, и через минуту уснул.

Утром следующего дня они втроем ели на кухне яичницу. Старушка улыбалась и иногда хватала куски с его тарелки, а женщина смотрела на него, как любящая жена после первой брачной ночи. Он мало что помнил, разве что момент, когда проснулся, чуть не задохнувшись, потому что его голова оказалась между ее огромных грудей.

Тут раздался громкий стук в дверь. Почтальон принес бандероль с лекарствами для старушки. Именно тогда отцу Ремигию пришла в голову гениальная мысль. Почему бы виагру и все прочее не получать бабушке Кунегунде? Здесь, в Щецине! Он попросил у женщины разрешения иногда навещать ее. Она была растрогана. Тогда он попросил разрешения заказывать на адрес бабушки свои лекарства от диабета. Он выписывает их из-за границы, потому что там они гораздо дешевле, но они часто пропадают, потому что в Германии на почте воруют. Не то что в Польше. Женщина расчувствовалась и на клочке бумаги написала ему адрес бабушки и номер телефона. Он сунул бумажку в карман пиджака, пообещал позвонить, как только доедет до Берлина, и встал из-за стола. Тарелку с

остатками яичницы он пододвинул старушке, обнял женщину, попрощался с ней и направился к входной двери. Только на лестничной клетке, двумя этажами ниже, он почувствовал, что у него замерзли ступни, и понял, что забыл обуться.

Его подвела привычка снимать обувь, входя в дом. С онемечившимися турками такое часто случается: они разуваются, а потом уходят босиком. Ремигия это бесило. Он ненавидел в себе все турецкое и изо всех сил старался быть похожим на немца. Даже заплатил кругленькую сумму этнической немке из Казахстана, чтобы с помощью фиктивного брака сменить свою фамилию Баришалим на Гротц. А получив немецкий паспорт на фамилию Гротц — после двух лет препирательств с иммиграционной службой — заплатил еще большую сумму, чтобы та не создавала проблем при разводе и помалкивала обо всем этом. Он с трудом избавился от турецкого акцента и научился вести себя как настоящий немец: скрывать свои чувства, возмущаться налогами, каждую субботу мыть машину, сетовать на нарушение расписания электричек и высокие цены, демонстрировать раскаяние, когда речь заходила о войне, не забывая упомянуть, что он, «к счастью, родился позже». Он даже придумал себе родословную на четыре колена, начинавшуюся от прадедушки, который был «уважаемым государственным чиновником в Кенигсберге. Поэтому, — повторял он сам себе серьезным тоном, — я с детства уважаю всех, кто находится на службе у государства». Как-то раз он рассказал эту байку молодому полицейскому на Александерплац. Тот принял ее так близко к сердцу, что, составив рапорт, тотчас его отпустил. Хорошо, что этот полицейский не смог дозвониться до паспортного отдела, где хранились личные данные отца Ремигия, включая его настоящие имя и фамилию — до бракосочетания с Натальей Леонидовной Гротц из казахской Алма-Аты.

Он снова поднялся на пятый этаж. Женщина восприняла его возвращение превратно: бросилась на шею, принялась обнимать и целовать. Бабушка Кунегунда при этом хлопала в ладоши и нервно ерзала в своем кресле. Он высвободился из объятий и прошел в комнату. Нашел под комодом ботинки. Женщина, стоя на коленях, принялась их шнуровать. Минуту спустя она подняла голову и прижалась губами к его ширинке...

В Берлин он вернулся после полудня, чтобы вечером под личиной отца Ремигия снова, аки пчела, разносить свой «товар». В его планах была и психушка в Панкове.

Джошуа презирал наркодилера в сутане, но при этом не мог не восхищаться его приспособленческой хваткой. Отец Ремигий был подобен хамелеону, у которого отрастает оторванный или откушенный хвост, или

мху, что распрямляется через пару дней после того, как по нему проехал асфальтоукладчик. Джошуа, с присущим ему стремлением к преувеличению, уверял, что отец Ремигий выжил бы где угодно, а если бы понадобилось, легко превратился бы из теплокровного млекопитающего в холоднокровного гада. Лично я не замечал у отца Ремигия приспособленческой хватки — лишь ловкость преступника уровня чуть выше среднего, пользующегося удачным стечением обстоятельств. Если у него и есть какой-то дар, так это умение манипулировать людьми и бессовестно спекулировать на их несбывшихся надеждах. Но этот дар для всех бесполезен. Даже для самого отца Ремигия. А он не кто иной, как обычный социопат.

— Скажи честно, Джошуа, — спросил я как-то, — не потому ли ты восхищаешься этим, в общем-то, опасным мошенником, что вы с ним в некотором смысле похожи? Оба всю жизнь прикидываетесь не теми, кем являетесь на самом деле: ты — евреем-неофашистом, а он — немцем. Он делает вид, будто забыл Аллаха, ты — будто открыл для себя Адольфа. Вы оба отказываетесь принимать себя теми, кем родились, и хотите быть самыми красивыми мотыльками на лугу. Но это не ваш луг, Джошуа. И вы не хуже остальных. Просто другие. И такими должны оставаться. Немцы презируют тех, кто хочет быть больше немцами, чем они сами. Даю руку на отсечение, что и ты, и он паркуете автомобиль только в разрешенном месте, причем гораздо чаще, чем сами немцы. Я прав? Вы научились идеально правильно произносить раскатистое немецкое «р», но это не помогает вам выразить свои чувства. Вам не хватает слов, вы путаете понятия, образы и контекст, потому что чужой язык никогда не будет вам родным, Джошуа. Никогда...

— А ты, гребаный полячишка, сам-то кем хочешь быть, мать твою? — процедил сквозь зубы явно задетый моими словами Джошуа. — Думаешь, все луга от Урала до Гибралтара польские, да? Вознесся выше всех мотыльков, расправил свои бело-красные крылышки и величественно взираешь на всех сверху! Ты со своим сраным польским национализмом ведешь себя в этом заведении как провокатор, так и знай. И не только я так считаю, пшек чертов...

Мне кажется, это был последний раз, когда мы говорили об отце Ремигии. Спустя несколько недель Джошуа мимоходом сообщил мне, что тот надолго уехал в Польшу, и никто, в том числе полиция, не знает точно, куда именно.

Когда уголь из нескольких тачек исчез в топке, а Норберт с Аленкой

покинули котельную, мы медленно спустились с кучи угля вниз и закурили. Посредине черного пятна, рядом с печью, лежал белый веночек. Я склонился над ним и осторожно сдул с цветов пыль. «Мама будет на нас сердиться», — вспомнил я слова Норберта. Джошуа взял букетик из моей ладони и поднес к носу. Минуту спустя вернул его мне и сказал:

— Я никогда тебя об этом не спрашивал... у тебя есть дети?

Я сделал вид, что не услышал вопрос, глубоко затаившись, затоптал окурок и вышел из котельной.

На первом этаже клиники в Панкове, у входа, с правой стороны, сразу за дверью, ведущей в кабинет дежурного врача, которого там почти никогда не бывает, в овальном эркере разместился небольшой магазинчик с бутербродами, сладостями, напитками, минимальным набором косметических средств, газетами и журналами. По вечерам добродушная продавщица закрывала решетчатую перегородку, выставляла два столика и раскладывала на них газеты, которые не удалось продать. На стене, где стояли столики, висело объявление, информирующее о том, что «газеты не рекомендуется забирать с собой в палаты». Кто-то уже давно зачеркнул слово «палаты» и жирным фломастером надписал «камеры». Сначала по-немецки, потом по-русски, потом по-хорватски, а недавно и по-турецки. Возвращаясь из котельной в свою «камеру», я не смог пройти мимо столика. На нем, держа перед собой газету, сидела Магда Шмидтова.

Магду Шмидтову из Чехословакии легко узнать даже тогда, когда ее лицо и грудь закрывает газета. У нее удивительно длинные, красивые ноги, и в коридорах и палатах психушки о ее ногах часто говорят. Обычно она прячет их под шерстяными обтягивающими брюками. Не знаю, какой толщины ткань делает брюки брюками, в отличие от чулок или колготок. Женщины интуитивно чувствуют эту грань. Если ткань брюк, колготок, чулок или леггинсов, не важно, как это называется, имеет определенную толщину, они ощущают себя женщинами в брюках и сидят на стульях, креслах, откидных сиденьях и диванах как мужчины, широко расставив ноги. Они же в брюках! У мужчин такой интуиции нет. Для них разница между двумя и пятью миллиметрами вследствие некоего давнего мужского комплекса отнюдь не кажется огромной, и они ощущают беспокойство. Мужчины не понимают: то ли женщина, сидящая напротив, раздвигает бедра потому, что она в брюках и ей так удобно, то ли она подает им некий сигнал, и если так, то какой? Дилемма становится еще более сложной, если поверх этих якобы брюк женщина надевает очень короткую юбку. В таком случае беспокойство мужчин достигает апогея. Так же, как и вызванные этой картиной вполне однозначные фантазии, в особенности если женщина

привлекательна.

В тот вечер Магда Шмидтова сидела на столике не в брюках и не в колготках. На ней не было даже обуви. К тому же она, видимо, увлеклась чтением какой-то статьи и не заметила, что подол ее халата задрался так высоко, что обнажил бедро. Приблизившись, я инстинктивно замедлил шаг, а спустя мгновение и вовсе остановился.

— Почему вы, господин виртуоз, еще не спите? — спросила она из-за газеты.

— А откуда вы знаете, что это... я?

— Только вы в этой богадельне так замечательно играете и так чудесно пахнете.

— Чем пахну?

— Как это чем? Бергамотом, кардамоном, лимоном, гвоздикой, корицей, жасмином. Немного розой, хотя в этом я не уверена. И табачным дымом. В этом я уверена. «Данхилл»? — спросила она, опуская газету на колени.

— «Мальборо».

— Дарья очень много курила. Она была абсолютно зависима от никотина, сигареты стояли для нее на втором месте после мечтаний. Дарья курила только «Данхилл». И только с ментолом. Она тратила на сигареты кучу денег, и никогда — ни в России, ни на Украине — не покупала дешевые. Иногда мы курили вместе. Клади открытую пачку на полчасика в морозилку, занимались любовью прямо на полу кухни, а потом... потом вдыхали дым с охлажденным ментолом. Вы когда-нибудь так пробовали? Если нет, весьма рекомендую. Курение откроется для вас с новой стороны. И конечно, мы разговаривали. С Дарьей можно было разговаривать бесконечно, хотя и с перерывами. И не всегда на полчасика...

— А о чем вы разговаривали?

— О чем говорят женщины? О косметике, мужчинах, туфлях, о сексуальной жизни Канта, о наших планах на будущее. Хотя эту тему Дарья затрагивать не любила. Она считала, что мы гневим Бога, когда строим планы на будущее.

— У Канта не было сексуальной жизни! — возразил я с улыбкой.

— Почему вы так решили? У всех есть. У божьей коровки, у дождевого червя, у Путина, у Меркель, у папы римского... У Канта она тоже была. Только у него, скорее всего, с самим собой. Любой, у кого есть тело, имеет какую-то сексуальную жизнь. Это неотъемлемая часть программы эволюции. Кроме того, мы не обладаем телом, которое описываем, мы им являемся. Мало кто замечает разницу. На нее обращают

внимание только в самых крайних случаях. Раздавленный кот на улице — это всего лишь тело с выпущенными кишками. А раздавленный человек — это не только искаленная плоть и переломанные кости. Кант игнорировал тело в своих рассуждениях, поэтому его философия вызывает у меня страшную скуку. И потом, не придавая значения телу, он как минимум извратил представление о человеческом бытии, по крайней мере, до времен Ницше. Только тот нашел в себе мужество положительно ответить на вопрос о том, правда ли, что Бог есть везде, даже в экскрементах.

— Вы так считаете? А откуда вы так много знаете о Канте?

— Хорошо училась. Видите ли, прежде чем приехать в Дюссельдорф, я изучала в Пражском университете философию. Это очень хороший университет. Самый старый в странах Шенгена! — весело воскликнула Магда. — Но будучи профессиональным философом, в наше время даже за квартиру не рассчитаешься, не говоря уже о «Данхилле». Поэтому после окончания университета я пошла на курсы массажа, — добавила она с иронией.

— А Дарья?

— Дарья? У моей Дашеньки сексуальная жизнь была, если вас это интересует, не только со мной. С другими женщинами тоже. У нее не было бисексуальных эпизодов, как у меня. Дарья стала лесбиянкой с того момента, как в первый раз почувствовала желание. Так она говорила. Пенис, с ее точки зрения, сродни бородавке на теле мужчины, разве только больше размером. С ним можно жить, а можно его и отрезать. А вот мужское мышление не вырежешь никаким скальпелем. Так она считала.

— Довольно жестоко по отношению к мужчинам, вам не кажется? Но это не важно. Я-то спрашивал, как вы ее встретили.

— Она сама ко мне пришла. Однажды на кушетку в моем, назовем его гордо «массажном салоне» легла прекрасная обнаженная женщина. Это была Дарья. Я много тел массировала, видела много наготы, но ее нагота особенная. Она прекрасна, говорю вам, прекрасна... Мы разговорились. Во время массажа так обычно и бывает. Трудно молчать, когда на целый час отдаешь свое тело в чужие руки. Что-то вроде близости рождается само собой. Дарья бегло говорит по-немецки, лучше, чем я, но с сильным русским акцентом. Меня всегда привлекали люди, говорящие с акцентом. Марсель из их числа. Я спросила, откуда она. «Из Москвы», — ответила Дарья. Она была студенткой журфака МГУ. Это один из популярнейших факультетов в России, хотя профессию дает опасную, согласны? Но Дарья презирала политику и политиков, как и всякого рода расистов и сексистов. Ее привлекала этика. На этой почве мы и нашли общий язык, потому что

мне этика тоже очень нравится. Я имею в виду не правила поведения, а область философии. Будучи лесбиянкой, Дарья чувствовала себя в России, скажем так, не слишком комфортно. У нее были проблемы. А поскольку она считала, что с подобными проблемами сталкиваются и другие женщины, то придумала для себя некую миссию, поверила в нее и стала жить ради нее. Дарья настроила против себя не только власти и средства массовой информации, но и русскую и украинскую Церкви, поскольку считала, что Бог был и остается антифеминистом. В своих статьях она цитировала фрагменты из Библии, которые это подтверждали, и задавала неудобные для общества вопросы, вроде таких: «Почему весь мир знает о русских проститутках, а о русских феминистках не знают даже в России?». И заявляла во всеуслышание, что русская Церковь «лучше относится к шлюхам, чем к феминисткам». Дарья была молода и бескомпромиссна, верила, что в Библии содержится истина, но такая, которая служит закреплению патриархата. Дарья верила, что способна изменить мир, и не хотела поверить, что все мы — лишь часть системы. Молодая была... Она ходила в библиотеки, раздавала в метро и на улицах Москвы анкеты, организовывала дискуссии, размещала комментарии в сети, спорила со священниками, изучала архивы. Начала с московских, затем отправилась в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Киев. Ей хотелось найти информацию о том, что даже в Советской России, начиная со времен Ленина и Сталина и вплоть до периода правления Горбачева, были женщины, желавшие других женщин. Ей очень хотелось написать об этом книгу. Все это она рассказала мне во время сеанса массажа. Я заслушалась ее рассказом и ее чудесным голосом, засмотрелась на ее лицо, груди и ягодицы и, массируя внутреннюю часть бедер, провела — уж не знаю, случайно или нет, — рукой между ног. Она тут же приподнялась на кушетке и поцеловала меня в губы. Я тогда тосковала по нежности. Мне приходилось касаться многих людей, но только за деньги. Ко мне же, кроме зубного врача, никто не прикасался. Даже за деньги. А Марсель... он тогда просто вставлял в меня член. Вы и сами знаете, это вовсе не прикосновение...

Магда Шмидтова соскользнула со столика и босыми ногами встала мне на ботинки. Я не отодвинулся. Так мы и стояли, почти прижимаясь друг к другу.

— Признайтесь, как вы сюда попали и почему теряете здесь время? — спросила она, глядя на меня снизу вверх.

— Вы думаете, я его здесь теряю?

— Конечно теряете. Вы здесь о себе ничего не узнаете. То есть ничего

нового. И ни от чего вас тут не вылечат. Вы ведь вовсе не больны. Вы — нарцисс, а это не болезнь. Это черта характера, и вы об этом знаете.

— Я — нарцисс?!

— Да. Во время первого сеанса групповой психотерапии вы сами заявили об этом во всеуслышание. И мне все стало ясно.

— Что именно? — спросил я раздраженно.

— Все. Ваша заикленность на собственной персоне, зависимость от успеха, эмоциональный вакуум, который вы пытаетесь компенсировать сентиментальностью, необходимость самоконтроля, проблемы в отношениях с людьми и интимной жизни, болезненная реакция на критику, стремление быть самым лучшим, жажда новых ощущений, гипертрофированная интеллектуальность, трудоголизм. Вам важно то, как вас воспринимают и оценивают, а не то, что происходит внутри вас. Вы страдаете от соперничества и зависти. Элементарное раздвоение. Я либо гениальный, либо никчемный. А на самом деле вы хоть и уникальны, но очень бинарны, черно-белы. Вам трудно согласиться быть середнячком, посредственностью. Вы жаждете величия, могущества и возможности ни в чем себя не ограничивать.

— Стоп! Замолчите! Какого черта? Что вы несете?!

— Вы именно такой, господин виртуоз, — добавила Магда, сойдя с моих ботинок, но все еще прижимаясь ко мне. — Я думаю, в вас очень много агрессии, и вы не хотите взглянуть в свой внутренний мир. Отсюда ваши тоска и опустошенность, мертворожденные чувства и концентрация на собственном «я».

— Вы здесь лечитесь или работаете?

— Ну вот! Неужели банальность — это все, на что вы способны?! Пожалуйста, не разочаровывайте меня.

— Какие такие мертворожденные чувства? У меня много чувств, поверьте!

— Может, я слегка преувеличила. Вы правы, у вас есть чувства, в том числе и самое важное — любовь. Но любите вы только себя...

— Так думают не все. Аннета, наш психолог...

— Какой там психолог... — прервала она на полуслове. — Эта чокнутая, которая выслушивает нас на сеансах групповой психотерапии, возможно, имеет ученую степень, но ничего не понимает в психологии. К тому же она работает на клинику, а значит, сделает все, чтобы мы оставались тут как можно дольше. Ведь тогда больница получит больше денег, а ей наверняка продлят контракт. Вы не заметили, что у нее проблемы с распределением внимания?! Нас иногда семеро, иногда

десятеро, а она воспринимает только одного из нас. У нее, как и у нас, не все в порядке с психикой. Я подозреваю, что она не может читать газету в туалете, потому что для нее чтение и испражнение — несовместимы.

— Вы несправедливы и жестоки. Неужели вы действительно так думаете?

— Именно так.

— А где сейчас, по вашему мнению, Дарья?

— В России.

— Я бы хотел увидеться с ней и поговорить...

— Вы? Не верю своим ушам. Вы предпочитаете общаться с самим собой.

— Скажите, я вас чем-то обидел? Ранил ваши чувства? Надоел? Ведь нет. Так почему же вы надо мной измываетесь?

— «Измываетесь»! Гм. Красивое слово. По-чешски оно звучит почти так же. Так вот что я вам скажу. Вы очень обидели меня. Мы находимся здесь уже несколько месяцев, и я поняла, что в моей жизни мог бы появиться не Марсель, а такой, как вы. Но раньше я всегда обходила стороной подобных мужчин. По сравнению с Марселем вы, на первый взгляд, очень скучный. Почти лысый, немолодой, неразговорчивый, морщинистый, вечно небритый, с потухшими глазами. И высокомерный. Вы совсем не та лягушка, которую хочется поцеловать, чтобы проверить, не превратится ли она в прекрасного принца. Но ваш нарциссизм — это вызов. Мне кажется, это у вас временное. От одиночества и обиды за то, что вас бросили...

— Так, значит, говорите, Дарья в России. А где конкретно, ведь Россия — большая страна? — спросил я, не дав ей закончить монолог.

— Да что вы все про Дарью да про Дарью? Да, она в России, я же сказала! Скорее всего, в Москве. Там живут ее родители и братья. Еще у нее есть старшая сестра, которая вышла замуж и уехала в Хабаровск.

— Я найду ее... — прошептал я Магде на ухо.

— Вы бредите, господин виртуоз! Сначала себя найдите! — отрезала она и, резко оттолкнув меня, направилась по коридору в сторону лестницы.

— Вот увидите, я найду ее. Найду! — крикнул я ей вслед с какой-то даже злостью.

Она не ответила и через секунду скрылась за углом.

В ту ночь я наконец-то после долгого перерыва снова увидел тот самый сон. У белого голубя было лицо Магды Шмидтовой. Он метался по Берлину, от окна к окну, а церковь за стеной была похожа на одну из кремлевских. Джошуа читал мне вслух стихи на непонятном языке. Я

слышал его голос, но не различал слов. Моя мать сидела в инвалидном кресле и, перебирая четки, читала молитвы. Свен на лугу, поросшем красными маками, огромным гребнем расчесывал волосы Аленке. А моя жена в мундире немецкого полицейского, сидя на больничной койке, застеленной окровавленной простыней, прижимала к себе пронзительно кричащего младенца с обрубками вместо рук. Я проснулся и подбежал к окну. Голубя не было.

Наступило воскресенье. В Панкове это худший день недели. До церкви далеко, магазины с дешевым алкоголем закрыты, врачей, у которых можно выклянчить хотя бы небольшую дозу реланиума, нет, психотерапией никто не занимается, не купить даже сигарет в магазинчике за решеткой. Неудивительно, что отец Ремигий появлялся в Панкове чаще всего именно по воскресеньям и неплохо зарабатывал. Этот день недели здесь явно лишний, никому не нужный и всеми проклятый. Так же, как Рождество, Новый год, Пасха, День объединения Германии, Первое мая, праздник Тела Господня и другие. Это воскресенье было особенно тяжелым, потому что пришлось на Пасху, а значит, понедельник будет не лучше.

Утром я собрал чемодан, а все свои книги перенес в контейнер возле зала отдыха. Это была идея психолога Аннеты: обмениваться прочитанными книгами, а потом обсуждать их. Однако до этого так ни разу и не дошло, потому что читать в Панкове любили далеко не все.

В полдень я вышел в город и снял со счета максимальную сумму, какую можно было снять в течение одного дня. Потом сел в метро, поехал на станцию «Зоологический сад» и купил билет на поезд. Вечером я написал письмо директору больницы и опустил конверт в ящик, висящий на двери его кабинета. Во время моего последнего ужина в Панкове я подсаживался ко всем, кто так или иначе на меня повлиял. Джошуа был обколот лекарствами и, похоже, не заметил моего присутствия, а значит, и того, что я, скорее всего, прощаюсь с ним навсегда. Свен, уткнувшийся в книгу, лежавшую рядом с тарелкой, предложил мне пойти после ужина в котельную на перекур, потому что он должен сообщить мне нечто «чрезвычайно важное». Магда Шмидтова, как всегда, отсутствовала. Она не ужинала в больничной столовой. Я подошел еще к нескольким столикам, кому-то пожал руку, кого-то обнял. Часов в восемь я вернулся в свою комнату и вызвал такси.

Усевшись на подоконник, я закурил и, опершись ладонью о стекло, стал разглядывать Берлин. Когда выходил из комнаты, я снял с руки часы и положил под подушку. Время моего пребывания в Панкове истекло.

В самом начале одиннадцатого, в пасхальное воскресенье четвертого

апреля 2010 года я сел в поезд.

Москва, 2 апреля, пятница, утро

Марина Петровна родилась в начале пятидесятых, после войны. Но просматривая отобранные для выставки в Берлине экспонаты, не могла сдержать слез. Отяжелевшей рукой занесла в список: «Фотография номер пять — “В атаку!”»

Бойцы, возраст которых под тяжелыми касками не угадать, бегут, пригибаясь к земле. На заднем плане ползет солдат с автоматом. Офицер на левом фланге отдает приказ. Лицо его напряжено. Говорят, когда идешь в атаку, самое трудное — оторваться от земли и сделать первые два шага. Для солдата они часто оказывались последними.

На экране компьютера открылась следующая фотография, и Марина Петровна невольно улыбнулась. На нее смотрели два подростка, похожие на только что вылупившихся галчат. Совершенно лысые, с узкими лицами. На вид им было не больше шестнадцати. Они болтали и курили самокрутки. Возможно, для кого-то из них жизнь оборвалась сразу после того, как эта фотография была сделана.

Тронутые временем черно-белые снимки для Марины Петровны были частью ее жизни. Важной частью.

Марина Петровна вздохнула. Как многим из тех, кто родился в послевоенные годы, ей было непросто относиться к Германии объективно. Она прекрасно понимала, что страна и люди ни при чем, но как быть с памятью?

Фотографии отправляли в Берлин за неделю до выставки. Туда же должны были доставить экспонаты из Польши. Небольшие контейнеры сопровождали представители немецкой логистической компании, заслужившей безупречную репутацию у музейщиков, в том числе у работников Госархива, подобравших для выставки сто экспонатов, в которых сосредоточились боль, любовь и ужас военного времени.

Выставка была международной и включала работы фотографов немецкой, польской и российской сторон.

Вылет был ранний, и это радовало Анну: значит, в пробках стоять не придется.

В марте 2007 года в Москве наконец открыли новый терминал, соответствующий по размерам и комфорту столичному уровню и значительно облегчающий процедуру вылета за пределы России. До этого дорога в аэропорт Шереметьево могла занять полдня, так что люди нередко

опаздывали на самолет.

К счастью, самолет в Берлин вылетал в шесть утра. Выезжать из дома надо было в три, и Анна решила не ложиться. Она набрала в поисковике слово «Берлин», чтобы заранее решить, где им с Мариной Петровной непременно нужно побывать.

Ей хотелось пройтись по известной Курфюрстендамм и посетить Гедехтнискирхе, которую местные жители называли «помадой» и «пудреницей», увидеть в музее Нефертити, побывать в кафе «Голубой ангел», где выступала Марлен Дитрих, и купить диск с ее песнями.

Интересно, в чем залог популярности? Есть певцы с прекрасным голосом, но их никто не слушает. А есть такие, как Марк Бернес или Марлен Дитрих — вроде бы и без особых вокальных данных, но пользующиеся безграничной любовью поклонников.

Сергей вызвался отвезти Анну в аэропорт и, как ни пыталась она отговорить его, настоял на своем. Сонный, с недовольным лицом, сел за руль. Анна взглянула сбоку на его породистый профиль, на чуть седеющие на висках волосы, и неожиданно для себя чуть не расплакалась. Ведь какие-то десять лет назад она им любовалась, Сергей казался ей самым близким человеком на свете. Сильным. Надежным. Одержимым. Но когда Анна утратила надежду стать матерью, вместе с этой надеждой она утратила и веру, и любовь.

Как-то весенним днем она поехала в детский дом. Твердо решила взять оттуда ребенка. Неважно, мальчика или девочку. Главное — у них будет настоящая семья.

Это был хороший день и определенно хорошая идея. Анна отчетливо помнила момент, когда эта мысль пришла ей в голову. Она принимала душ, вода успокаивающе обволакивала тело. Неожиданно из крана пошел кипяток. Анна вскрикнула и вдруг поняла, что ей делать. Все стало ясно! Так бывает, иногда.

Она натянула первые попавшиеся под руки брюки и свитер, помчалась вниз. В двадцати минутах езды от дома располагался Дом ребенка; прошлой зимой Анна помогала организовать там новогодний праздник для малышей, познакомилась с заведующей и персоналом. Оказалось, что заведующая, крупная седая женщина с очень короткой стрижкой, живет буквально в соседнем доме, и потом они часто сталкивались во дворе.

Анна вошла в серое безликое здание, и у нее возникло ощущение, что она переместилась на двадцать лет назад. Тут стоял запах какой-то невкусной, унылой еды. У Анны ком встал в горле, она полезла в сумку за

ингалятором. Представила себе дорогие московские рестораны, где люди с недовольными лицами долго и придирчиво выбирают блюда.

— Понимаете, Анна, — сказала ей заведующая, — это быстро не делается, да я бы и не советовала вам торопиться... Вы ведь, насколько я понимаю, даже с супругом это еще не обсуждали?

Слово «супруг» металлически лязгнуло. Суп-руг.

— Нет, не обсуждала, — согласилась Анна, нетерпеливо покачивая ногой, — но почему вы думаете, что он будет против? Он тоже хочет ребенка.

— Поймите, это очень серьезный шаг. Второго разочарования ребенок просто не перенесет. — Заведующая пригладила рукой свой белоснежный ёжик на голове. — Я работаю здесь уже двадцать лет. Много чего повидала. Люди брали ребенка, а потом просто не выдерживали. Эмоционально не выдерживали. А ребенок ведь не собачка, его на улицу не выбросишь!

Глаза Анны наполнились слезами.

— Я хочу! Очень!

Заведующая побарабанила пальцами по столу, покрытому по старинке оргстеклом.

— Пойдемте для начала на детей посмотрим.

Они вышли из кабинета; заведующая прикрыла дверь и взяла Анну под руку. Они шли узким коридором, было необычайно тихо для детского учреждения. Пахло дезинфицирующим раствором. Выкрашенные желтой краской стены были разрисованы бабочками, рыбками, цветами и героями мультфильмов. Старшая группа располагалась этажом ниже. На лестнице их обогнала девушка в джинсах и тесной футболке.

— Куда спешишь? — осведомилась заведующая.

Девушка обернулась, лицо у нее было озабоченное.

— Да «скорую» Никитиной вызвали. Снова под сорок температура и рвота... Бегу встречать!

И она поскакала через две ступеньки; толстая короткая коса била ее по выступающим лопаткам.

— Я зайду посмотреть, что и как. Если в больницу будут забирать — пусть тетя Нина поедет. Она там лучше сориентируется! — вдогонку быстро сказала заведующая, перевела дыхание, обернулась к Анне: — А детки к тому же еще и болеют. И бывает, что тяжело болеют, я вам скажу.

Анна промолчала.

Дашеньку она заметила сразу. Остальные малыши весело играли под руководством воспитательницы, а эта девочка просто тихонько сидела на маленьком стульчике, расписанном под хохлому. Темные кудряшки легким

облаком стояли над бледным лобиком. Она вертела в руках мягкую игрушку, то ли собачку, то ли зайчика.

— Привет, — шепотом сказала Анна, присев перед девочкой на корточки. — Как тебя зовут?

Девочка молчала.

— Ты умеешь говорить?

Заведующая вздохнула.

— К сожалению, Дашенька пока молчит. Ее мать лишена родительских прав, отбывает наказание за распространение наркотиков, срок у нее два года. А вместо отца у Даши в свидетельстве о рождении прочерк...

Анна смотрела на девочку не отрываясь. Огромные карие глаза, ресницы такие длинные, что кажутся приклеенными, пухлый ротик, трогательная тоненькая шейка...

— А можно, — голос ее дрожал, — можно мне погулять... с Дашей?

Ей страстно захотелось подарить девочке лучшие игрушки, всех этих Барби, телепузиков и плюшевых медвежат; угостить мороженым, покатать на пони, сводить в зоопарк. Это же невозможно, когда трехлетний ребенок неподвижно сидит и молчит!

Заведующая осторожно взяла Анну за локоть и вывела обратно в коридор.

— Не обижайтесь, — она смотрела твердо, — но сначала... поговорите с супругом. Я переживаю за девочку... да и за вас тоже. У меня слишком большой опыт, чтобы строить иллюзии...

Анна вышла на улицу. Быстро зашагала к автомобилю, вспоминая детские стихи и песенки, составляя план развлечений для Дашеньки. Зашла в «Детский мир», купила несуразно большую и безумно дорогую немецкую куклу, чьи темные локоны напоминали Дашины. Анна рассматривала куклу в окошечко в картонной коробке и говорила ей:

— Скоро ты познакомишься со своей хозяйкой... Она такая красавица!

Идиллия закончилась с появлением Сергея.

Анна умоляла, плакала и снова умоляла мужа пойти к заведующей Дома ребенка. Рассказывала про Дашу и ее длинные ресницы. Но слышала в ответ краткое «нет!». И в конце — грохот тяжелой дубовой двери.

Она пролежала весь вечер на диване не вставая. Так и уснула в одежде. У нее не осталось шанса стать матерью, а он мог оплодотворить еще множество женщин.

Сергей был красив, женщины на него засматривались, но теперь ничто не заставило бы Анну полюбить его вновь. Спят ли они в одной постели, едут ли в одном автомобиле, между ними — стена. «Берлинскую вот

снесли, — грустно подумала она, — а мою никто не разрушит...»

Дорога была свободна. Сорок минут от Брюсова переулка до аэропорта они провели в молчании. Да и что им было сказать друг другу?

«Мы вместе потому, что так надо, это привычка, подспудный страх одиночества — и больше ничего. И оба чувствуем приближение конца». Уткнув в шарф лицо, она делала вид, что дремлет. А Сергей вел громоздкий джип, крепко вцепившись в руль.

Марина Петровна — нарядная, в милой шляпке — ждала Анну у стойки. Летели они вдвоем. Виталий Семенович должен был прибыть в Берлин прямо из Японии, с очередной конференции, посвященной систематизации хранения информации.

Сергей сухо попрощался с Анной, пожал руку Марине Петровне. Увидев, как стремительно удаляется его коренастая спортивная фигура, Анна вздохнула с облегчением.

— Аня, у вас все в порядке? — участливо спросила Марина Петровна.

— Все как всегда, — грустно улыбнулась Анна, и они, взволнованные предстоящим путешествием, прошли в зал ожидания, а потом заняли места в салоне самолета.

— Я давно не летала, — призналась Марина Петровна. Она постеснялась добавить, что немного боится встречи с немцами, их негативного отношения, и вообще — поездка в Берлин ей не по душе, и если бы не выставка...

— Все будет в порядке, — Анна погладила ее по руке. Рука была холодная и чуть подрагивала. — Да вы совсем окоченели!

— Нет-нет, это от нервов. Сейчас пройдет. — «И правильно, что я промолчала, — решила Марина Петровна. — Пора выкинуть из головы глупые мысли и взять себя в руки!..»

Через проход от них расположился рослый мужчина с темными волосами, стянутыми резинкой в недлинный хвост, и с аккуратно подстриженной бородкой.

— Не представляете, Анечка, каким это стало для меня потрясением... — услышала Анна голос Марины Петровны и поняла, что, засмотревшись на бородача, все прослушала.

— Простите, Марина Петровна, я, кажется, отвлеклась...

— Ничего страшного, я просто болтаю. Знаете, у меня по соседству живет семья, очень хорошая. Муж, жена, две дочки прелестные... Так приятно на них было смотреть. И вот уже с полгода я заметила, что мне не попадает на глаза отец семейства. Оказалось, он их бросил и живет с

двадцатилетней девушкой!

Анна усмехнулась:

— Обычное дело: муж встретил свое счастье, а она — свою одинокую старость.

Судя по тому, что журнал «Русский репортер» на коленях у мужчины через проход уже несколько минут был открыт на одной и той же странице, он прислушивался к их разговору. Анна пожала плечами, невольно повысила голос и тут же одернула себя: «Да что это я, кокетничаю? Пытаюсь флиртовать?»

— Анечка, у вас плохое настроение? — Марина Петровна заглянула ей в глаза. — Вы такие печальные вещи говорите...

— Не печальные, а справедливые, Марина Петровна! — воскликнула Анна. — Это же забавнейший в своей жестокости сюжет! Начинается с того, что он и она, оба студенты или молодые специалисты, без особых перспектив и со скромными доходами, объединяются в семью. Он работает, устает, света белого не видит. Вечерами сидит, уткнувшись в телевизор. Она тоже работает, попутно рожая, перемывая горы тарелок, поддерживая связи со своими друзьями, с его друзьями, с их родней и вообще со всеми. Вьет гнездо, обустраивает, выстилает пухом и соломкой...

Бортпроводница предложила напитки. Анна взяла стакан с минеральной водой. Поблагодарила кивком. Залпом осушила. Продолжила:

— Годы идут, дети растут, гнездо превращается в клетку, в которой они проводят двадцать лет. И он начинает задумываться, какого черта его жизнь прошла, так и не начавшись? Кто-то называет это кризисом среднего возраста... А я — обыкновенной трусостью!

— Трусостью? — хором переспросили Марина Петровна и бородач. Анна рассмеялась.

— Конечно трусостью! Человеку не хватает смелости разобраться в самом себе, и он разрушает все, к чему ни прикоснется... И вот однажды он начинает пахнуть чужими духами и стричься у дорогого парикмахера. Она ничего не замечает. И все кончается катастрофой! Она ли его поймает на месте преступления, он ли признается, что встретил и полюбил, — в любом случае его благодарность за чистые носки, тарелки и полы не в силах заменить страсть, которую он называет «настоящей любовью»... И теперь он начнет все сначала, а она покончит с прошлым.

— Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, — вежливо произнес бородач, — тема уж очень волнующая. Меня зовут Антон, будем знакомы!

Анна и Марина Петровна представились.

— Что вы имели в виду, Анна, когда сказали: «а она покончит с

прошлым»?

— Ну как что... Она расскажет эту историю подругам, некоторое время поживет, как зомби, а потом... А потом может быть что угодно. Второй брак. Жизнь для себя. Приступ трудоголизма. Всплеск агрессивности. Беспорядочные связи.

— В общем, уйдет в отрыв, — подытожил Антон.

Марина Петровна вздохнула.

— Кто же заставляет их жить так скучно? — спросила печально.

— Да они не скучно живут, как ни странно, — ответила Анна. — Они вполне насыщенно живут; все у них есть, от работы до любви. Просто когда уходит мужчина, к которому женщина относилась как к родному, вдруг обнаруживается, что он ей вовсе не родной, и она тоже сама по себе!

— Не знаю, — Антон энергично потер ладонью лоб, — не знаю... Наверное, дело в том, что у этих людей просто нет ничего общего, кроме детей и домашнего адреса. Я бы хотел о другом сказать. Недавно смотрел сюжет по какому-то каналу, показывали супругов-англичан, ему под девяносто, она на два года младше. Справили «бриллиантовую» свадьбу. Дети уже на пенсии... Так вот, дед раз в неделю приезжает на аэродром, садится в собственный самолетик и летает по округе. А готовит ему самолет жена, он ее «мой маленький бортмеханик» называет...

— Что ж, им можно только позавидовать, — сказала Анна и невольно отметила, какие красивые у Антона руки — длинные пальцы, ухоженные ногти... Марина Петровна тронула ее за рукав:

— А вот одна наша сотрудница — помните, Анечка? — Светлана Игоревна, мы ее сорокапятилетие отмечали в июне... так сказала: «Я рада, что моего эксмужа на молоденькое мяско потянуло пятнадцать лет назад — я за эти годы в полноценную женскую личность сформировалась, перестала зависеть от мужчины. Страшно представить, если бы он сделал *это* сейчас»!..

Анна погладила прохладные пальцы в серебряных кольцах:

— Да, тяжелее всего, когда развод совпадает с кризисом среднего возраста. И дело даже не в уходе мужа как таковом — женщина лишается чего-то, во что вложила много труда. Это как когда у тебя на глазах рушится дом, построенный собственными руками. И лучше — если тут вообще подходит слово «лучше» — чтобы это случилось, когда у тебя еще есть силы начать строить новый...

— А я вот заметил, — сказал Антон, — что в этом возрасте женщины нередко сами подаются на развод. Дети выросли, времени стало больше и они вдруг понимают: зачем мне этот чужой обрюзгший человек, от которого нет

никакого толку? Стоило ради него двадцать лет крутиться, как белке в колесе?..

— Женщины часто приносят себя в жертву, — заметила Анна.

— Вы считаете, что разочаровавшись и в браке, и в супруге, нужно этот брак все-таки сохранять?

— Сложный вопрос.

— Да вовсе он не сложный! Почему-то принято считать, что чувство должно быть взаимным. Якобы это справедливо. Ты кому-то симпатизируешь — и он тебе симпатизирует. Ты кого-то раздражаешь — и он тебя раздражает. Ты кого-то видеть не можешь — и он тебя тоже. Но в реальной жизни так не бывает. Сплошь и рядом случается наоборот: «Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей».

— Не спорю, — Анна с интересом взглянула на Антона. — Любовь нельзя ни искусственно вызвать, ни развить, ни убедительно изобразить. Она возникает по воле судьбы, а не по воле разума...

— Любовь — это качественно новое восприятие объекта обожания: он вызывает восхищение в любом случае. Так продолжается некоторое время, потом восхищение уходит.

— И что остается?

— Ну вы же знаете, — Антон улыбнулся, — у всех по-разному. Горечь, теплые воспоминания, дружба, уважение, неприязнь...

— Это потому, что любовь — эмоция, практически не связанная с разумом. И тут ничего и никогда невозможно предсказать!

— А еще бывает зависимость, — подхватил Антон, — когда после разрыва с дорогим тебе человеком ты не в силах изгнать его образ из своего сознания. И постоянно обсуждаешь, обдумываешь ушедшие в прошлое отношения. Припоминаешь обиды, моменты радости, ведешь мысленно диалоги, рассказываешь всем, кто готов тебя выслушать: «А я ей говорю... а она... а я...»

— Это похоже на похоронный ритуал, когда вместе с покойником сжигали заживо его жену. Отношения умерли — и уносят с собой все, с ними связанное.

— Это вы верно сказали, Анна. Жаль, курить теперь в самолете нельзя, — вздохнул Антон и, подумав, добавил: — Поэтому я ненавижу влюбляться. Сразу становлюсь полным идиотом! С одной стороны — летаешь как на крыльях. С другой — делаешься таким уязвимым... Я гораздо больше себе нравлюсь, когда не влюблен, — циничный, острый на слово, собранный, критично мыслящий... Вроде бы.

— Это верно, — Анна улыбнулась, — острый на слово и критично

мыслящий... Мне показалось, вас расстроил наш разговор. Простите, мне неловко, что так получилось.

— Анечка, не вините себя, — Марина Петровна тоже была взволнована, — ведь не зря говорят: «синдром попутчика»! С посторонним человеком всегда легче поделиться.

— И все-таки влюбленность, — Анна замялась, — необходима. Оставаться при этом трезвым сложно. Но отказаться от нее — значит не жить. И лучше быть восторженной и уязвимой, но живой...

— Определенно, люди по-разному на это смотрят: одни видят только проблемы — такие пессимисты, как я; другие — силу и легкость, адреналин... Может, это связано с разными гормонами?

— Нельзя все сводить к гормонам, — Марина Петровна посмотрела на Антона с упреком. Он что-то ответил...

Анна закрыла глаза. Она чувствовала себя усталой, очень усталой.

«Куда подевались мои силы? Вроде бы не тратила их впустую. Но вечерами падаю замертво... и смотрю в потолок. Так и живу теперь — вполсилы, в четверть силы... Так и смеюсь, так и плачу, так и молюсь. Собираю силы по кусочкам — стакан сока, кусочек шоколадки, общение с незнакомым, но приятным собеседником... Ловлю ветер за пазуху, собираю листья впрок... Коллекционирую улыбки встречных. И все зря...»

Встречать их должен был сам Манфред Бёзе. Несмотря на свои шестьдесят лет и высокое социальное положение (Манфред был одним из лучших адвокатов Берлина и возглавлял европейскую коллегия адвокатов), этот высокий мужчина с летящей походкой не только не утратил интерес к жизни во всех ее проявлениях, наоборот — с годами она для него словно набирала обороты. Манфред был добрейший человек, хотя его фамилия — Бёзе — означала «злой». Его родители были простыми рабочими. Ранним утром семья собиралась за круглым столом, на котором дымился ароматный кофе и обязательно были «берлинешпице» — булочки с нежным кремом, наподобие наших заварных пирожных.

Манфред учился отлично и после окончания школы поступил на юридический факультет Университета имени Гумбольдта. Затем успешно делал карьеру в Бундестаге, начав в двадцать шесть помощником юрисконсульта и закончив главным юристом. Воспитал двоих сыновей, которые пошли по его стопам. И вдруг в пятьдесят лет оставил юриспруденцию и создал организацию, которая ставила своей целью развивать культурные связи между Россией и Германией. Манфред вложил в этот бесприбыльный проект большую часть своих сбережений и что

гораздо важнее — душу. Воспользовавшись своими обширными связями, снял помещение в историческом центре города, недалеко от памятника Фридриху Великому, во дворце, где, кстати сказать, располагался действующий театр, и регулярно проводил там выставки, в том числе и ту, что привезли Анна с Мариной Петровной.

Когда они приземлились, Марина Петровна занервничала, судорожно вспоминая немецкие слова, оставшиеся в памяти со школьных времен.

— Данке шеен, — чересчур протяжно повторяла она. Шляпка у нее съехала на бок, щеки порозовели, но это только придавало ей обаяния.

Анна недовольно взглянула на себя в зеркальные двери. «Когда же я успела постареть?!» — подумала она. Лицо изможденное, глаза пустые. Надо бы купить красный шарф, психологи утверждают, что красный цвет прибавляет энергии... или красное белье».

— Анечка, где же наш багаж? — суетилась Марина Петровна.

— Не переживайте, тут повсюду указатели, не то что у нас.

Анна изучала немецкий в школе, ее учительница Азольда Юрьевна считалась лучшим педагогом в Орле. Она не только прекрасно владела языком, но еще и знала и любила немецкую культуру. На уроках они переводили стихи Шиллера и песни Марлен Дитрих. «*Sag mir wo die Blumen sind*, Скажи мне, где цветы», — пронеслось у Анны в голове.

Казалось бы, трагическая гибель родителей должна была заставить ее возненавидеть все немецкое. Но Анна всю жизнь помнила слова бабушки: «Нет плохих народов, есть плохие люди»...

Получив свой скромный багаж, женщины направились к выходу, у которого толпились встречающие. Многие были с табличками. На одной из них кириллицей было написано: ГОСАРХИВ. Ее держал высокий мужчина с гладко зачесанными назад волосами. Он был в дорогом костюме с ярко-лиловым шарфом на шее и производил впечатление очень успешного человека. Женщины подошли ближе, и он, одарив их ослепительной улыбкой, быстро, почти без акцента, произнес:

— Добрый вечер, как я рад! Как рад!

— Вы говорите по-русски! — радостно воскликнула Марина Петровна.

— Чут-чут, — просиял он.

Схватив чемоданы, направился к машине, с поклоном распахнул дверцы и, пока Анна и Марина Петровна усаживались, проворно уложил чемоданы в багажник. При этом с лица его не сходила улыбка, и он говорил не умолкая.

Автомобиль рванул с места, и вскоре аэропорт Шенефельд остался

позади. Они ехали так быстро, что смотреть в окно было бесполезно: все мелькало, сливаясь в одну пеструю размытую картину. Марина Петровна притихла.

— Дамы, — заявил Манфред с довольной улыбкой, — у меня есть предложение.

И перешел на немецкий. Анна сумела понять, что открытие выставки завтра в четыре часа дня. А сегодня Манфред предлагает погулять по вечернему Берлину. Она перевела его слова Марине Петровне.

— Замечательно, чудесно! — обрадовалась та. — По вечернему Берлину — звучит как в сказке.

Манфред извинился, что поселил их в недорогом отеле в восточной части Берлина, в районе Панков. Последнее время ему приходится экономить. Уже год как он оставил адвокатскую деятельность и занимается исключительно выставками и поддержкой молодых талантливых художников, в том числе из России.

Берлин вызывал у Анны смешанные чувства. С одной стороны, тут было шумно и многолюдно, как в Москве. Но люди были другие — много молодых, модно и стильно одетых. «Город — это люди, — подумала она, — а люди здесь симпатичные». И Манфред со своей не сходящей с лица улыбкой, открытый и доброжелательный, только подтверждал это впечатление.

— Дамы, мы въезжаем в бывший Восточный Берлин. Здесь я родился! — с гордостью сообщил он. — Для берлинца это немаловажный факт. В Восточном Берлине нужно было усерднее учиться, это была единственная возможность приблизиться к Западному. Сейчас, минуточку...

Он вдруг притормозил, не обращая внимания на запрещающий знак, включил «аварийку», и стремительно вышел.

— Похоже, у него в роду все-таки были русские, — усмехнулась Анна.

Манфред вошел в небольшой магазин, напоминающий сказочный домик, и через минуту вышел оттуда с белым бумажным пакетом. Он сел за руль и протянул пакет пассажиркам. Оттуда исходил запах свежей выпечки, поднимающей настроение и создающей ощущение праздника.

— Быть в Панкове и не попробовать булочек из знаменитой пекарни — грех!

— Чем же она прославилась? — спросила Марина Петровна.

— Здесь пекут только по старинным рецептам. И печи топят дровами. Я купил вам «деметерброт» — хлеб Деметры, самый вкусный в этой пекарне.

Анна решила, что здесь будет делать все то, что давно уже себе не позволяла: есть булочки, пить вино и совершать всякие глупости.

Они проехали красивую, строгую церковь.

— Это Хохвнунгскирхе, церковь Надежды, — словно угадав ее мысли, продолжал Манфред.

Она подумала, что обязательно пойдет в эту церковь. У человека всегда остается надежда. Иначе он не смог бы жить дальше.

Манфред, заметив в зеркале ее печальные глаза, рассказал по-русски анекдот. Марина Петровна захихикала. Анна улыбнулась. Они подъехали к небольшой гостинице «Академия» рядом с парком. Манфред достал из багажника сумки и отнес их в холл.

— Милые дамы, я вас оставляю. Мне еще нужно встретить господина Водославского из Варшавы, директора польского архива. Я заеду за вами в пять вечера, и... мы пустимся во все тяжкие. — Он снова говорил по-русски. Марина Петровна протянула ему руку, которую он галантно поцеловал.

В дверь постучали.

— Анечка, детка, — Марина Петровна заглянула к Анне в номер, — вы не представляете, какой у меня чудесный вид из окна. На яблоневый сад. Ветви прямо до окна дотягиваются.

Она уже успела переодеться и теперь красовалась в новом, с иголки, темно-синем платье.

— Как вам идет этот цвет! — восхищенно воскликнула Анна. Марина Петровна порозовела от удовольствия.

— Вы находите? Благодарю вас, дорогая, я сшила это платье специально для нашей поездки... А как вам Манфред? — Марина Петровна покраснела еще гуще.

— Очень приятный, — Анна улыбнулась, — и явно положил на вас глаз...

— Да что вы! — смущенно воскликнула Марина Петровна. — Я же старая...

— Перестаньте, Марина Петровна, — мягко проговорила Анна, — мы с вами в центре Европы, здесь люди к сорока годам только семьи создают, детей заводят... А вам в этом платье, да еще с новой прической... больше сорока пяти не дашь!

— Знаете, Анечка, что я вам скажу: тот, кто не ощущает свой возраст, выглядит смешно. И не спорьте со мной. Но вы еще очень молоды! Живите полной жизнью. Она летит быстро, и с каждым годом все стремительнее. У

нас в распоряжении только настоящее. Вначале мы представляем себе лишь долгое будущее, а под конец — лишь долгое прошлое. — Марина Петровна подошла к идеально чистому окну и печально добавила: — Ничего ведь не видела, Анечка! Понимаете, ни-че-го!

— Марина Петровна, — Анна решительно встала, — а давайте-ка мы с вами выпьем!

— Днем?! — ужаснулась Марина Петровна, но глаза у нее заблестели.

— Во-первых, — Анна посмотрела на часы, — уже почти два часа... А во-вторых... согласитесь, не каждый день мы с вами по Берлину гуляем.

— Никогда не думала, что приеду сюда на открытие выставки из нашего архива, — прошептала Марина Петровна. — Судьба постоянно приберегает нам сюрпризы, нужно быть к этому готовым.

— Или даже ждать их, — добавила Анна. Достала из бара маленькую бутылку вина и попыталась откупорить. Кое-как ей это удалось, и она, довольная, наполнила бокалы. — В последнее время я задаю себе вопрос: кто вершит наши судьбы? По какому плану? И неужели мы лишены всякой возможности что-то изменить?

— Что вы, дорогая, я думаю, мы помогаем нашей судьбе! Ведь если бы не работала в архиве, я никогда бы не очутилась в Берлине и не любовалась бы сейчас чудесным видом из окна. Мне кажется, мы должны быть солидарны со своей судьбой!

— Вот за это давайте и выпьем! — Анна подняла бокал и внимательно посмотрела на коллегу. — Кстати, Марина Петровна. Насчет перемен в жизни...

— Да? — Марина Петровна отпила вина.

— Адам прожил в крошечном одиночестве пятьсот лет. И только после этого Господь явил ему свою милость и создал из его ребра Еву. А вместе с Евой Адам был в раю всего семь часов, а дальше было изгнание из рая, голод и холод, необходимость добывать своими трудами хлеб насущный, выживать... Иногда мне — да и не только мне — кажется, что, помимо прочего, акт грехопадения был еще и желанием проявить независимость. Адаму не захотелось уповать исключительно на Божью милость, когда, обретя свою вторую половину, он стал более цельным существом.

— Что ж, это вполне вероятно! А что вы имеете в виду под словами: «помимо прочего»?

— Представляете, как Адаму было скучно одному? — рассмеялась Анна.

Она не хотела больше скучать.

Открытие выставки и пресс-конференция должны были состояться завтра в четыре. Марина Петровна и Анна решили приехать туда к двум, чтобы еще раз проверить экспонаты и разложить пресс-релизы. Манфред говорил, что журналистов ожидается много. А польские коллеги привезли своих журналистов с собой. Сегодняшний же вечер можно было посвятить прогулке по оживленному, пахнущему весной Берлину.

В пять они уже стояли в холле гостиницы и ждали Манфреда, который немного припозднился. Этот человек не был похож на пунктуального немца. В расстегнутом пальто он ворвался в холл отеля и произнес с сияющей улыбкой:

— Я весь ваш, милые дамы!

Марина Петровна улыбнулась ему в ответ, и Анна с удовольствием посмотрела на коллегу. В интересной даме с сияющими глазами трудно было узнать поникшую, усталую Марину Петровну, шестидесятилетие которой только что отметили всем архивом. К тому же она много смеялась, кокетливо взмахивая своими, как оказалось, длинными ресницами.

«Она выглядит моложе меня, — подумала Анна. — Человек жив, пока ему все интересно! Вот он, мой девиз на сегодня!».

Они оставили машину недалеко от Жандарменмаркт и дальше пошли пешком. Посреди площади была сцена, вокруг собирались люди.

— Сегодня дают «Волшебную флейту» — с гордостью сообщил Манфред.

— Невероятно! — воскликнула Марина Петровна. — «Волшебная флейта» в центре Берлина! Анечка, ущипните меня, мне кажется, я сплю!

Любопытные туристы фотографировали два величественных собора с похожими куполами, располагавшиеся друг напротив друга. Анна достала свою «мыльницу» и тоже сделала несколько снимков.

— А почему площадь так называется? — поинтересовалась она.

— Здесь стоял кирасирский полк жандармов. Его конюшни были здесь построены по приказу короля Фридриха Вильгельма Прусского в 1736 году.

— Так просто... — задумчиво сказала Анна.

— Не совсем, — возразил Манфред. — Одна площадь может вместить в себя сразу несколько пластов истории. В канун воссоединения Германии, в октябре 1990 года, здесь в последний раз, под Девятую симфонию Бетховена, провело свое заседание правительство ГДР. И эта история уже кажется такой же далекой... А теперь, дамы, предлагаю зайти в одно уютное местечко.

Они прошли в небольшое кафе напротив концертного зала. Народу там было много, официанты суетливо бегали между столиков.

Манфред заказал вино.

— Мне хочется угостить вас хорошим вином. Надеюсь, вы не против?

— Манфред, а вы женаты? — неожиданно для себя спросила Анна.

— Да, — ответил он по-русски, — мы знакомы с женой тридцать лет, а женаты семь.

— Ого! — удивленно воскликнула Анна. — Неужели вы двадцать три года проверяли свои чувства?

— Знаете, Анечка, — вступила в разговор Марина Петровна, — одинокими гораздо чаще становятся те женщины, которые соглашаются на первого же кандидата, чем те, кто тщательно подбирает партнера для романа, брака... приключения, уикенда или для шекспировских страстей. «Не слишком разборчивых» неудачи буквально преследуют, что бы они ни замыслили...

— Вы имеете в виду нравственный закон? — уточнила Анна.

— Или законы Бога, — кивнул головой Манфред, внимательно прислушивавшийся к разговору.

— Скорее уж, законы механики: несовместимые детали нельзя соединить в долговременную, работоспособную и надежную систему. И если не выбирать того, кто тебе подходит, а понадеяться на удачу, то...

— Система не сможет работать! — удовлетворенно закончил Манфред.

— Да, — Марина Петровна кивнула, — надо выбирать... и очень тщательно!

— А как же... — заволновалась Анна, — как же любовь?

— Анечка... — подняла руку Марина Петровна.

— Нет-нет, позвольте, я договорю! Помните романс Эльдара Рязанова: «Любовь — весенняя страна, и только в ней бывает счастье»? И это правда! Любовь — центр вселенной, вокруг нее вращается мир!

— А вы, Анна, философ! — Манфред смотрел на нее с улыбкой. — Не могу с вами согласиться...

— Впрочем, если учесть гипотезу о том, что центром любой галактики является чудовищная черная дыра, поглощающая все, что оказывается рядом... — Марина Петровна рассмеялась. — Анечка, я думала о любви по-разному в разные периоды жизни... И поняла: любовь к мужчине — это не вершина... это кусок хлеба с колбасой.

— Бутерброд? — Манфред махнул рукой официанту с просьбой вновь наполнить бокалы.

— Да, бутерброд! Вот он, лежит на блюде. Блюде стоит на подносе. Поднос — на сервировочном столике. Столик — на кухне... Но вокруг —

целый мир! Который можно и нужно любить...

— Вот кто у нас философ, — Анна указала Манфреду на Марину Петровну и с удовольствием пригубила вино.

Они вышли из кафе и не торопясь направились к автомобилю.

Анна молча смотрела в окно на мелькающие картинки чужой жизни и думала о том, что занимает чье-то место. Манфред без умолку болтал по-немецки; Марина Петровна, судя по всему, мало-помалу начинала его понимать. Она встряхивала волосами, смеялась и кокетничала.

— А теперь, дамы, — Манфред посмотрел на Анну с довольной улыбкой, — у меня для вас есть маленький презент! Вернее, предложение... Я приглашаю вас вечером на дискотеку! Два часа на сборы, и — вперед! Мои друзья недавно открыли прекрасную дискотеку с лазерным шоу, это надо увидеть! И услышать! Тем более что она недалеко от вашей гостиницы.

Анна пожала плечами; идея с дискотекой показалась ей странной, в ее представлении такого рода развлечения подходят исключительно подросткам. Но пусть будет дискотека, в конце концов. Не все ли равно.

Она вошла в номер и без сил опустилась на кровать поверх клетчатого синего покрывала. Рядом стоял узкий столик, на нем небрежно брошена свежая газета и глянцевого журнала; близ окна еще один столик, стеклянный. Рядом — два стула, настольная лампа с абажуром цвета мокрого песка... Удобное кресло, небольшой бар, на узких полках расставлены нарядные бутылки... В вазе на прикроватной тумбе — живые цветы; их нежный запах причудливо смешивается с каким-то средством для ухода за деревом... Анна закрыла глаза. Протянула руку и сделала глоток вина, не допитого днем с Мариной Петровной. Вино нагрелось и теперь казалось уже не столь изысканным.

Надо взбодриться, подумала она, взять себя в руки, я так давно мечтала о путешествии, завтра открывается выставка, еще столько дел... Манфред сказал, что здесь недалеко потрясающий спа-салон, можно пойти туда прямо сейчас... Милый Манфред, он так возится с нами, вот и вечерние развлечения продумал... Он и Марина Петровна явно симпатизируют друг другу. Хорошо бы, вдруг подумала Анна, чтобы у них случился роман. Марине Петровне это пошло бы на пользу... Она была такая потерянная в последнее время, такая поникшая.

Марина Петровна, легкая на помине, деликатно стукнув в дверь, приоткрыла ее, заглянула в комнату. На ее лице играла улыбка.

— Анечка, дорогая, мне не сидится на месте! Хочется куда-то бежать. — Она сменила темно-синее платье на узкие черные брюки и

тонкую водолазку.

— Вы уже переоделись для вечернего мероприятия? — улыбнулась Анна. — Прекрасно выглядите. Вам идет этот стиль охотницы в городских джунглях.

— Я не выгляжу смешной? — Марина Петровна озабоченно оглядела себя в зеркало.

— Да что вы, — Анна искренне удивилась, — вы абсолютно органичны. А я вот не знаю, какой выбрать наряд. Не поможете?

Она подошла к шкафу и достала узкую юбку, блузку цвета серого жемчуга, синие джинсы, бросила ворох одежды на кровать.

— Анечка! Вам нужно что-то себе приобрести, как бы это сказать... обновить гардероб. Вы такая молодая, такая красавица, и грустите над своими тряпочками... Давайте прямо сейчас пойдем в магазин и купим вам вечернее платье!

— А давайте, — внезапно решила Анна. — Часа полтора у нас есть... Даже чуть больше!

— Только нужно узнать у портье, куда ехать. А то и двух часов не хватит.

Очаровательная голубоглазая девушка у стойки улыбнулась при слове «кляйд».

— Вам нужно на Курфюрстендам, мы называем его Кудам. Там столько магазинов! — И подробно объяснила, как туда добраться.

Ближайшая станция метро находилась в пяти минутах ходьбы от гостиницы. До «Виттенбергплац» шла прямая ветка.

Метро многое может сказать о городе. В Нью-Йорке оно пугает разрисованными граффити вагонами и мрачными лицами подростков-рэперов. В Петербурге оно очень глубокое: пока спускаешься на эскалаторе, можно успеть сочинить стихотворение или даже небольшую повесть. В Токио много запутанных переходов между станциями и пассажиры носят респираторы, а билеты продаются в автоматах, причем каждый снабжен шрифтом Брайля — для слепых. На электронных табло высвечивается информация о времени прибытия следующего поезда, конечном пункте его следования, а также о том, скоростной он или делает остановки на каждой станции. Для пересадки с одной линии на другую на некоторых станциях московского метро можно затратить меньше тридцати секунд, а в Париже — больше 15 минут.

У берлинского метро своя особенность: если сам город был практически полностью разрушен в 1945 году, то подземные сооружения в основном сохранились, и там есть возможность прикоснуться к истории,

например, увидеть бункер времен Второй мировой войны, где прятались от бомбардировок жители Берлина. Там даже сохранились фосфоресцирующие стены, благодаря которым можно видеть даже в темноте, на случай, если отключится электричество.

В вагоне метро оказалось много свободных мест и доброжелательных лиц. «Чувствуется, что в городе живет не пятнадцать миллионов жителей, а намного меньше», подумала Анна. Всю дорогу до магазина они с Мариной Петровной болтали о прическах, модных тенденциях, духах.

Выйдя из метро и пройдя несколько метров, Анна сразу узнала Гедехтнискирхе, построенную в память о кайзере Вильгельме. Резким контрастом старого и нового стоят рядом две церкви. Одна полуразрушенная — как вечное напоминание о войне. Другая — олицетворяющая новый Берлин.

— Анечка, посмотрите, это ведь как сама жизнь — между вчера и завтра... Правда, хорошо я сказала? — улыбнулась Марина Петровна.

— В самом деле...

Анне захотелось продолжить сравнительный ряд, но она уже не могла оторвать взгляд от красочных витрин.

Зайдя в универмаг, Анна, как будто привычная к московскому изобилию, пришла в восторг. Они поднялись на эскалаторе на второй этаж, где продавались вечерние платья, и Анна принялась перебирать вешалки.

— Вы ищете что-то конкретное? — К ней подошла миловидная продавщица лет пятидесяти.

— Да, я хочу сегодня быть красивой! — ответила Анна.

Женщина на мгновение исчезла за высокими вешалками и вернулась с шелковым платьем кораллового цвета.

— Frau muss das unbedingt probieren! Das passt zu Ihnen Augen! Фрай непременно должна это пробирен! Этот хорошо ваши глаза!

Анна скрылась в примерочной и через минуту вышла с сияющим лицом. Платье словно было пошито на нее.

Марина Петровна одобряюще улыбалась.

— Ну, вот, совсем другое дело! Вы у нас прямо Кармен!

Вино, вечерний Берлин, новое платье и лазерное шоу оказали свое действие. Анна чувствовала себя словно во сне, когда уходят все проблемы, а горечь и грусть отступают. Ей было хорошо. И хотелось запомнить и продлить это состояние.

У психологов есть такой тест: надо ответить, кем ты себя ощущаешь, животным или птицей, а может, улиткой... В тот апрельский вечер в

Берлине Анна начала потихоньку выползать из своей ракушки. С ролью улитки она давно смирилась. Но сейчас ей хотелось высунуться и широко открыть глаза. Трудно сказать, в чем тут было дело — в выпитом вине или красотах Берлина, но она ощущала прилив энергии и надежды.

Когда Манфред был в Москве, ему подарили диск с балладами Окуджавы. По дороге на дискотеку, в такси, все трое пели хором: «Давайте говорить друг другу комплименты!»

— Целая эпоха прошла, — с легкой грустью отметила Марина Петровна. — Я и не думала, что сейчас кто-то еще слушает Окуджаву...

Когда они вошли в помещение, четверо парней играли блюз. Казалось, они полностью погружены в свою музыку и свой мир.

«Как я им завидую! — подумала Анна. — Им никто не нужен, а они нужны всем, кто здесь собрался. Потому что играют прекрасную музыку...»

Она вспомнила свою мечту стать актрисой, проживать на сцене разные жизни. Чувствовать себя востребованной, радовать и восхищать зрителей, может быть, даже влиять на их взгляды... Анна потерла виски, отгоняя мрачные мысли. Они пришла сюда веселиться — и будет веселиться! Посмотрела на добродушного Манфреда.

— Дамы, как насчет виски? — весело спросил он.

— А вы уверены, что мы завтра будем в состоянии открыть выставку? — Анна кокетливо оперлась о стойку бара. Ее карие глаза сияли.

— Конечно! — заглушая музыку, крикнул Манфред. — Это будет самая интересная выставка в нынешнем году!

— Тогда предлагаю тост, — весело сказала Марина Петровна. — За Манфреда и его прекрасные идеи! Я вам так благодарна... Ничего подобного со мной лет сорок не случалось...

— Тогда всем по пятьдесят виски со льдом!

Манфред был рад, что две очаровательные женщины из далекой России наконец расслабились.

Анна думала о том, как замечательно, что они сейчас в Берлине и что Марина Петровна кокетничает с этим милым немцем.

Потом они танцевали и снова поднимали тосты.

В какой-то момент Анна оказалась в центре танцпола. Воздев вверх руки и закрыв глаза, она ритмично двигалась под музыку, а вокруг стояли люди; их было много, они выкрикивали что-то одобрителное и хлопали в ладоши. Анна смутилась, одернула платье, вернулась к стойке.

«Господи, я не танцевала так уже сто лет, — смятенно думала она; мысли обгоняли друг друга, прыгали в голове шариками для пинг-понга. —

Но почему? Я не инвалид, не урод, почему же я не живу, не танцую, не экспериментирую с новыми блюдами, не выращиваю экзотические цветы на подоконнике, не знакомлюсь на улице?...»

На маленькой сцене появилась пышная мулатка с алой повязкой на смоляных волосах. Ее крупное тело словно отзывалось на каждую ноту, и она не казалась неуклюжей, наоборот, была похожа на гибкую пантеру. Анна взяла бокал с виски и осушила его одним махом.

— Потанцуете со мной? — услышала она и обернулась. Перед ней стоял музыкант, только что извлекавший прекрасные звуки из саксофона, и приветливо улыбался.

Не дождавшись ответа, властным движением привлек Анну к себе. Она чувствовала его терпкий и приятный, очень мужской запах. Потом он отодвинул ее от себя и резко отклонил вниз. Ее густые каштановые волосы коснулись паркета и снова взметнулись вверх. Две нижние пуговицы на платье расстегнулись, и Анна почувствовала, как оголилась ее нога в черном чулке. Саксофонист снова прижал ее к себе. Ей хотелось, чтобы этот танец не заканчивался. Яркая помада чуть расплылась, смягчая контур губ. В мерцающем неоновом свете она с радостью подчинялась партнеру, касалась его грудью, и это было невыразимо приятно. «Надо же, — промелькнуло в голове, — какой я могу быть развратной!». Эта мысль ей понравилась, и она повторила ее вслух по-русски. Саксофонист удивленно приподнял брови.

— Мой господин, — обратилась она к нему по-русски, — давайте поговорим о сексе! О сексуальных фантазиях! Представьте себе, я ни с кем никогда об этом не говорила! Не знаете, почему?

Танец закончился, она рассмеялась и сжала лицо музыканта в ладонях. Он поцеловал ее ладонь, и запястье, и ямочку на сгибе локтя.

Казалось, в груди у нее взорвался праздничный салют. Она приложила усилия, чтобы наконец от него оторваться.

— Сексуальные фантазии... — бормотала она вполголоса. — Надо же, что мне в голову пришло! Такое ощущение, что я обезумела. И это мне нравится! Нравится!

Саксофонист на минуту исчез, а вернувшись, с полупоклоном преподнес Анне фигурку из оникса молочного цвета. Медведь, символ Берлина. Анна улыбнулась, сжала сувенир в руке, приятно гладкий, прохладный.

Потом они снова пили, и Манфред излагал собственную теорию относительности. Он искренне считал, что Бог един. И что именно Он программирует судьбы, потому что управлять таким хаосом может только

тот, кто обладает всей информацией.

Вечер внезапно превратился в ночь.

Анна чувствовала, что очень устала. Единственным желанием было снять туфли и закинуть повыше отекавшие ноги. Выйдя на воздух, она прижала ладонь к разгоряченному лицу, вздохнула. На улице похолодало, изо рта вырвалось облачко пара.

Вдруг она услышала негромкий звук. Подняла глаза: в темноте свободно парил белоснежный голубь. Словно стараясь привлечь ее внимание, он усердно взмахивал крыльями. Не отрывая глаз, она следила за траекторией его полета. Будто заметив ее взгляд, голубь взметнулся вверх и замер близ маленького окна с решеткой в доме напротив. Окно было темным, но где-то в его глубине теплился слабый огонек.

Сердце Анны заколотилось. Она разглядела в окне мужской профиль. Да, никаких сомнений — это был мужчина. Ей показалось, что он изучающее смотрит на нее.

Внезапно она ощутила такую острую тоску и боль, что согнулась пополам, обхватив себя руками. Это зарешеченное окно выглядело чудовищным контрастом с только что пережитым ощущением легкости и свободы.

«Что со мной... Неужели я просто тяну лямку до пусть не победного, но все равно конца... Я как зимний сад. Пустой. Деревья замерли в странных вычурных позах, чёрные, насквозь продрогшие... Стоит апрель, а у меня на душе холод. Жизнь теплится, но так глубоко и слабо, что это почти незаметно. Все ушли, все умерли, я — опустевший сад...»

Белый голубь продолжал свой танец, возносясь все выше и выше.

Анна почувствовала, что ей трудно дышать. Голова закружилась, перед глазами поплыли тысячи маленьких разноцветных звездочек. Она почувствовала, как ее подхватывают чьи-то сильные руки. Это был Манфред.

Разбудил ее стук. Заспанная, с растрепанными волосами, нехотя открыла дверь. На пороге стояла румяная и свежая, как будто и не было позади бурной ночи, Марина Петровна.

— Анечка, завтрак скоро закончится. А я умираю с голоду! И вообще, поедемте скорее посмотреть Берлин. До двух осталось совсем мало времени.

Анна почувствовала, что от слова «еда» ее сейчас стошнит.

— Завтракайте без меня, я пока соберусь. Через полчаса встретимся внизу.

— Ну, как знаете, дорогая. — Марина Петровна быстро зашагала по

коридору.

Анна выбежала из номера прямо в ночной рубашке.

— Марина Петровна, — глаза ее блеснули, — вы видели вчера голубя? А мужской профиль в окне? Видели?

— Честно сказать, мы вчера все немного перебрали, и я тоже. Но никакого голубя я не видела. Под действием алкоголя вечно что-то мерещится...

Анна, не дослушав, громко хлопнула дверью.

Через полчаса они сели в метро и доехали до станции «Унтер-ден-Линден». Они шли по самой дорогой мостовой в Германии. Кусочек земли размером с картонную подставку для пивной кружки стоил больше 125 евро. Во всяком случае, так говорил Манфред.

Марина Петровна рассказала Анне, что когда-то здесь росла тысяча ореховых деревьев и тысяча лип. Орех погиб, и остались одни липы, вот немцы и прозвали улицу «Под липами».

Проходя мимо кофейни, Анна взмолилась:

— Без чашки кофе я не пойду!

Они зашли в заведение с многообещающим названием «Эйнштейн». Анна заказала свой любимый капучино и долго смаковала каждый глоток. Марина Петровна с удовольствием угощалась яблочным штруделем.

— Анечка, попробуйте! Настоятельно рекомендую. Вкус совсем другой. В Москве он какой-то сухой. А здесь — чудо как хорош.

Анна отломил маленький кусочек. Вкус ароматных яблок и кофе вернули ее к жизни.

Потом они разглядывали конную статую Фридриха Великого. Анну всегда интересовала личность «Старого Фрица». С усмешкой поглядывал он из-под своей треуголки, словно наблюдая за всем происходящим. Не верилось, что в восемнадцать лет этот человек бежал в Англию и даже хотел отказаться от короны. И что после него остались сочиненные им концерты для флейты, которые до сих пор исполняют музыканты всего мира.

Погода стояла чудесная. Припекало солнышко, и в воздухе пахло весной.

Но время поджимало. Пора было готовиться к выставке.

«Дворец Манфреда», как его в шутку называли между собой Анна и Марина Петровна, оказался внушительной постройкой в классическом стиле в самом сердце Берлина.

Анна стояла посреди холла и молча наблюдала за тем, как прибывают все новые и новые журналисты и желающие осмотреть выставку

посетители. Хотя вернее было бы сказать — желающие порассуждать и покритиковать. Западный зритель никогда ни от чего не приходит в восторг. И чем больше интереса вызывает какое-то мероприятие, тем больше критических замечаний появляется о нем в прессе.

В России все иначе. К критике там относятся с подозрением, а если на открытии выставки присутствует кто-то из представителей власти, хвалебные отзывы ей обеспечены.

Среди публики было много молодежи в приспущенных по гарлемской моде джинсах и с всклокоченными волосами.

Какой-то господин в широкой фетровой шляпе и клетчатом шарфе громко разговаривал с элегантной девушкой в брючном костюме. В руках у нее были фотоаппарат и диктофон. В холле стоял гул голосов. Чувствовалось всеобщее нетерпение, как бывает только перед интересными событиями.

— Анечка, куда вы пропали? Там польские коллеги пришли. Пойдемте скорее знакомиться!

— Марина Петровна, скажите, вы вчера правда не видели голубя и этот профиль в окне? — снова спросила Анна.

— Мы все изрядно погуляли. С кем не бывает, — ответила Марина Петровна, поглаживая Анну по плечу. — Пойдемте, через пятнадцать минут открытие. Виталий Семенович ленточку будет перерезать.

— Нет-нет, — волновалась Анна, — что значит: изрядно погуляли? Я же не сумасшедшая! Вы ведь видели? Вы тоже видели?

— Да не было там никакого голубя! — Марина Петровна схватила Анну за рукав и потащила через холл.

Анна ощутила странное равнодушие. Казалось бы, сейчас произойдет событие, которого она долго ждала, к которому готовилась... И что? Пустота...

— Да возьмите же себя в руки! — уже строго сказала Марина Петровна.

— В руки, — бездумно повторила Анна. Позже она запишет в дневнике:

Я знаю по себе, что такой «эмоциональное выгорание». Так мой организм защищается — от чего? — потому что устал реагировать на негативные воздействия. Устал от психотравм. А ведь общественно-полезная деятельность — тоже психотравма. Если слишком долго жить на одних эмоциях, может статься, что их у тебя совсем не будет. Никаких. Я даже нашла в Интернете выражение «эмоциональная

пустыня». Кажется, некоторые живут в такой пустыне всю жизнь. Господи, неужели это и моя участь?!

Виталий Семенович стоял рядом с Манфредом и каким-то седовласым с приятной улыбкой. Ленточку перерезали под бурные и, как показалось Анне, искренние аплодисменты.

Она медленно шла мимо фотографий. На нее смотрели худощавые, улыбающиеся лица. И это тоже война! Вернее, редкие минуты счастья между болью и горем.

Анна вдруг поняла, что ей стыдно — за себя, за свое одиночество и бесконечное недовольство всем на свете, и в первую очередь самой собой.

«Даже сейчас я думаю о себе! А эти люди на снимках думали о чем-то для всех важном! Кто-то старался выжить, кто-то боролся! А я просто трусиха! Боюсь остаться одна. Отказаться от комфортных условий. Снова очутиться в коммунальной квартире с общим вонючим сортиром. Признаться себе в собственной несостоятельности. Вот и все! Несостоявшаяся актриса, несостоявшаяся мать».

Она остановилась у небольшого снимка с оторванным краем. Большая семья — муж, жена, четверо детей, младенец у матери на руках.

— Красивая пани.

Анна обернулась и увидела седовласого мужчину с четко очерченным подбородком и маленькими колючими глазами. Несколько минут назад он перерезал ленточку.

— Добрый вечер. Пан Водославский, — вежливо склонил он голову.

— Анна, — тихо произнесла она. — Вы из Польши?

— Да, из Варшавы. Вот, мы тоже привезли снимки из нашего архива. Да. Эта фотография — моя история... Часть моей семейной истории. Недавно обретенной. Понимаете?

— Пока нет, — Анна улыбнулась, — но это поправимо...

— Иногда историю лучше рассказывать с конца. Чтобы потом добраться до начала...

— У нас, кажется, достаточно времени. — Она смотрела на него с интересом.

— Да, вы правы... Лет пять назад раздался звонок от адвоката. Мол, есть важное наследственное дело. Моя мама наотрез отказалась идти, сказала, незачем время терять, нет у нас богатых родственников. А я пошел. Документы взял — свои, матери. А когда вернулся домой, сначала даже ничего не мог рассказать. И дело вовсе не в сумме денег, солидной сумме, которая оказалась маминым наследством. А в небольшом альбоме со

старыми фотографиями и письмами в жестяной коробке из-под датского печенья... — Он помолчал, задумавшись. — У моей бабушки была сестра. Точнее, всего их было три сестры и один брат: Барбара, Эва, Мария и Марцин. В начале двадцатых годов Барбара и Эва уехали с отцом в маленький городок во Франции, а годовалая Мария и трехлетний Марцин остались с матерью в Польше. Почему так получилось, сейчас уже не узнаешь. Возможно, родители просто поссорились, а может, и расстались. Мария росла болезненным, рахитичным ребенком, а Марцин очень скоро умер от дифтерита.

Через пятьдесят лет Мария стала моей бабушкой. О своих сестрах и отце она много лет ничего не знала, но свечки — на всякий случай — ставила всегда «за здоровье».

Когда Барбара и Эва подросли, они поехали учиться в Париж. Эва начала учебу в университете, но очень скоро все забросила и записалась в скандально известную театральную школу. Правда, актрисы из нее не получилось, и она вернулась к отцу; он работал учителем классических языков в местной школе, а Барбара преподавала девочкам гимнастику и русский язык.

В тридцать девятом началась Вторая мировая война, а в сороковом один молодой человек, выросший в благопристойной немецкой семье на юге Германии, стал солдатом гитлеровской армии. Через три года его тяжело ранило на Восточном фронте. Осколок разворотил живот; надсаживаясь от крика, он заправлял синеватые петли кишечника обратно. Наконец сознание милосердно покинуло его. Однопольчанин вытащил раненого с поля боя, и через час его прооперировал военный хирург. Операция прошла удачно, но лечение в госпитале предстояло долгое, включая реабилитацию. Через полгода молодого человека отправили на Западный фронт, во Францию. Именно тогда он начал искать пути к спасению и бегству. Немецкая исполнительность и готовность подчиняться приказам уступили место отчетливому пониманию ужаса происходящего.

Судьба оказалась к нему благосклонна, и после одной из перестрелок он завладел документами убитого француза Анри Роше. Дезертировал, долго пробирался через Францию; в Италии каким-то чудом сел на пароход, битком набитый беженцами, и прибыл в Ванкувер. Никто не подозревал, через что ему пришлось пройти.

В Канаде он устроился работать помощником повара в русском ресторане. Там и познакомился в сорок шестом с Барбарой Войцеховской. Ее сестра Эва и отец погибли в Освенциме; сама она в сорок втором вместе с подругой бежала от нацистов в Англию, а оттуда в сорок четвертом

перебралась в Канаду. Работала в библиотеке, жила в маленькой квартирке с видом на океан. Любила читать и кататься на велосипеде.

Они поженились, через год родился мальчик, получивший имя Арон, в честь деда, погибшего в Освенциме.

Родители Арона были не слишком общительны, к новым знакомствам не стремились, заполняли жизнь работой; в начале пятидесятых открыли собственный ресторан, тоже русский. Дело процветало; Барбара оказалась прекрасной кулинаркой. К началу семидесятых у семьи Роше было уже три ресторана.

А вот детей больше не было. Арон узнал правду об отце только после его смерти. Когда разошлись немногие собравшиеся на аккуратном маленьком кладбище и он посадил мать в автомобиль, она рассказала, глядя в пустоту, кем на самом деле был ее муж, и назвала его настоящее немецкое имя.

— Как такое могло случиться? — тихо спросила Анна. — И что связало этих людей, жертву и палача?

— Не знаю, — ответил пан Водославский, — не знаю. Может, любовь? Арон не женился, жил холостяком, управлял ресторанами, удвоив их количество. Похоронил мать. И решил найти ее родственников в Польше. Мария после войны вышла замуж, у нее родилась девочка; Мария назвала ее в честь своей сестры Барбарой.

— Это ваша мама? — догадалась Анна.

— Да. Мама горько плакала, сжимая в руках старые черно-белые фотографии, приехавшие к ней через два океана и пять десятилетий. И слезы капали на крышку коробки из-под датского печенья, где розовощекие мальчики и девочки катались на коньках и санках.

Варшава, 5 апреля, понедельник

Варшава...

Для меня она всегда была Варшавой — всегда в женском роде, и я думал о ней как о женщине. Мой отец родился в польском тогда еще Львове, мать — в тогда еще немецком Штеттине, брат — в послевоенном польском Кракове. А наша маленькая сестричка, которую родители произвели на свет, когда мой брат был уже взрослым, а я еще только свыкался со своей взрослостью, родилась в Вене. Два дня спустя там же и умерла. Отец, одержимый самым примитивным шовинизмом, считал, что польку нельзя хоронить в земле, которая «породила Гитлера». Совершенно игнорируя правила транспортировки умерших, как и мольбы обезумевшей от горя матери, он выкрал из морга венской больницы тельце маленькой Марты, запаковал в пластиковый мешок, уложил в багажник своей «Лады» и направился в Польшу. Таможенники на австрийско-чехословацкой границе обыскали машину. Они искали листовки и «вражескую литературу», а нашли синий, перевязанный веревкой мешок с телом Марточки. Мать и отца немедленно арестовали. На них надели наручники и заперли в зарешеченной камере в здании таможни. Расследование этого жуткого случая длилось более трех недель. С участием австрийской полиции, чехословацкой милиции, польского посольства в Вене и польского консульства в Брно. В конце концов родителей освободили, а Марту положили в маленький алюминиевый гроб и на специальной машине отправили в Польшу. Отец, наглотавшись успокоительных таблеток, ехал с матерью следом на своей «Ладе». В районе Оломоуца он заснул за рулем и врезался в дерево. Родители погибли на месте. Я был несовершеннолетним, и мне не разрешили поехать в Оломоуц, а мой взрослый брат был тогда очень далеко, в Сиднее, и у него не было достаточно денег, чтобы купить билет на самолет и прилететь в Варшаву, Вену или Прагу, а потом добраться до Оломоуца. И потому могила Марты, отца и матери находится в Братиславе. Одна на троих — так было дешевле для польского консульства в Брно.

Я был на кладбище в Братиславе первый и последний раз шесть лет назад. Рядом с помойкой возвышалась куча ржавого песка, а сразу за ней из земли торчал деревянный крест. На белой табличке, гвоздем прибитой к кресту, с трудом угадывались имена «Андзей», «Стефания», и «Мартина», хотя моего отца звали Анджей, мать — Сефания, а сестру должны были

записать Мартой. Я в бешенстве выдернул крест и выбросил на помойку. Взял горсть песка, насыпал себе в карман и вернулся в машину. Часть этого песка переслал бандеролью в Сидней, но никакого ответа от брата не получил.

Оставшийся песок я хранил в металлической шкатулке, где лежало все самое важное: свидетельство о рождении; документ, подтверждающий, что я «был исключен из Варшавской музыкальной школы номер четыре за повреждение рояля»; черная клавиша от этого рояля; зачерстневшая облатка, не съеденная мной на первом причастии, потому что ее положил мне в рот ксендз, который пил водку вместе с моим отцом и часто, будучи пьян, усаживал меня на колени и щупал; красивый диплом Академии музыки в Гданьске; огромные хлопчатобумажные трусы Иоанны Р., соблазвившей меня на пляже в Устке; отказ без объяснения причин паспортного стола муниципальной милиции Варшавы выдать мне заграничный паспорт для выезда в Нюрнберг в 1988 году; вырезка из «Газеты Выборчей» с моей студенческой рецензией на выступления Кевина Кеннера^[6] в 1990 году на Международном конкурсе пианистов в Варшаве; первый зуб моей дочери; свидетельство о разводе с ее матерью; выписка из указа о присвоении мне гражданства ФРГ; мой письменный отказ отречься от польского гражданства; подборка моих статей о фортепьянных концертах брата во время его гастролей в Душниках (тогда я называл его, в частности, «тусклой копией постаревшего Иво Погорелича^[7]»); его письмо с отказом от родства со мной; мятый листок бумаги, информирующий об увольнении меня «в дисциплинарном порядке» с должности профессора Музыкальной академии в Познани; выписка из приговора берлинского суда по делу о побоях, нанесенных государственному чиновнику (я всего-навсего не отдавал свой рояль судебному приставу); первая, написанная еще от руки, рецензия, которую я отправил бездарному музыкальному критику Иоганну фон А., впоследствии опубликовавшему ее и другие мои тексты под своим именем; банкнота достоинством 50 евро, которой он оплатил мою первую пробу пера. Честно говоря, перебирая все это, я чувствую себя мазохистом, собирающим доказательства своих унижений, падений, измен и поражений...

Из всей нашей семьи один я родился в Варшаве, хотя именно там произошли все самые важные для нашей семьи события. Когда в Германии мне присылали на подпись документы, где в графе «место рождения» значилось: «Warschau», я вычеркивал это, писал «Варшава» и отсылал обратно с требованием прислать мне документы с исправлениями. Если во

вновь присланном документе вновь фигурировала «Warschau», я выбрасывал его в корзину даже тогда, когда речь шла о деньгах, полагавшихся мне на оплату квартиры. С заявлением направить меня в психушку в Панкове я поступил точно так же.

В какой-то день, мало чем отличавшийся от других, я сбега́л вниз по ступенькам, спасаясь от одиночества, похмелья или чего-то еще, возможно, от наступления очередного утра, сейчас уже не помню. Тогда я постоянно от чего-то убегал. На втором этаже меня остановил почтальон и вручил серый конверт, который я открыл на ходу. На бланке значилось: «Панков», а в самом низу было правильно написано слово «Варшава». Я мог скомкать, порвать и выбросить этот листок или побежать к ближайшему киоску, взять в кредит у знакомого турка небольшую бутылку фруктового шнапса, выпить ее залпом на пустой желудок, почувствовать облегчение, которое дает алкоголь, кое-как дожидаться вечера и обнаружить мятый листок в кармане лишь следующим утром. Но я сразу побежал в Панков, хотя от моего дома до него было десять с лишним километров. Если бы не «Варшава» в соответствующей графе документа, я никогда бы не оказался в Панкове. Но я оказался именно там.

Я не верю в судьбу, но сегодня, думая обо всем, начинаю сомневаться в том, что это правильно. Я прибежал в Панков в нужный день и нужное время: в пятницу второго октября 2009 года, около часа дня. Охранника Хартмута не было на посту, потому что мужчин «регулярный сытный обед спасает от любого недуга», а психолог Аннета как раз закончила ланч и выходила из столовой. После десятикилометрового кросса я, видимо, выглядел впечатляюще, и она пригласила меня к себе в кабинет. Сначала внимательно прочла документ, с которым я прибежал, а потом отошла в дальний угол и сделала несколько телефонных звонков, понизив голос до шепота. И попросила меня показать страховой полис.

С тех пор как начал писать тексты для Иоганна фон А., я перестал быть безработным. Суммы, которые он перечислял на мой счет за то, что называл «консультациями», были слишком велики, чтобы можно было считать их не облагаемыми налогом услугами. С точки зрения немецких социальных служб и налоговой инспекции я сделался предпринимателем, что автоматически лишало меня права на бесплатное медицинское обслуживание. Теперь я должен был оплачивать его сам. Я выбрал частную страховую компанию, которая, как ни странно, была дешевле государственной. А в Германии любой имеющий частную медицинскую страховку автоматически переходит в круг избранных. Это не имеет никакой социальной подоплеки, речь идет о чистой экономике. В связи с

этим у немцев возникли политические и этические проблемы: выходило, что рак простаты у рабочего, не имеющего возможности оформить страховку в частной клинике, лечат иначе, чем рак простаты у капиталиста, который этого рабочего нанял. Те, кто застрахован у частных, умирают или выздоравливают в отдельных палатах с телефоном на ночном столике и беспроводным интернетом, а те, у кого страховка государственная, теснятся в двенадцатиместных. Лично мне все равно где умирать, но для многих это имеет значение. Тем не менее немецкое здравоохранение много лет предпочитает не замечать эту проблему. В Америке все иначе. Там все равны только в момент рождения, а потом, вплоть до самой смерти, «равенство» остается лишь статьей конституции. Американцы относятся к этому спокойно: как бы ты ни был беден, у тебя есть шанс стать богатым, даже если ты родился в пропахшей лизолом больнице в трущобах нью-йоркского Бронкса. А вот европейцев, навсегда сбитых с толку французской революцией, такое положение вещей не устраивает: они считают, что, какими бы ни были у людей мозги, они имеют право на то, чтобы и эти мозги, и все остальные органы и части тела им лечили по высшему разряду.

Не помню, что я ответил, когда доктор Аннета Рёдер вежливо спросила: «Что вас к нам привело?». Это был самый идиотский вопрос, какой можно задать в подобной ситуации. Кажется, я пробормотал что-то о бессмысленности существования, душевном смятении, навязчивых мыслях о смерти. Я говорил искренне. Мне действительно хотелось умереть, потому что жизни я боялся больше, чем смерти. И не было рядом человека, которому я доверял бы настолько, чтобы рассказать о том, что хочу свести счеты с жизнью. Поэтому я туда и прибежал. Аннета выслушала меня, заглянула в мой медицинский полис и вздохнула с облегчением. У меня была частная страховка. Для психушки в Панкове это благая весть. Те, у кого частная страховка, могут выживать из ума сколько угодно и когда им заблагорассудится. В том числе и после ланча в пятницу.

Медсестра отвела меня в комнату на четвертом этаже. Я присел на кровать, и мысль о том, что я оказался тут по собственной воле, привела меня в отчаяние. Я сидел так несколько часов, пока наконец не почувствовал, что проголодался. Отчаяние отошло на второй план. Я спустился на второй этаж, в столовую. Взяв тарелку, на которой лежал кусочек ржаного хлеба и что-то, напоминающее паштет, я присел за столик к мужчине в очках. Тот поднял глаза от книги, внимательно посмотрел на меня, сунул руку в карман и поставил передо мной маленькую баночку горчицы:

— Иначе это есть невозможно. Приветствую вас на борту. Меня зовут Свен...

...Через полгода я вернулся в Варшаву другим человеком.

На вокзале, обычно бурлящем жизнью и заполненном пассажирами, было малоллюдно, и выглядел он весьма непрезентабельно. Центральный вокзал Варшавы, некогда гордость социалистической Польши, напоминал теперь заброшенный склад. И я впервые почувствовал себя там чужаком. Выйдя на улицу, закурил и стал думать, что же мне делать. В родной Варшаве у меня не было дома.

Что я называю домом? После долгих лет эмиграции это понятие стало размытым. Когда меня спрашивают: «Как дома?» — я не сразу могу понять, о каком доме речь: о том, что в Берлине, или о том, что в Варшаве. Что вообще для нас дом: адрес, записанный в паспорте, или место, с которым связаны воспоминания? В какой момент они совпадают? И возможно ли такое вообще?

Квартира в варшавском предместье Мокотов, доставшаяся мне от родителей, давно принадлежала другим людям. Я продал ее за смешные деньги, как уверяли все, кому я рассказал об этой сделке, но тогда эти смешные деньги были для меня спасением от долгов и способом сохранить остатки чувства собственного достоинства.

Теперь мне негде было преклонить голову. В записной книжке не осталось телефонных номеров женщин, готовых приютить, накормить, повесить в ванной чистое полотенце, встать со мной под душ, пустить меня в свою жизнь и в постель, позавтракать со мной, поверив обещаниям, которые я расточал за утренним кофе. Времена, полные отвратительной лжи, давно прошли.

Я сел в такси и попросил отвезти меня в Желязову Волю. Водитель попросил уточнить адрес.

— В усадьбу... — ответил я.

В его глазах мелькнуло удивление, но он не задавал больше вопросов и тронулся с места. В Польше любой таксист знает, что такое усадьба в Желязовой Воле.

Несмотря на ясную и теплую весеннюю погоду, ворота были закрыты. В пасхальный понедельник поляки после утренней службы возвращаются домой к праздничному столу, а потом отправляются в гости к родственникам и друзьям, где снова садятся за стол. Руководству музея-усадьбы в Желязовой Воле известно, что в пасхальный понедельник на Шопене не заработаешь даже в Польше.

Зато в этот день здесь на редкость безлюдно. И тихо. Тишина не

казалась мне парадоксальной: в отличие от многих, я замечал, как много ее в музыке Шопена. А композиторов, способных передать магию тишины, по пальцам перечесть. Я писал об этом в своей дипломной работе. Приезжал из Варшавы последним автобусом, поздней ночью добирался до усадьбы, садился на траву у закрытых ворот и при свете фонаря писал об экспрессии тишины в музыке Фредерика Шопена. А первым утренним автобусом возвращался домой и садился за рояль, пытаюсь воспроизвести эту тишину. И каждый раз испытывал горькое разочарование. Это как в анекдоте про одержимого астронома, который, погуливая по пляжу с группой слепцов, описывал им закат такими словами: «Солнце — это звезда средней величины, которая вырабатывает энергию путем термоядерного синтеза гелия из водорода....». Теперь я понимаю, что если бы признал невозможность описать словами красоту, моя жизнь сложилась бы иначе. Но я долго не отдавал себе отчет в том, что мне следует отказаться от несбыточной мечты, преодолеть зависть и ревность и избавиться от лишних амбиций. Мне хотелось ходить по саду, не замечая сломанной скрипучей калитки, и восхищаться цветником, а выходило, что хоть я и замечал красоту цветов, гораздо больше меня волновала сломанная калитка.

Но и такие, как я, тоже нужны музыке. Правда, я не сразу в это поверил. Меня в том убедила необыкновенная женщина здесь, в усадьбе Шопена. Из всех женщин, которых я сделал несчастными, одна она без упреков, жалоб и претензий принимала мои уходы и возвращения. Я знал, что она меня любит, и не отвечал ей взаимностью. Но все же именно ей, а не той, кого в то время любил, я мог рассказать про свои страхи, слабости, комплексы, восторги, увлечения, сны и самые интимные переживания. Вместе со мной она радовалась, плакала и молчала, не пытаясь испортить наши отношения банальным «я тебя люблю». Она знала, что для меня, да и для нее, это стало бы диссонансом. И лишь один-единственный раз, шесть лет тому назад, в Рождество, которое мы отмечали вдвоем в ее квартире в Кракове, она отважилась попросить о чем-то для себя. Под елкой, в маленькой коробочке, перевязанной черной шелковой ленточкой, я обнаружил кольцо из белого золота. В приложенной к кольцу записке она написала:

Надень это кольцо мне на палец и обручись со мной. На всю жизнь. Или хотя бы на семь дней, после чего я смогу на законном основании вернуть покупку в ювелирный магазин. Подари мне себя на эту неделю. Начни со мной Новый год. Хотя бы один раз. Твоя Иоанна М.

Ночью, после торжественной службы в Мариацком костеле, мы вернулись к ней. Пили вино, слушали колядки, потом Шумана. В перерыве между поцелуями она сказала:

— Поиски сломанной калитки, ведущей в сад, не менее важны, чем восхищение красотой этого сада. Чтобы искать несовершенство в музыке классиков, нужна смелость, а чтобы ее публично критиковать — своего рода героизм. Тех, кто способен разворошить муравейник, мало кто любит, большинство ненавидят. Но есть и такие, кто, несмотря ни на что, их уважает. Тебя, может быть, даже больше, чем других, потому что ты любознательный, у тебя аналитический ум и отличное перо. В музыкальной критике есть немало Сальери, которые много знают и отлично владеют своим ремеслом. И все же ты — Моцарт.

В каждой твоей фразе, кроме умных мыслей, слышатся извинения. А ведь тебе не за что извиняться и нужно гордиться собой, не дожидаясь, пока кто-то оценит тебя по достоинству. Но ты никогда на такое не отважишься. Прости мне резкие слова, но ты столь убежден в своей никчемности, что вызываешь сочувствие. Иногда ты напоминаешь мне, если уж мыслить близкими тебе образами, Горовица, который до конца жизни не мог смириться с тем, что в нем видят исключительно пианиста и не замечают композитора. А ведь среди пианистов он король.

Ты напрасно принимаешь на свой счет обвинения истинных или мнимых виртуозов, которые, брызжа слюной, бормочут себе под нос или орут на весь концертный зал: «И это завистливое ничтожество, этот чертов щелкопер без чести и совести, эта помоечная крыса, лишенная слуха, смеет указывать мне на фальшивые аккорды?! Да кто он такой?! Сам-то он умеет играть хотя бы на губной гармошке?! Если он такой гений, пусть сыграет лучше!»

В этот момент ты чувствуешь себя муравьем, на которого наступил слон, и искренне хотел бы сыграть лучше, чем они. Ты ведь всегда хотел играть, а не писать о тех, кто играет, иначе ты не считал себя вправе судить об их исполнении. Помнишь, как было с продуктами в эпоху дефицита? Кому-то доставался окорок, кому-то — корейка, кому-то субпродукты, а большинство уходило ни с чем. Так же и талант. Не знаю, от кого это зависит, но не каждый его получает, к тому же не всегда у тебя оказывается то, о чем ты мечтал. Но ведь и с пустыми руками ты не остался.

Ты наделен врожденной способностью чувствовать музыку во всем, что тебя окружает. Ты улавливаешь даже те звуки, которых не слышат летучие мыши. Для тебя обычный стук в дверь, скрежет лопаты по

асфальту при уборке снега, позвякивание крышки чайника с кипящей водой и завывание ветра — целый симфонический концерт. Ведь так? Это сродни навязчивой идее. И если кто-то испытывает потребность каждые десять минут мыть руки, ты даже в самых непотребных звуках ищешь свойства ноктюрна. Такой уж ты есть. Для тебя это проклятие, те, чье исполнение ты анализируешь, тебя ненавидят, но для тех, кто ищет в музыке совершенство, ты гений. Ну и что, что ты не можешь сыграть Рахманинова лучше или хотя бы так же, как те, кого ты критикуешь? Ты не по этой части. Ты призван выискивать в их игре скрипы, фальшивые звуки, пропущенные и лишние ноты. И ты их находишь.

Да, тебе бы хотелось играть самому: исполнителям достается слава, их имена появляются на глянцевых обложках журналов и попадают в энциклопедии, а твое набирают мелким шрифтом внизу статьи. Ну и что? Какое тебе до этого дело? Зачем тебе слава? Ведь все эти знаменитости после концерта спешат на приемы, а наутро, страдая от похмелья, нервно вскакивают с постели в роскошном номере отеля, чтобы схватить свежую газету и прочитать о себе. Они боятся как того, что никто о них не напишет, так и того, что о них написал именно ты. Разве это не доказывает, что ты делаешь важное дело?

Она говорила, а я лежал, положив голову ей на колени, захмелев от необыкновенной ночи, от вина, от мурлыканья ее кота, прижавшегося к моему животу, от тепла, музыки, уюта и ласкового прикосновения ее ладоней к моим волосам. Она не сказала ничего нового. Но я наконец-то услышал все это из чужих уст. И главное — от человека, которому безгранично верил.

В тот рождественский вечер она впервые позволила мне прикоснуться к ней и потом уснуть рядом.

Я не надел ей на палец кольца. Оставил его под подушкой. Рано утром, потихоньку собрав вещи, вышел из дома. Поехал на такси в аэропорт и вечером уже слушал праздничный концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра в Венской опере. Ночью, в гостинице, когда писал рецензию, от Иоанны пришло электронное письмо:

Почему ты не поел перед уходом? В холодильнике был твой любимый творог, и редиска, и нарезанный мелкими кубиками красный лук. Так, как ты любишь. И ты забыл свой шарф на вешалке в прихожей. Если там, где ты сейчас, холодно, обязательно купи новый.

Иоанна М.

Р. С. Весь день я привыкаю к мысли о том, что перестала быть

девственницей, не став любимой...

В первое мгновение я потянулся к телефону. Хотел что-то сказать в оправдание. Но не позвонил. Она все равно бы мне не поверила.

Неделю спустя, в Венеции, в состоянии крайнего возбуждения, когда писал на кухне у друзей о «Травиате» Верди, под утро я получил новое письмо:

Новый год ты встретил со мной.

Правда, не так, как я мечтала, потому что тебя нет рядом, но я внушила себе, что разделившее нас расстояние — всего лишь результат сговора географов с геометрами...

Кольцо я ювелиру не вернула: уговорила дать мне кредит, пообещав выплатить его за год. Он согласился.

Я влюбилась в это кольцо и хочу, чтобы оно осталось у меня. В полночь я надела его на безымянный палец правой руки. Оно мое. Когда захочешь, чтобы оно стало нашим, наденешь мне на левую руку. И выплатишь мой долг ювелиру...

Сегодня я повесила в спальне календарь на новый год. У меня всего четыре твои фотографии. Я увеличила их с помощью фотошопа и сделала варианты в цвете, черно-белые и с эффектом сепии. Распечатала и наклеила на листы бумаги с названиями месяцев, ведь с тобой время исчисляется годами. А если повезет, месяцами. Недели и дни не в счет.

Помнишь ли ты эти фотографии?

На первой, сидя у костра где-то на Мазурских озерах, ты играешь на гитаре. Худой, в черном растянутом свитере, из рваного кеда торчит босой палец. У тебя красивые, длинные, загорелые пальцы на руках. И ты похож на человека, который в этот момент постиг смысл жизни.

На второй ты стоишь у рояля. На полу пустые бутылки из-под вина и скомканные листы бумаги. В твоих глазах злость. Никогда больше я не видела таких прекрасных глаз.

На третьей ты прогуливаешься вдоль берега моря. У тебя на плечах сидит маленькая девочка, она крепко ухватилась ручонками за твою шею. Никогда больше я не видела таких счастливых глаз.

На четвертой только твой член. Как-то я спросила тебя в письме, о чем ты думаешь. Ты был то ли в Бостоне, то ли в Филадельфии. Ты ответил, что думаешь об эрекции. Я решила, что ты шутишь, а ты прикрепил к следующему письму эту фотографию. От неожиданности я отпрыгнула от стола и расплескала кофе. До нашей рождественской ночи я

думала, что ты скопировал фото с какого-то порносайта. Но теперь я знаю, что на нем действительно твой член. Я узнала бы его в любом виде. Даже с закрытыми глазами и на вкус...

Твой эрегированный член украшает февраль, май, август и декабрь.

Правда, я немного прикрыла его кусочками ткани, отрезанной от твоего шарфа (не беспокойся, я купила тебе еще один, такой же, и он ждет тебя на вешалке в прихожей). Мне не хочется, чтобы Агата, моя подруга, которая иногда коротает со мной вечера, а когда много выпьет, остается ночевать, рассматривала то, что ей не принадлежит. Потому что эти фото принадлежат только мне! Иногда я открываю календарь на майской странице (там ты в цвете), раздеваюсь, ложусь на кровать и предаюсь сексуальным фантазиям. Глаза у меня широко открыты. Мне достаточно в определенный момент на мгновение дотронуться до одного местечка, чтобы я сначала улетела куда-то, а потом истекла влагой. Мои гинеколог и дантист говорят, что у меня что-то не в порядке с нервными окончаниями. Им и в голову не приходит, что я живу в воздержании, потому что один думает, что если ты следишь за гигиеной ротовой полости, значит, часто целуешься, а второй убежден, что если ты ставишь себе спираль, то боишься забеременеть. Но если бы я следовала их логике, то оказалась бы в чьей-то постели. А я боюсь, что, закрыв глаза, тут же увижу тебя. И когда открою их, тоже увижу тебя...

Твоя Иоанна М.

Последние шесть лет Иоанна постоянно была со мной. Если в ее жизни случалось что-либо важное, она немедленно рассказывала мне об этом. Я знал о ней больше, чем о своей жене. Знал, что она защитила кандидатскую по истории искусств в Ягеллонском университете, переехала в Варшаву, отправилась на два года в Париж, чтобы стажироваться в музее «Орсе», у нее случился выкидыш, в Барселоне она вышла замуж, после развода сбежала на год в Монголию, вернулась в Краков и «стала счастливой, но не слишком состоявшейся в жизни учительницей польского языка в одном из лицеев Новой Гуты». Последнее письмо она прислала несколько недель тому назад. Я прочел его в Панкове. Она писала:

Не хотела тебе говорить, но у меня случились «дни», и, видимо, поэтому мне очень плохо. И потом, я сегодня слишком много выпила. За последние годы я успела рассказать тебе обо всем, даже о том, что поссорилась и помирилась с соседкой и что мой молодой сосед повесился на люстре, что я прочитала «Мать Иоанна от Ангелов»^[8], а тетя вспомнила

обо мне через тридцать пять лет и прислала посылку. Я отнесла посылку в детский дом, но тетя об этом никогда не узнает. Ты не знаешь только того, что недавно в гостях у Агаты мы с ней здорово выпили и сыграли в «бутылочку» на раздевание. Крышу нам снесло серьезно, особенно если учесть, что мы были с ней вдвоем. С тех пор я не пью, потому что меня все время так и подмывает раздеться, а окружающих уверяю, что не пью из-за проблем с сердцем. Тебе я никогда не врала и сейчас не буду. За последние несколько лет тебя я раздевала тысячи раз и столько же раз одевала, наряжала, как елку к Рождеству. Ты помнишь нашу елку? Я целовала твой живот и не только живот, занималась с тобой любовью, спала с тобой в обнимку в постели, валялась на полу, целовала тебе кончики пальцев на руках и ногах, подсчитывала твои мимические морщинки, наворачивала с тобой кровяную колбасу с квашеной капустой и вылизывала твою тарелку, и чаще чем нужно произносила твое имя, называла «мой дорогой» и словно нечаянно обливала вином. И мне за это не стыдно. Представляешь?! Мне это даже нравится.

Но может, мне следует писать тебе о том, как я чищу картошку, а не о том, как хочу тебя?

Сегодня ночью я перечитала все свои письма, в том числе неотправленные. Такие тоже есть. Сейчас я не жду мужчину. Он мне не нужен. Я предпочла бы ждать возвращения из школы дочери. Нашей дочери... Иногда, проснувшись утром, вместо того чтобы встать, мне хочется упасть на колени. Или бежать за чем-то на край света. Но это ведь никому не нужно. Интересно, с тобой такое бывает?

Было время, когда мне трудно было с этим справиться. Так случилось, что мой дом в Новой Гуте стоит между костелом и вино-водочным магазином. Я решила, что это не козни коммунистов, а послание. Спустя несколько месяцев, когда перестала покупать дорогое вино и перешла на дешевую водку, я поняла, что, выходя из дома, мне следует повернуть не налево, а направо. К костелу. Посидеть там, вслушаться в тишину, задуматься о мимолетности бытия и смысле жизни. Но не обратиться в веру. В костел вечерами иногда приходил старый больной священник, чтобы исповедать всех желающих. Однажды мне стало его ужасно жаль: он сидел там совсем один. Я подошла к исповедальне, встала на колени и заговорила.

Не знаю за собой других грехов, кроме того, что не верю в Бога. Я никого не предаю, не краду, не прелюбодействую, я не делала аборт, не принимаю наркотики, пью (в последнее время) умеренно, не произношу имени Господа всуе. Я всего лишь не праздную святые дни, не молюсь и

мастурбирую, а разве это грехи? Я хотела поговорить со священником, а он, видимо в благодарность, — отпустить мне грехи. Но из этого ничего не вышло, потому что я не считаю себя заблудшей овцой и не собираюсь исправляться. Он вдруг улыбнулся мне и сказал, чтобы я больше не приходила, потому что мои грехи — не грехи, а сплошная скука...

Надеюсь, это письмо затеряется среди других. А если не затеряется, не читай его. Я пьяна и давно не занималась любовью. Наверное, я ненормальная... Но я твоя.

Иоанна М.

Р. С. И не снись мне так больше, прошу тебя! Не потому, что это неприлично, а потому, что мне потом не хочется просыпаться...

Я распечатал это письмо на принтере и время от времени перечитывал. Вот и теперь, у безлюдной усадьбы в Желязовой Воле, я снова его перечитал. А потом гулял, прикасаясь к цветам, что пробивались сквозь решетку сада. Мной вдруг овладело неодолимое желание чувствовать музыку во всем, что меня окружало. Я ловил отдельные звуки, глядя на воробьев, сидевших тут и там на ветвях деревьев. И на сучья в досках. Я расставлял желтые нарциссы, льнувшие к еще холодной земле, на невидимых линиях нотного стана. И все звучало. Тюльпаны, подснежники и примулы превращались в мелодию. Я шел вдоль ограды парка и читал ноты. Из головок нарциссов составлял букеты, а из них рождались ноктюрны... Нет, Иоанна М. неправа. Я действительно болен.

В свое время я спорил об этой моей болезни с молодым продвинутым нейробиологом, выпускником Гарварда, поляком по происхождению, который с рождения жил в Мельбурне, куда его привезли эмигрировавшие из Польши родители. Предметом его профессиональных интересов был головной мозг, работу которого он пытался объяснить исключительно на молекулярном уровне. Он считал, что не смог бы ничего добиться без музыки, и занялся проблемой ее восприятия человеческим мозгом на уровне прохождения электрических сигналов через синапсы и химических реакций, сопутствующих этим прохождениям. Он уверял, что активность мозга, обрабатывающего музыку, напоминает ту, что отмечается при мистических переживаниях. Поэтому, с его точки зрения, нет ничего удивительного в том, что почти все религиозные и спиритические обряды сопровождаются музыкой, пением, а иногда и ритмичными танцами. Причем во всех культурах: как у бушменов Ботсваны и Намибии, так и в западной цивилизации. Восприятие музыки отражают линии энцефалограмм и изображение на экранах томографов при сканировании

мозга людей, слушающих музыку. В его возбужденных участках возрастает концентрация дофамина, что считается гормоном счастья. Электрическая и химическая активность мозга в значительной мере зависит от характера музыки, и в первую очередь от ее ритма. При прослушивании бравурных фрагментов Четвертой симфонии Чайковского томографы показывают один результат, а когда звучит спокойная, почти убаюкивающая Шестая симфония Малера — совсем другие. Об эмоциональном, с точки зрения эволюции самом раннем, биологически присущем, а не благоприобретенном, происхождении участков головного мозга, возбуждаемых музыкой, свидетельствует тот факт, что лица, в результате кровоизлияния в мозг утратившие способность говорить и понимать сказанное, не утрачивают музыкальных способностей. Советский композитор Виссарион Шебалин, который из-за кровоизлияния в мозг утратил способность говорить, сочинял музыку до конца жизни, и его Пятая симфония, законченная незадолго до смерти, как говорили, вызвала восхищение у самого Шостаковича.

По мнению молодого нейробиолога из Мельбурна, еще более показателен случай, когда женщина после трепанации черепа не могла отличить одно музыкальное произведение от другого, но уверяла, что музыка делает ее счастливой. Врачи подключили ее к всевозможным приборам и дали прослушать различные музыкальные произведения: быстрые, медленные, в миноре, мажоре и так далее. Физиологическая реакция этой женщины на музыку была как у здорового человека.

Мы сидели в дублинском баре, и молодой австралийский специалист в области мозга старался убедить меня, что моя болезнь по сути не болезнь. Просто некоторые участки мозга сформировались у меня иначе, чем у других людей, и по-своему реагируют на возбуждение. «У вас, — пошутил он, — музыка открывает больше рецепторов, чем, скажем, опийные эндорфины, активизирующиеся при физическом контакте людей». Словом, музыка заводит меня сильнее, чем секс или сигареты. Но это не болезнь — во всяком случае так он считал, — а «подарок эволюции».

Я ходил вдоль изгороди усадьбы, рассаживал на нотном стане моей лимбической системы цветы, пытаясь понять, почему именно музыка Шопена открывает у меня больше всего рецепторов...

Вечером на автобусной остановке на главной площади городка Желязова Воля я уселся на деревянную скамью, на противоположном конце которой громко читала молитву старушка, время от времени отвлекаясь на собаку, увлеченно копавшую ямку на дорожке, ведущей на остановку. Минуту спустя подъехал пустой автобус. Собака вспрыгнула на скамью

рядом со старушкой и громко зарычала. Я встал у открытой дверцы автобуса, собираясь пропустить ее вперед. Но старушка, не вставая, улыбнулась, перекрестила меня, словно благословляя на дальнюю дорогу, и вновь завела свою молитву.

Поздним вечером на Центральном вокзале Варшавы я сел в поезд.

В купе, кроме меня, был лишь мужчина, сидевший у окна, хотя девушка-кассирша на вокзале уверяла меня, что «сидячие места в экспрессе на Краков остались только в вагоне первого класса». Обычно я путешествую вторым классом. Там тесно и не всегда хорошо пахнет, зато люди интереснее.

Я уселся в углу, развернул газету и вдруг услышал:

— Извините, что позволил себе вас побеспокоить. Не могли бы вы сказать мне, чем так благоухаете?

В первый момент я не мог оправиться от удивления. Уже второй мужчина за последние два дня задает мне этот вопрос!

— Мой вопрос показался вам неуместным?

— Бог с вами! — ответил я. — Просто не далее чем вчера такой же вопрос мне задал в Берлине таксист-египтянин. И когда привез меня на вокзал, оставив на парковке машину, побежал в парфюмерный магазин. Я пользуюсь этим одеколоном так давно, что сам-то запаха уже не чувствую, — добавил я. — А вы разбираетесь в запахах?

Мужчина не ответил. Я присмотрелся к нему, безуспешно пытаюсь вспомнить, кого он мне напоминает. Он был одет в элегантный серый костюм и черную рубашу с серебристыми запонками на манжетах. На ногах черные, до блеска начищенные туфли, на шее — длинный шарф цвета маслин. Рядом на сиденье стоял коричневый кожаный саквояж. На среднем пальце левой руки, лежавшей на раскрытой книге, поблескивал золотой перстень с огромным рубином. Когда поезд въехал в тоннель и свет на мгновение погас, у меня перед глазами все еще сверкали его запонки.

— Не знаю, можно ли это так назвать, — ответил он, когда поезд выехал из тоннеля, — скорее, я имею доступ ко множеству разных запахов. Но с таким, как ваш одеколон, еще не сталкивался.

— Да, он оригинальный, с ярко выраженной мужской нотой... — заметил я с улыбкой.

В этот момент открылась дверь. Официантка вагона-ресторана принесла положенные для пассажиров первого класса бутерброды, спросила, что будем пить. Мы попросили кофе. Мужчина поставил коричневый пластиковый стаканчик на столик у окна, снял шарф, педантично сложил его и спрятал в саквояж. Я поднял взгляд от газеты,

чтобы спросить, какую профессию он считает своим призванием, и не поверил своим глазам, увидев белый воротничок католического священника. Я замер, молча наблюдая, как он подносит к губам стаканчик с кофе. У него был точно такой же профиль, как у Константина! Такие же впалые щеки, низкий лоб и пухлые губы. Стараясь совладать с собой, я сказал, что выйду покурить. Он удивленно посмотрел и ничего не ответил.

Выйдя в коридор, я опустил окно и высунул голову, закрыв глаза и широко раскрыв рот. Струя холодного воздуха разметала волосы, ворвалась в горло. Сквозь стук колес я словно бы слышал голос Свена, который, стоя на куче угля, закашлявшись, спросил: «А ты, Струна, ты-то почему здесь оказался?»

Дверь купе открылась, и попутчик спросил, все ли в порядке. Я молча кивнул и удалился в тамбур.

Не знаю почему, но когда Свен неожиданно задал свой вопрос, я заговорил. И вовсе не потому, что был под кайфом. Видно, пришло время выговориться. Не перед врачом и не перед группой занимающихся психотерапией. Свен, с его страданием и отчаянием, показался мне единственным, кто имел право все услышать. К тому же у меня был день рождения...

После концерта — а это было в начале сентября 2001 года — в костеле монастыря Эбербах в Эльтвиле, я дождался, пока зал опустеет, и, оставшись один, стал выкрикивать по-польски какие-то глупости, чтобы услышать многократное эхо, какое якобы есть только здесь. Зодчие, видно, были гениальными музыкантами. В противном случае это место не обладало бы такой магией. Жаль, они унесли в могилу свою тайну. Тут даже жужжание колибри отозвалось бы эхом.

Я прилетел из Берлина во Франкфурт-на-Майне. В аэропорту меня встретил священнослужитель. Я не знал, ксендз или монах, я тогда в том не разбирался. Его звали Константин, и это именно он затащил меня на концерт в Эбербах. В письме, которое я получил от него из немецкого епископата, он представился покровителем талантов и всячески превозносил никому не известный камерный оркестр из Майнца. Константин считал, что концерт этого оркестра в Эбербахе может стать музыкальным событием, а мое «бесценное, квалифицированное, благосклонное мнение» о нем «выведет группу талантливых исполнителей на орбиту современной немецкой, а возможно, и мировой камерной музыки». Мне не нравилась его патетика, но он засыпал меня письмами, и я согласился, поскольку никогда не был в Эльтвиле-на-Рейне, в

прославившемся благодаря культовому фильму «Имя розы» монастыре цистерцианцев. К тому же у меня как раз выдался свободный уикенд.

Концерт не стал событием, как на то рассчитывал Константин, но все же это было неплохо, в большей мере благодаря акустике и мистической атмосфере монастырского храма, нежели музыкантам. Стоя после концерта в центральном нефе церкви и вслушиваясь в эхо собственных выкриков, я заметил, что ко мне идет Константин, а с ним молодая женщина. Я узнал ее, она очень профессионально исполнила сольную партию в Концерте для виолончели с оркестром Арама Хачатуряна.

Она была единственной женщиной в оркестре и вышла на сцену в слишком смелом для монастыря длинном черном платье с декольте и высокими разрезами на юбке. Светлые волосы были собраны в пучок, открывая гибкую шею. У нее были огромные глаза, высокий лоб и резко очерченные скулы. Когда стихли аплодисменты, она широко раздвинула ноги, поставив между ними виолончель, которая натянула подол платья, обнажив бедра. Надо сказать, что по соображениям морали раньше на виолончели играли только мужчины. А в начале XX века немногочисленные женщины-виолончелистки держали инструмент не между ног, как принято сейчас, а сбоку. Я убежден, что у мужской половины слушателей от того концерта останутся в памяти лишь бедра виолончелистки. Особенно у тех, кто сидел в передних рядах.

Первым подошел отец Константин. Женщина остановилась на некотором отдалении и, когда шаги священника стихли, сложив руки в молитвенном жесте, запела:

*И когда за мной придет часовщик, что чинит свет,
Чтоб замутить в голове моей безоблачную голубизну,
Я буду светел и готов ко всему,
Сквозь меня навывлет пройдут все эти дни,
Погаснут земля и небо,
Но я взгляну еще раз...*

Я почувствовал, как мурашки побежали по спине. И подошел. Вблизи, с распущенными волосами и нежным девичьим бархатом розовых щек, она оказалась еще прекрасней. Касаясь теперь ладонями моего лица, она пела:

*Сквозь меня навывлет пройдут все дни,
Погаснут земля и небо,*

Но я взгляну еще раз...

Когда стихло эхо, я прошептал:

...и уйду навсегда, сам не зная куда...

Она поклонилась, как девочка, прочитавшая гостям стихотворение, и начала говорить. Без остановки, не переводя дыхание, словно боясь, что ее могут прервать: — Меня зовут Изабелла, но это неважно. Я слышала вашу гитару. Если бы госпел родился в Польше, он начался бы с этой песни, согласны? У вас такие грустные глаза. Я знаю... мне далеко до Ростроповича. Но я очень старалась. У вас такие мягкие губы. Вы останетесь с нами? Выпьете со мной, то есть с нами, чаю? Когда вы последний раз были в Польше? Я полька. Меня зовут Изабелла. Или я это уже говорила... Я слушала ваши лекции в Познани. Приходила за час до начала, чтобы занять место. Все студентки были в вас влюблены. Вы так чудесно рассказывали про музыку. И этот белый рояль посреди актового зала... Вы садились за него, чтобы проиллюстрировать свои слова. Никогда не забуду, как вы сравнили японцев, исполняющих Шопена, с математиками, решающими уравнение. А потом исписали всю доску какими-то формулами из работ Эйнштейна и исполнили их на рояле. В вашем Эйнштейне было больше Шопена, чем у японцев. Я помню вас и по студенческому клубу, куда вы порой заглядывали. Чаще всего к полуночи. Или позже. Вы пробирались сквозь толпу танцующих, подходили к бару и заказывали «Гиннесс». Клуб располагался в общежитии, где вы останавливались во время приездов в Познань. Позже я подрабатывала там официанткой, и девчонки рассказывали мне о ваших неожиданных появлениях. Через пятнадцать минут музыка стихала, и на сцену ставили стул. Потом кто-то приносил гитару. Потом микрофон. Потом второй. Наконец рядом со стулом появлялся ящик «Гиннесса». И клубный диджей произносил ваше имя. Наступала тишина. Вы садились на стул, настраивали гитару и начинали петь. Окуджаву, Кинга, Высоцкого, Качмарского^[9], Клэптона. Вы никогда ничего не говорили. Никто не знал, когда вы закончите. Но обычно последней вы пели песню Возняка^[10]. А когда вы декламировали: «...я буду светел и готов к тому...», и весь зал в исступлении орал: «И сквозь меня навывлет пройдут все дни...» — вы молча уходили. Знаете, люди плакали, когда вы клали на пол гитару и,

опустив голову, чтобы скрыть слезы, спускались со сцены. Я тоже плакала. А сейчас вы здесь. Так близко. Меня зовут Изабелла.

Она замолчала, и когда я, не говоря ни слова, сжал ей руки, добавила шепотом:

— Но я, кажется, это уже говорила, да?

Так я познакомился со своей женой...

В то воскресенье я не вернулся в Берлин. Я отменил все договоренности и лгал редакторам газет, ожидавшим мои рецензии, что серьезно болен. В некотором смысле это была правда. Чем еще, если не болезнью, объяснить тот факт, что я ослеп, оглох и разучился рационально мыслить? А еще потерял ощущение времени и был безмерно счастлив. Так ведут себя только сумасшедшие, правда, Свен?

Неделю спустя мне надоело видеть, как ухмыляются служащие отеля, когда мы с Изабеллой спускаемся на завтрак, и я перебрался в ее маленькую квартирку на Одерштрассе. Мне хотелось постоянно быть рядом. Быть там, где она, среди предметов, к которым она прикасается, запахов, которые ощущает, видов, которые наблюдает. Я потерял голову. Пока, отправившись утром в консерваторию, она не возвращалась ко мне, я просто бродил по городу. А переехав к ней, слонялся по комнате. Я не мог работать, был не в состоянии даже читать, любой звук казался мне грохотом. Мне претило даже присутствие отца Константина, который, считая себя причастным к происходящему, периодически появлялся, чтобы скрасить мое ожидание. Его присутствие меня раздражало. Мне хотелось либо думать и скучать по Изабелле, либо быть с ней. Все остальные были лишними. Я хотел думать о ней в одиночестве и полной тишине. Только так мне хватало терпения дожидаться ее возвращения.

В субботу, поздним вечером, ровно через две недели после концерта в монастыре, я попросил Изабеллу стать моей женой. Я помню ее вздох и отзвук внезапно наступившей тишины. И странный взгляд. Сначала полный страха, потом умиротворения и наконец радости. Я помню ее поцелуи и шепот той ночью. Они были другими, не такими, какие я уже знал.

Я летал из Берлина во Франкфурт с не меньшей регулярностью, чем пилот «Люфтганзы». У Изабеллы был контракт с консерваторией, и она не могла переехать в Берлин. А я не мог так быстро, как хотел бы, разобраться с делами и переехать в Майнц. Однажды в пятницу в марте 2002 года я прилетел во Вроцлав. Изабелла приехала туда на машине с Константином. В субботу, в маленьком костеле в деревне Бытово под Щецином, нас обвенчали два священника: отец Владислав провел службу по-польски,

отец Константин — по-немецки. Год спустя в том же костеле они крестили нашу дочь. Это место было выбрано не случайно: в Бытово родилась моя мать.

После появления на свет Добруси я перестал понимать, почему Изабелла, словно прикованная кандалами, держится за свой Майнц. Мне хотелось, чтобы жена и дочь были со мной не только в выходные или во время отпуска. Я устал метаться между Берлином и Майнцем. Мне удалось найти вполне приличный оркестр в Берлине, нуждавшийся в виолончелистке, и, что не так уж и трудно, польскую няню, чтобы Добруся научилась говорить по-польски, а еще — большую квартиру недалеко от метро. Наконец, я пообещал Изабелле, что постараюсь меньше путешествовать. Но все это потеряло значение, когда в Милане, на приеме после концерта, директор местного симфонического оркестра спросил, не могу ли я порекомендовать ему хорошую виолончелистку. Талантливая украинка, игравшая у них четыре года, забеременела и решила вернуться в Киев. Начиная с нового сезона, ее место освобождалось. Я предложил ему поехать со мной в гостиницу. Он согласился. У себя в номере я поставил ему диск с фрагментом выступления Изы во франкфуртском театре «Альте опер» год тому назад. Лучшего на тот день. Он был восхищен и спросил, как дорого стоит синьора. Я ответил, что дорого, но она склонна к компромиссам. Он спросил, откуда я это знаю. Я ответил, что она мать моей дочери, и я могу гарантировать, что она не забеременеет в течение ближайших четырех лет. Он улыбнулся и сказал, что завтра будет готов контракт, включающий оплату проживания в Милане. На четыре года. С возможностью продления. Я был счастлив, но старался это не показать. Я давно знал, что при встрече с директорами оркестров и оперных театров следует непременно демонстрировать что-то вроде пресыщенной скуки. Тогда в самых важных параграфах появятся совсем другие цифры.

Изабелла часто говорила, что хотела бы жить в Италии. Правда, Милан не Тоскана, но не всё сразу. Через Рим, Цюрих и Мюнхен я полетел с пересадками во Франкфурт. А оттуда на такси добрался до Майнца. Когда подъехал к дому, уже светало. Я не чувствовал усталости, возбужденный замечательной новостью, которую собирался сообщить Изабелле. И предвкушал, как Добруся повиснет у меня на шее. Войдя в квартиру, я снял ботинки и как можно тише открыл дверь. Не включая свет, через гостиную прошел на балкон. Я знал, что дверь, ведущая в спальню с балкона, открыта. Изабелла спала с открытым балконом даже в мороз. В спальне на маленьком столике горел ночник. Изабелла панически боялась пауков и темноты, и мы всегда спали при свете. Я приблизил лицо к оконному

стеклу. Изабелла, подняв вверх руки, ритмично поднималась и опускалась, сидя с раздвинутыми ногами на бедрах мужчины. На матрасе, рядом с кроватью, в розовой пижамке спала Добруся, посасывая палец. Рядом на ковре лежали брюки и черная рубашка с белым накладным воротничком, какие носят священники. У меня в горле встал ком. Я сжал кулаки, резко отпрянул и сел в цветочный горшок. Через минуту взял себя в руки и вновь подошел к окну. Мужчина, широко расставив ноги, стоял у кровати над спящей Добрусей, и вставлял свой член в раскрытый рот Изабеллы. Меня вырвало. Вместо того чтобы закричать, ворваться в комнату и набить морду сопернику, я тихонько блевал на балконе собственной квартиры рядом со спальней, в которой минуту тому назад сперма крестного отца моей дочурки брызнула в рот моей жены. Мне было стыдно: если кто-то не может удовлетворить свою женщину, это делают другие...

Но вскоре я очнулся и вернулся в прихожую. Надел ботинки и вышел. В аэропорт я доехал на автобусе, а оттуда улетел в Берлин.

Два года я отстаивал в суде право видеться с Добрусей на том основании, что являюсь ее биологическим отцом, который к тому же регулярно платит алименты. Еще через год выяснилось, что я вовсе не биологический отец. К письму была приложена заверенная судом копия анализа ДНК из какого-то института в Гамбурге. Спустя еще полгода я прочел выписку из нотариального акта, предоставленного суду в Майнце. Меня информировали, что «имя ошибочно рассматриваемой вами в качестве дочери Доброславы Марии на основании записи в актах гражданского состояния номер 18-IKW10-10-2005 было изменено на Констанция Аннелизе по согласию обоих биологических родителей. Вы имеете право подать апелляцию на это решение в течение...».

— Я не подал апелляцию, Свен. Предпочел сойти с ума. Так я и попал в Панков.

Свен стоял передо мной, заткнув пальцами уши. Не знаю, в какой момент он перестал меня слушать: я говорил, закрыв глаза.

Вдруг я услышал голос:

— Извините, здесь нельзя курить...

Я открыл глаза. Молодая контролерша улыбнулась, грозя мне пальцем. Когда она прошла дальше, я снова закурил. А в купе вернулся только тогда, когда поезд прибыл на вокзал и все пассажиры покинули вагон.

Москва, 4 апреля, воскресенье, поздний вечер

В аэропорту Анну встречал водитель Сергея.

«Чему удивляться, — подумала она, — это даже к лучшему! Цинизм — удел слабых».

Молча кивнув Анне, водитель взял сумки у нее и у Марины Петровны и зашагал к машине. Анну не покидало ощущение, будто в Берлине она осознала что-то важное для себя, но усталость мешала ей это осмыслить. По дороге она дремала и проснулась лишь на секунду, попрощаться с Мариной Петровной.

— Чудесная была поездка, правда Анечка? — грустно улыбнулась Марина Петровна. — И почему все хорошее так быстро заканчивается? — и она медленно побрела к обшарпанному подъезду, так диссонирующему с ее нарядной шляпкой.

Водитель донес сумку Анны до квартиры и так же беззвучно, кивком, попрощался. «Не человек, а рыба», — мелькнуло в голове.

Дверной замок щелкнул, отдавшись эхом в гулком пространстве лестничной клетки. Сергей был где-то на севере, там, где электронагреватели особенно необходимы.

Анна удивилась, увидев, что на кухне горит свет. А еще в доме приятно пахло чесноком и какими-то травами. Она глубоко вдохнула, приносясь. Мелькнула мысль, что Сергей сюрпризом приехал и готовит праздничный ужин. Но мысль эту она немедленно отмела как невероятную. Бросив сумку, стремительно прошла на кухню и замерла.

Красивая стройная брюнетка с раскосыми кошачьими глазами обернулась к Анне с улыбкой, не выпуская из рук кастрюлю, которую старательно терла, оттирая темные пятна. Длинный фартук, затянутый сзади, подчеркивал пышную грудь.

— Я не ошиблась адресом? — спросила Анна.

— Вы Анна? — продолжая улыбаться, спросила девушка. — Сергей Валентинович предупредил, что сегодня приезжаете.

— Ах, Сергей Валентинович... Может, объясните, что тут происходит?

— Вы только не волнуйтесь, Анна. Вам чайку налить? — предложила брюнетка с приятным выговором, выдававшим украинские корни.

— Нет уж, сначала объяснения.

— Сергей Валентинович искал домработницу, а я сейчас в свободном плавании, так сказать. Вот и решила попробовать себя в этой роли, если вы, конечно, не против.

«Против чего? — удивилась Анна. — И кого тут интересует мое мнение...»

— Как вас зовут?

— Дарья. Даша, — ответила девушка.

— Красивое имя. Скажите, Даша, а чем так чудесно пахнет? Что вы готовите?

Даша отступила к плите и приподняла крышку над сковородой.

— Это цеппилинай, — сказала она, — только я немного модифицировала рецепт. Вместо того чтобы варить, жарю... Так вкуснее. Вы любите цеппилинай?

— Картофельные котлеты с начинкой из творога?

— Можно и с творогом, — кивнула Даша, — но я начинила их рубленным мясом с чесноком. Подумала, вы же с дороги. Проголодаетесь...

Анна улыбнулась. Забота красивой Даши, специально для нее приготовившей ароматное блюдо, была приятна.

— Знаете что, Даша, давайте-ка выпьем вина. Аперитив. Для аппетита. Я из Германии прекрасное вино привезла, прямо с виноградников. Что скажете?

Она сняла пальто и достала из сумки зеленую бутылку. Даша поставила на стол бокалы и принялась резать глянцевые зеленые яблоки.

— Какие красивые! Как нарисованные.

У Даши были очень белые руки с отличным маникюром. Трикотажное платье струилось по безупречной фигуре. Анна без всякой зависти любовалась законченностью образа.

— Вы ведь в командировке были? — заинтересованно спросила Даша.

— Да, выставку в Берлине открывали, редкие архивные фотографии времен Второй мировой войны. А Берлин просто сумасшедший город. Красивый. Живой. Величественный. Я потом фотографии покажу.

Анна поймала себя на мысли, что присутствие этой симпатичной брюнетки избавило ее от одиночества и пустоты просторной квартиры, отделанной модным дизайнером.

Даша сняла фартук и присела, положив руки на стол. Анна разлила вино.

— За знакомство! — улыбнулась она абсурдности ситуации. «Почему бы и нет, — промелькнуло в голове. — В конце концов, именно поиски истины и создание все новых догм мешают наслаждаться жизнью и

создают этот самый абсурд».

— Я люблю Берлин. Приходилось жить там, — с легкой грустью сказала Даша. — Прекрасная и очень печальная история.

— Знаете, древние говорили, что за все прекрасное приходится расплачиваться.

— Да, примерно так и было.

Щеки Анны порозовели. Она расстегнула жакет, оставшись в легкой маечке, обтягивающей грудь.

— У вас красивая кожа, — тихо сказала Даша.

Анна смутилась, но это замечание оставило приятное послевкусие. Допив вино, открыла дверцу бара, которым так гордился муж, достала первую попавшуюся бутылку.

— Как насчет текилы? Сто лет ее не пила.

— А я вообще не пробовала. Слышала только, что ее с лимоном нужно пить.

— Это точно, важная деталь. Детали вообще вершат судьбу. Из них складывается вся наша жизнь. Даже в любви все может разрушить в одночасье незначительная деталь.

— Самое важное — полюбить себя, — откликнулась Даша. — И простить. Всё, даже самые страшные ошибки.

— Не вспоминать свою историю, а создавать ее, — громко сказала Анна и насыпала соль между пальцев. Взяла ломтик лимона, слизнула соль. Выпила до дна, со стуком поставила рюмку.

— Как же можно не вспоминать? — удивилась Даша. — Нет, надо помнить.

— О чем?

— Ну, к примеру, о том, что существует Человек Равнодушный, которому плевать на твои чувства и амбиции. Его притягивает твое тело, как голодного свежая булка; ему бы зарыться в твою плоть, лицом, ртом, руками, насытиться до отрыжки, а потом — всё. Как отрезало. Словно и не было ничего.

— Равнодушный говорите... — Анна слушала внимательно.

— Да! Ведь как все происходит? Вначале ты им очарована, готова на него чуть не молиться... О Великий Учитель, о Мудрый Наставник, о Продвинутый Мастер, яви мне свое внимание, и буду я счастлива — отныне и до конца жизни! Ка-ак же... До конца жизни! — Глаза Даши засверкали. Она схватила бутылку с текилой, наполнила рюмки. — Несколько недель сожительства — и начинаешь беситься от безразличного «да-да, милая, дорогая, солнышко, конечно!» А что «конечно», он понятия

не имеет, попросту не слушает, не воспринимает, глядит сквозь тебя. Натешился твоей плотью и больше не нуждается в ней, а значит, в тебе. Да, он все такой же великий, мудрый и продвинутый, только никакой не учитель, не наставник, не мастер; и он лишь прикидывался твоим, потому что хотел откусить от тебя кусочек...

— Даша, — Анна погладила девушку по руке. — Даша, я всё понимаю.

— К счастью, не всё! — Даша прикрыла глаза. — Простите. Просто разговоры — о любви, о красавцах-мужчинах... Где они, эти красавцы? Мой папаша, например, напившись до бессознательного состояния, выплеснул матери в лицо таз с кипящим малиновым вареньем. Мужчины...

— Даша! — оторопела Анна. — Что вы такое говорите!..

— Простите. — Даша резко встала, отошла к окну. — Я наболтала тут... лишнего.

— Ничего страшного...

— Вы не подумайте, я не отрицаю любовь. Я очень-очень любила одного человека...

— Да?

— Да. Женщину. Мы познакомились в Берлине. Ваш рассказ заставил меня вспомнить... Хотя зачем я вру?! Будто хоть на минуту забывала... Анна, дорогая! Давайте лучше... потанцуем, например. Отчего бы нам не потанцевать?

— В самом деле...

Анна улыбнулась и направилась к музыкальному центру. Прошло два часа с того момента, как она, зайдя на кухню, увидела перед собой эту девушку, а казалось, знает ее всю жизнь.

— Первый концерт Моцарта, — торжественно объявила Анна.

— Магда тоже любила Моцарта, — тихо сказала Даша.

— Магда? — переспросила Анна. — Какое имя... сильное, я бы сказала.

— Мое любимое, — ответила Даша.

Легко встала, подошла к Анне. Положила ей на бедра свои тонкие руки и начала плавно покачиваться из стороны в сторону. Анна прижалась теплой щекой к ее — прохладной.

Губы Даши чуть касались ее кожи. Анна не чувствовала своего тела, оно казалось ей невесомым и прекрасным.

— А когда вы были счастливы в последний раз? — неожиданно спросила Даша. — Вы знаете, о чем я, такое необъяснимое ощущение... ничем не обусловленное.

Анна отстранилась, задумалась. «Ничего себе домработница... — мелькнула мысль. — Счастье, ничем не обусловленное...» Ответила не сразу: — Позавчера, на дискотеке в Берлине. Веселилась, танцевала и даже кокетничала с музыкантом. Неплохой, кстати, саксофонист. Тогда меня и пронзило острое ощущение счастья, сиюминутного счастья.

— Понимаю, — кивнула Даша. — Когда я увидела Магду в первый раз... ее красивое и беспомощное тело, мне вдруг так захотелось любить ее, целовать макушку, пальцы, волосы... Это было тихое и очень важное для каждого из нас счастье. Именно в ту минуту. Мы ничего не объясняли друг другу и ничего не спрашивали. Просто наслаждались внезапной и прекрасной близостью. — Даша чуть коснулась губами губ Анны.

Звучала музыка.

Чудесные звуки нарушил грубый мужской кашель. В дверях стоял небритый Сергей, скрестив на груди руки.

— Нет-нет, продолжайте, мне даже нравится! Давно не видел тебя такой расслабленной.

Анна почувствовала, что ей сейчас не поможет даже текила.

— Вам помочь собраться, Дарья, — произнес Сергей, — или вы сами сообразите, что пора бы вам выйти вон?

— Зачем ты так!.. — вырвалось у Анны.

— А ты вообще помолчи! — крикнул он и вышел, хлопнув дверью.

Дарья быстро написала что-то на салфетке и тоже вышла.

Анна тяжело опустилась на стул и тут же ощутила ставшую уже почти привычной тяжесть в груди.

Бывают такие дни и особенно утра, добрые утра, когда невозможность очнуться от трех часов тревожного липкого сна нехотая выпадает прямо на апрельскую весеннюю прелесть, свежую траву и даже цветущие крокусы. И в тумане неверного рассвета на лицах, безжалостно освещенных солнцем, явственно читаешь смерть. Она написана на каждом — еще примятом подушкой, с развалами морщин — глубоко, бессильно. Умея прочесть эту палитру, вдруг осознаешь, что все происходит напрасно и зря: и эта единичная необходимость, выкинувшая тебя к ним, сюда; и эта бестолковая, бесполезная и столь отчаянно короткая жизнь, за которую все цепляются обеими руками; и единственный ее смысл, состоящий в том, что никто никогда не в силах понять другого человека.

И в зеркалах этих лиц, всматриваясь, замечаешь собственное отражение, с горечью понимая, что, какую из реальностей ни принять за

точку отсчета, все мы скорее мертвы. Что эта наша жизнь и есть смерть...

Анна отложила дневник и заплакала. Рядом громко храпел Сергей.

Краков, 4 апреля, пасхальное воскресенье, поздний вечер

С вокзала, волоча за собой чемодан, я добрался до барбакана^[11], а затем, узкими улочками Старого города, — до Главной площади. Приближалась полночь, дул ветер, было холодно, на завтра предстоял рабочий день, но на краковском рынке было многолюдно. У входа в «Сукеннице»^[12] ужасно фальшивил длинноволосый саксофонист, окруженный стайкой восхищенных школьников. На цепях, ограждающих памятник Мицкевичу, которого здесь ласково называют Адасем, сидели молодые люди и пили пиво. У ворот, ведущих к Мариацкому костелу, расставили мольберты художники. Крики цветочниц, старающихся пристроить оставшиеся букеты, цокот копыт запряженных в фиакры лошадей. В ресторанах полно посетителей. Краков вовсе не собирался ложиться спать...

Мне нравился этот город. И в какой-то период жизни я даже всерьез собирался сдать свою квартиру в Варшаве, переехать в Краков и поселиться в маленьком деревянном домике в еврейском квартале Казимеж. Я тогда увлекался хасидской и клезмерской^[13] музыкой, а в Польше нет лучше места, чем еврейские ресторанчики краковского Казимежа, где можно послушать музыкантов-клезмеров. Я планировал заняться феноменом проникновения в эту музыку джаза, фолка, рока, регги и даже хип-хопа. Никто тогда об этом и не думал, а мне хотелось защитить на эту тему кандидатскую. Потом я уехал в Берлин, и эти планы утратили для меня всякое значение.

У Кракова, несмотря на толпы туристов и неизбежно связанную с этим коммерцию, была и есть своя аура, способствующая задумчивости и умиротворению. Если Варшава ассоциируется у поляков со спешкой, показухой, расточительностью и ярмаркой тщеславия нуворишей, то Краков — с медлительностью, традициями, культивированием аристократических вкусов, скупостью, историей и самое главное — культурой. Варшавяне охотно приезжают в Краков, чтобы перевести дыхание, а краковяне с удовольствием эмигрировали бы в Варшаву, потому что там легче сделать карьеру и заработать деньги, которых им постоянно не хватает. Правда, настоящий житель Кракова варшавянину в этом никогда не признается. Не случайно местные патриоты желчно говорят, что столицу

Польшу перенесли из Кракова в Варшаву только потому, что в деревне более свежий воздух. Это утверждение, кстати, не лишено оснований — именно в Кракове зафиксированы самые высокие в Польше показатели загрязнения воздуха.

Я был голоден. Последний раз я ел в Панкове — краюху черного хлеба с отвратительным паштетом. Я потянулся к пачке сигарет: утолить голод никотином и кофе вошло у меня в привычку. Процесс поглощения пищи, который когда-то был для меня священнодействием, превратился в малоприятное занятие, почти обязанность. За время пребывания в Панкове, а в клинике наш вес педантично контролировали, я похудел больше чем на шестнадцать килограммов, что странно, потому что антидепрессанты обычно повышают аппетит, ускоряют обмен веществ, а следовательно, вес увеличивается.

Сигарет в пачке не осталось. Идти ужинать не хотелось. Я бы предпочел перекусить, чтобы иметь повод выпить вина. Я занял свободный столик в ресторане близ Мариацкого костела и поставил на соседний стул чемодан. Официант с крашеными волосами, одетый в смокинг, стал нахваливать блюда. Он сыпал незнакомыми названиями: «Кролик с прованскими травами превосходен, бифштекс «Ридберг» — наше фирменное блюдо, «Турнедо на гриле» лучшие в городе, а «Комбер из косули» вообще подают только у нас...» — а когда наконец закончил монолог, я спросил, нет ли у них кровяной колбасы с квашеной капустой и толченым картофелем. Он посмотрел на меня как на дикаря, сменил тон с заискивающего на нагловатый и заметил, что чемодан мне следует оставить в гардеробе, а затем с нескрываемой издевкой сообщил, что в этом ресторане подают четырнадцать блюд из картофеля, но о «толченом» он никогда не слышал. Я ответил, что в таком случае он много потерял, и попросил принести хлеба и карту вин. Несколько секунд он смотрел на меня как на бездомного, явившегося на банкет по случаю вручения Нобелевских премий, но профессиональная выучка взяла свое, и он молча удалился. Вскоре подошла молоденькая практикантка и протянула мне карту вин. Казалось, я должен был выйти из себя, но ситуация, напротив, начала меня забавлять. Я заказал бокал самого дорогого вина. Когда выяснилось, что «вина стоимостью более тысячи злотых за бутылку по вполне понятным причинам не продаются в розлив», я попросил принести бутылку. Девушка на всякий случай повторила, хоть и неправильно, французское название, получила утвердительный кивок, кокетливо улыбнулась и отошла. Крашеный официант в смокинге, как я и ожидал, мгновенно вернулся. Видимо, именно он обслуживал мой столик, и

перспектива выручить четырехзначную сумму, к тому же не привлекая к этому кухню, заставила его вновь принять подобострастный вид. Пока он с благоговением открывал бутылку, практикантка принесла на подносе бокал, корзинку с теплыми ломтиками багета и несколько фарфоровых плошек с экзотическими растительными маслами. Отказавшись от дегустации, я попросил налить мне полный бокал вина и добавил:

— Вино доставит мне гораздо больше удовольствия, если первый бокал наполнит для меня ваша очаровательная коллега. И следующие тоже. Одним словом, я настоятельно прошу вас к моему столику больше не приближаться.

Официант поджал губы и посмотрел на меня с ненавистью. Опережая его комментарий, я торопливо добавил:

— Если вас по какой-то причине это не устраивает, унесите вино и позовите администратора.

Вино было превосходным. С каждым новым глотком я чувствовал, как по телу разливается тепло и блаженство. Уже давно я не испытывал такого умиротворения. Разглядывая в окно ресторана людей, прогуливающих по Главной площади, я украдкой посматривал на парочки за соседними столиками и впервые за долгое время не ощущал одиночества. Меня наконец оставили равнодушие и усталость от мира, который существовал параллельно со мной, не совпадая с моими мыслями и моим страданием. Я не испытывал радости, но и не грустил. Не думал о прошлом и не страшился будущего. Если бы в Панкове на групповом занятии психотерапией я рассказал о том, что теперь чувствовал, Аннета дипломатично заметила бы, «что я сделал большие успехи», а Джошуа издевательски рассмеялся бы, добавив, что будущее — это «выдумка алчных еврейских банкиров, которым нужно, чтобы мы постоянно испытывали страх, а потому это будущее следует по определению посылать к едрене фене». Свен оторвался бы от очередной книги и попросил Джошуа «не нести антисемитские глупости и не материться при женщинах». Магда Шмидтова прошипела бы, что Джошуа ее бесит и его следует гнать из группы, а я, чтобы разрядить обстановку, вежливо спросил бы у профессора Мильке, какое будущее, с его точки зрения, не вызывает опасений. И тогда Джошуа сочно выругался бы на идиш, Свен снова уткнулся в книгу, психолог Аннета притворилась бы, что делает записи, Магда Шмидтова вышла из комнаты, громко хлопнув дверью, а я попытался бы придумать, как выкрутиться из ситуации, которую сам же спровоцировал. В Панкове оптимистический взгляд на будущее всегда вызывал проблемы. Мне следовало это знать.

Но сейчас я не был в Панкове, я медленно напивался в Кракове. И точно знал о будущем лишь один печальный факт: бутылка вот-вот опустеет. Я помнил, что решил никогда не возвращаться в Панков — ни в статусе пациента, ни в статусе «гостя», как это было со мной. Я знал, что нахожусь в пути — еду в Москву, где должен найти русскую лесбиянку по имени Дарья. Следовательно, у меня был план на будущее, правда отдаленное, поскольку ближайшее будущее было мне решительно неизвестно. К примеру, я не знал, где проведу остаток ночи.

В остальном я чувствовал себя вполне комфортно.

Во-первых, у меня не было финансовых проблем. За тексты, которые писал для Иоганна фон А., я получал солидное вознаграждение, и оно все возрастало, независимо от их качества, что объяснялось очень просто: хотя никто из нас никогда не произносил слово «шантаж», мы оба знали, что в один прекрасный день оно может прозвучать. Я слушал концерты, куда он отправлял меня за свой счет, и писал рецензии, которые он под своим именем посылал в малотиражные, но авторитетные немецкие, австрийские, швейцарские и американские журналы. После каждой новой рецензии я презирал себя, как, видимо, и он. Зато его отец, совладелец крупного европейского строительного консорциума, мог гордиться единственным сыном, который хоть и не разбирался в архитектуре, зато стал «истинным знатоком музыки». Иоганн фон А. посредством моих текстов вписывал свое имя в историю рода, возвышая его от презренных бетоноукладочных работ до мировой культуры. Так было во все времена: деньги всегда стремились к аристократизму.

Во-вторых, терять мне было нечего, поскольку я потерял уже почти всё. Честь. Имя. Жену. Дочь. Самоуважение. Надежду. У меня осталась лишь музыка, которую мне довелось услышать, и то, чему я при этом научился. Иоанна назвала бы это «исходным нулевым состоянием с большим потенциалом». Вернувшись после своего бегства в Монголию и начиная все заново, она именно так описывала мне свои чувства. Сделав последний глоток вина в опустевшем ресторане на главной площади Кракова, я понял, что и у меня есть шанс начать все заново.

— И это очень похоже на бесстрашие перед будущим, господин профессор, — пробормотал я себе под нос.

Официантка неверно это расценила. Она подошла ближе и спросила, не желаю ли я еще чего-нибудь. Я попросил принести еще бутылку вина, выписать счет и вызвать такси.

— И не открывайте, пожалуйста, бутылку, — добавил я.

Точного адреса Иоанны я не знал. Но когда сказал таксисту, что хочу

найти в Новой Гуте «жилой дом, расположенный между вино-водочным магазином и костелом», он тут же понял, что я имею в виду. Новая Гута — район Кракова. Один из самых больших и, по мнению некоторых, самых некрасивых. Когда-то это был город, заложенный в конце сороковых годов прошлого века, центр польской металлургии с легендарным сталелитейным заводом имени Ленина. Социалистический молох, построенный с нуля. Сталинская монументальность Центральной площади в сочетании с уродством «новых» корпусов, в которых жил рабочий класс социалистической Польши, а теперь обитают те, у кого нет денег, чтобы поселиться в элитных домах.

Таксист привез меня в район с символическим названием Стекланные Дома. Так можно было назвать их только в насмешку — или в силу искренних заблуждений, как это было с героем романа Жеромского «Канун весны» Северином Барыкой, который рассказывал сыну о стеклянных домах как символе богатой и справедливой Польши.

В том доме было несколько подъездов. Я начал с ближайшего к магазину, читая фамилии жильцов на покореженных ржавых табличках. Та, что я искал, нашлась в третьем подъезде, в последнем ряду. Кнопку нажимать не пришлось — кто-то выходил, и я, воспользовавшись, проскользнул внутрь. Вначале я поднялся на последний седьмой этаж, а оттуда, спускаясь, читал фамилии жильцов на латунных табличках. На пятом этаже с левой стороны от лифта я обнаружил ее фамилию. Мне стало не по себе, я не решился нажать кнопку звонка, испугавшись, что перебужу весь дом, и тихо постучал. Минуту спустя повернулся замок. Меня на мгновение ослепил свет в прихожей. Женщина в халате, стоя на пороге, поднялась на цыпочки, как балерина, протянула руки и прикоснулась к моему лицу.

— Ты похудел... — прошептала она, глядя мне в глаза.

И стала ощупывать мое лицо. Тщательно, медленно. Как слепая. И улыбалась. Она нисколько не удивилась моему появлению — без предупреждения, через шесть с лишним лет — как будто это было нормально. Как если бы она меня ждала. Я стоял на пороге, не силах выдать ни слова. Через минуту она вытерла слезы, схватила меня за руки и втащила в квартиру. Я услышал звук захлопнувшейся двери и жалобное мяуканье кошки. Иоанна провела меня в комнату, усадила на диван и исчезла в прихожей. Кошка тотчас вскочила мне на колени и замурлыкала. Я почесал у нее за ушами. Это была та самая кошка. На шесть лет старше, в два раза толще, а мурлыкала она точно так же, как в ту памятную рождественскую ночь. Время словно остановилось.

Я осмотрел маленькую уютную комнату. Кожаный местами потрескавшийся диван, стол из грубо обработанной древесины, стены плотно заставлены книжными полками, на ковре раскрытые газеты, письменный стол завален школьными тетрадями, на подоконнике ноутбук с подмигивающим экраном, на маленьком инкрустированном столике рядом с батареей кружка недопитого чая, у дверного косяка — открытый скрипичный футляр, заполненный банкнотами и монетами, на полке серванта, среди фарфоровых чашек, рамки с фотографиями улыбающихся пожилых людей, выстланная соломой плетеная корзинка с разноцветными писанками и сахарными агнцами... Я вспомнил, что забыл чемодан на лестничной клетке, и вскочил. Проходя мимо двери в ванную, услышал испуганный голос:

— Надеюсь, ты не исчезнешь сейчас еще на шесть лет? Останься хотя бы до утра. Прошу тебя...

Я остановился и толкнул ногой дверь ванной. Иоанна стояла голая перед зеркалом и сушила феном волосы.

— Я забыл чемодан у двери. Там вино. Я не исчезну, — сказал я, — никуда не исчезну... — вошел в ванную и поцеловал ее. — Теперь я не исчезаю, как раньше. Теперь бегут уже от меня, — добавил я шепотом.

Иоанна положила фен на пол. Сняла с меня пиджак, расслабила брючный ремень, медленно расстегнула пуговицы рубахи. Оставив меня полураздетым, встала под душ. Я почувствовал, что кошка трется об мои ноги, наклонился и выставил ее за дверь ванной комнаты. Она зашипела и глубоко, до крови, поцарапала мне запястье. Торопливо раздеваясь, я оставлял следы крови на рубашке и брюках. Еще минуту я слышал, как кошка царапает когтями дверь. Потом шум воды заглушил все звуки...

Утром кошка разлеглась между Иоанной и мной и шершавым язычком лизала мне ранку на запястье. Когда зазвонил будильник, она сорвалась с места, прыгнула с кровати и поспешила на кухню. Иоанна прижалась ко мне и, целуя в плечо, прошептала:

— Хорошо, что ты есть. Я так скучаю по тебе. Даже сейчас...

Она встала и ушла на кухню, а перед уходом разбудила меня и, склонившись надо мной, сказала:

— Тебе повезло. Чемодан не украли. Он в прихожей. Кофе в кухонном шкафчике на второй полке снизу. Творог в холодильнике. Не давай ничего кошке, даже если она будет умолять тебя человеческим голосом. Она очень хитрая. Если не сможешь остаться до вечера, не забудь шарф. Он на вешалке в прихожей...

Я не все понял спросонья. Хотел ответить, что если она позволит, я

останусь, и что это невероятно, что она помнит про творог, а еще — что ближе нее у меня никого нет, и что вечером...

Но я ничего не успел сказать. Она ушла.

Я вышел на балкон и закурил. Кошка просунула голову сквозь металлическую решетку ограждения. Я испугался, что она упадет, но тут же понял, что она слишком толстая, не пролезет. Она нервно мяукала, поглядывая на пролетающих птиц. Светило солнце. По радио передавали музыку, внизу шла жизнь, которая перестала меня интересовать. Может, только на сегодня, а может, и навсегда.

Потом я медленно наслаждался будничностью. Ароматом кофе, вкусом ржаного хлеба с творогом, теплой ванной, статьей в газете, скрипичной музыкой Вивальди в исполнении Найджела Кеннеди^[14]. С изумлением прочел на обложке диска, что он уже несколько лет живет в Кракове. Последний раз я был на его концерте в Эдинбурге, где он твердил о любви к Англии. Похоже, я отстал от жизни. Если честно, я не поклонник Кеннеди и считаю, что многие исполняют «Времена года» Вивальди с куда большей экспрессией. Кеннеди стоит для меня в одном ряду с Ванессой Мэй^[15], правда, чисто внешне он перед ней проигрывает.

После полудня, взобравшись на стремянку, я рассматривал книги Иоанны. Мне кажется, это сродни вторжению в чужой интимный мир. Книги говорят о человеке гораздо больше, чем его биография. Мы с Иоанной были близки не только в постели. Листая ее книги, я раздумывал о том, как можно описать нашу связь. У нас было что-то вроде договора. Да. Это, видимо, самое подходящее слово. Я встретил ее, мне было с ней интересно, я чувствовал себя в безопасности, привязался. Мы обнимались, целовались, занимались любовью. У нас была физическая близость, которая ни к чему не обязывает. Связь без привязанности. Иоанна не могла ранить меня своим уходом, я ничего ей не обещал, а уходя, не испытывал чувства вины. Это был не союз, а договор, не предполагающий взаимной ответственности. И доверия. Я отдавал себе отчет в парадоксальности ситуации. В моей жизни не было ни одной женщины, которой бы я доверял больше, чем Иоанне. И все же я никогда не стремился к союзу с ней.

— Знаешь, Киня, люди куда более ебанутые, чем тебе кажется, — сказал я кошке, царапавшей когтями стремянку.

В этот момент зазвонил телефон. Я не осмелился поднять трубку. Это был звонок от кого-то из мира Иоанны, а мне казалось, что я не имею к нему отношения. Через минуту телефон зазвонил снова. Потом еще раз. Я выдернул шнур из розетки и расположился на диване с книгой о Горовице.

Через несколько минут раздались пронзительные звонки, а затем громкий стук в дверь. На пороге стояла старушка. Она затянулась сигаретой и закашлялась, а потом сказала хриплым, прокуренным голосом:

— Иоася сердится, что вы не берете трубку. Вы что, глухой?!

Я растерялся.

— Она у меня на линии. Если хотите, можете с ней поговорить, — добавила старушка.

Тут я увидел, что кошка выбежала из квартиры, положил книгу на пол и погнался за ней. Она остановилась на самом верху, у зарешеченной двери. Я взял ее на руки. Когда мы вернулись на пятый этаж, старушка по-прежнему стояла на лестничной клетке. Дверь в квартиру Иоанны захлопнулась. Ключа у меня не было. Старушка, покачив головой, пригласила меня к себе. Невесть откуда появилась хромая такса и начала хрипло тявкать. Кошка вцепилась когтями мне в живот, трясаясь от страха. Старушка сняла ремень, висевший на крюке, и, не выбирая выражений, прогнала таксу. Кошка рвала когтями мою рубаху. Такса перестала лаять, кошка перестала царапаться, старушка перестала кричать. Она засеменила к телефону и, подавая мне трубку, сказала: «Пани Иоася». Я опустил кошку на пол, она тут же спряталась за занавеску и принялась ее нервно драть.

— Слушай, я тут подумала... если ты хочешь поехать в Россию, тебе нужна виза, — услышал я спокойный голос Иоанны. — Ты говорил про следующий понедельник. Чтобы получить визу, нужен загранпаспорт, приглашение или ваучер.

— Иоася, какая виза? Россия — это не Советский Союз...

— Не уверена. Виза все равно нужна, поверь. Паспорт-то у тебя есть?

— Думаю, да. Должен быть. В чемодане.

— Польский или немецкий?

— Наверное, оба.

— Замечательно. Я сделала тебе в туристическом бюро ваучер на немецкий паспорт. Визы придется подождать. Было бы неплохо, если бы ты сейчас приехал ко мне в школу, забрал ваучер и отправился в российское консульство на улице Бискупя, недалеко от Флорианских ворот. Я туда звонила. Сегодня они до восемнадцати.

— Я не приеду, Иоася.

— Почему? — спросила она обеспокоенно.

— Дверь захлопнулась, когда я погнался за Киней. Я у пани... пани соседки, у которой грозная такса, и буду здесь, пока ты меня отсюда не заберешь.

— Так ты у пани Анастасии! — воскликнула она со смехом. —

Удачливый ты мой! Я постараюсь приехать как можно скорее.

Пани Анастасия тем временем постелила на стол скатерть и принесла тарелку супа.

— Присаживайтесь. Вы похожи на узника концлагеря. Сегодня у нас с Фредой гороховый суп. Фреда привередливая, гороховый не любит. А я люблю. Хотя теперь горох совсем не тот, что раньше...

Я сел. Пани Анастасия, подперев голову руками, с удовольствием наблюдала, как я ем.

— Вы вчера наделали шума на лестничной клетке. Я думала, это опять пьяницы, что иногда ночуют у нас в подъезде. Я ничего не имею против, если они не бьют. Но вчера то были вы, а не пьяницы. Оставили у двери чемодан. Я видела через глазок. Здесь, знаете ли, ничего нельзя оставлять. Крадут. У меня украли горшок с папоротником. Я поставила на подоконник, чтобы было красиво, а на следующий день его уже не было. Чудной народ! Так вот, сегодня я глаз не сомкнула, все подходила к глазку и смотрела. Чемодан-то красивый. Жаль было бы, если б украли. Потом меня сморило, и я оставила свой пост. Ну, думаю, воры ведь тоже когда-то спят. А утром увидела, как пани Иоася затащила чемодан в квартиру. Ну и успокоилась. А суп вам понравился? — спросила она, когда я отодвинул тарелку.

— Очень. Можно добавки? Мне нравится гороховый суп с квашеной капустой. Может, у вас есть капуста?

Старушка улыбнулась и встала.

— Борис, мой покойный муж, тоже любил гороховый суп с капустой. А если дома не было капусты, просил уксус. Ему все кислое нравилось. Но Борис был с севера, с Балтики. Они там все любят кислое. Может, вы тоже из Поморья?^[16]

Я съел еще две тарелки супа. С капустой. А потом пани Анастасия принесла чай в стаканах и достала из буфета альбомы с фотографиями. Сначала показала внучек. Потом родителей, а в конце — деда и бабушку из Вильно. И рассказала историю Польши, которую я не знал. В этой истории не немцы были врагами, а русские. Моя мать никогда не говорила о русских плохого. Она относилась к ним как к освободителям, не как к оккупантам.

Когда зазвонил дверной звонок, мы с пани Анастасией разбирались в сложных польско-немецко-русских отношениях времен Второй мировой войны. Она полагалась на свою память и фотографии, а я — всего лишь на отрывочные и, возможно, неверные сведения, почерпнутые из рассказов родителей.

Пани Анастасия засеменила к двери. Через мгновение в комнате

появилась Иоанна. Кошка запрыгнула на стол, разбрызгивая хвостом остатки горохового супа в тарелке, такса начала бешено лаять, а пани Анастасия — торопливо собирать альбомы. Я улыбался Иоанне. Не снимая плаща, она села мне на колени. Пани Анастасия, глядя на нас, сказала:

— Пани Иоася, вы должны варить ему гороховый суп. Он съел целую кастрюлю. И ест его с капустой, как мой Бориска. Если мужика хорошо кормить, он никогда не уйдет. Уж вы мне поверьте.

Мы остались у пани Анастасии до позднего вечера. Она рассказывала нам про свою молодость, как Борис влюбился в нее на танцах в Доме культуры, здесь, в Новой Гуте, в пятьдесят первом. Ей тогда было двадцать. Она была портнихой, это хорошая профессия, а Борис был всего-навсего каменщиком, без образования. Но у него были красивые сильные руки и всегда начищенные ботинки. Родители противились их браку, потому что Борис не хотел венчаться в костеле. Он состоял в Союзе польской молодежи, но коммунистом не был. Ему пришлось вступить в СПМ, потому что иначе он не получил бы работу на строительстве сталелитейного завода. Когда Анастасия была уже беременна Иренкой, они с Борисом убежали на воссоединенные земли^[17], в Хошчно, недалеко от Старгарда-Щецинского, где нужны были каменщики и портные. Там и поженились. И даже обвенчались, но так, чтобы кроме ксендза, церковных служек, органиста и свидетелей об этом никто не знал. Иренка родилась в Хошчно, а Вальдек уже в Новой Гуте. Бориса всегда тянуло на сталелитейный завод. Отец Анастасии, убедившись, что Бориска не вертопрах, да и коммунист только с виду, простил его и по блату устроил семье дочери квартиру в новом доме, даже мебель купил.

— На похоронах Бориса мой отец плакал... — закончила пани Анастасия, сама утирая слезы.

Мы вернулись к Иоанне около полуночи. И нетерпеливо занялись любовью на полу рядом с диваном. Я даже не успел снять с нее плащ. Потом, вопреки всем принципам, мы пили благородное вино стоимостью более тысячи злотых на балконе прямо из бутылки, глядя на звезды. А потом, в одних наушниках, согревали друг друга на диване ладонями и губами и слушали музыку, которую выбрала Иоанна. А в кровати лежали обнявшись и никак не могли наговориться.

Я рассказал Иоанне кое-какие эпизоды из своей жизни за последние шесть лет, время от времени возвращаясь к более ранним событиям. Это был калейдоскоп тоски, упоения, падений, надежд, унижений, ненависти, бессилия и эйфории. Калейдоскоп имен. Добруся, Изабелла, Константин, Джошуа, Аннета, Свен, Норберт, Дарья, Магда Шмидтова, Иоганн фон А...

Мне казалось, что я читаю Иоанне книгу, автор которой поставил себе целью описать на двух сотнях страницах двести одну трагедию. В какой-то момент она зажала мне рот ладонью и сказала:

— Ты отыщешь Дарью. И найдешь себя. Все будет хорошо. Вот увидишь. Я знаю, ты тоскуешь. А тоска — это надежда. Поверь. Я в этом разбираюсь.

На следующий день утром она отвезла меня сначала к фотографу, а потом в российское консульство на улице Бискупя. Я терпеливо отстоял длинную очередь, чтобы подать заявление на получение визы. Молодой чиновник был несколько озадачен, когда я предъявил немецкий паспорт, но в конце концов сообразил принять заявление. Проблема возникла при определении срока моего пребывания в России. Я и сам не знал, как долго собираюсь там пробыть. Сначала попросил визу на полгода. Чиновник удивленно посмотрел на меня и ответил: «Мы не выдаем туристических виз на такой срок, максимум на шесть недель». Потом я снова стоял в очереди — в кассу. Толпившиеся в тесном помещении мужчины, несмотря на то, что дело было утром, дышали запахом перегара и чеснока. Самая отвратительная вонь, какую только можно себе представить. Мне предстояло вернуться в консульство за паспортом ровно через неделю, четырнадцатого апреля, но, «не исключено, что ваш паспорт будет готов уже в понедельник, двенадцатого», вежливо проинформировал меня чиновник, когда я вручил ему выписанный от руки счет из кассы.

Из консульства я отправился в турбюро на Столярской. Забронировал билет на Москву на среду четырнадцатое апреля, а обратный, поскольку не знал, когда вернусь, взял с открытой датой. В книжном магазине на рынке купил несколько учебников и дисков для изучающих русский язык. Хотя я принадлежу к поколению, для которого русский входил в обязательную учебную программу начальной и средней школы, к тому же учил его два года в вузе, мои знания далеки от совершенства. Прогуливать уроки русского считалось, во всяком случае в моей среде, патриотичным. «Мы не будем изучать язык оккупантов. Не будем, и точка!» Теперь это кажется мне ребячеством. Хотя в Советском Союзе, а потом и в постперестроечной России я никогда не был, мне случалось общаться с российскими музыкантами, гастролирующими по всему миру, от Сиднея до Сиэтла, и во время таких встреч, особенно после нескольких бокалов вина или шампанского, русский язык всплывал у меня в памяти, и я чувствовал себя истинным полиглотом: мало того, что говорил по-немецки, по-английски и по-польски, так еще и экзотическим русским владел. Хотя, произнося фразы «по-русски», я на самом деле говорил по-польски и только менял

окончания слов и ударение. Русские были в восторге, остальные ничего не понимали. Но я отдавал себе отчет в том, что через неделю, в Москве, все будет иначе.

Я вернулся в Новую Гуту и отправился в Могильский лес. Я гордился тем, что стал прежним. Я организовывал. Предвидел. Планировал. Радовался. Мне хотелось отпраздновать обретение себя, кричать об этом, и лес казался самым подходящим для этого местом. Я прогуливался под сенью деревьев и разговаривал сам с собой, сам себя ободряя. Мне хотелось, чтобы мое «воскресение» продолжалось. Я набрал подснежников на лугу и поехал в школу, к Иоанне. Отыскав на парковке ее автомобиль, позвонил. Она спустилась. Я стоял, смущенно прикрывая лицо букетом. Она подошла и сказала:

— Мне сегодня приснилось, что ты станешь скучным. Никуда не уедешь, построишь дом, посадишь дерево, и я рожу тебе сына. А ты вдруг приносишь мне цветы. Не делай этого, прошу тебя. Не надо. Я все равно не смогу полюбить тебя сильнее...

Цветы она не взяла и вернулась в школу.

Вечером мы ужинали с пани Анастасией, которая по такому случаю надела выходное черное платье. Мы ели гороховый суп с капустой и свиную рульку, которую я ненавижу, но которую обожал незабвенный Борис. Иоанна об этом знала. На столе, в вазочке, стоял букет подснежников. Ночью мы с Иоанной опять занимались любовью, а потом о ней говорили.

— Я думаю, что любовь между мужчиной и женщиной, — начала Иоанна, сев на кровати и прогнав кошку, — это болезнь, к тому же коварная, потому что поражает человека неожиданно. Достоин удивления, с какой легкостью люди поддаются любовной эйфории, после которой им неизменно приходится страдать. Одно время меня занимал вопрос, можно ли разработать стратегию безболезненной любви. Влюбиться раз и навсегда, без потрясений и расставаний. Но я тут же спросила себя: а кому нужна любовь без страданий? И пришла к выводу: взаимная любовь со временем подвергается метаморфозе. От стадии чувственного влечения и бури эмоций она переходит в стадию привязанности, не менее сильной, чем влечение: люди просто не могут жить друг без друга. Но прежде чем наступит этот период, может снова нагрянуть шквал страстей, потому что любовь подобна наркотическому опьянению. Не исключено, что кризис в супружеской жизни сопровождает процесс выхода из ломки. Когда приходит привычка и охлаждение, в душе рождается тоска по тому, что было в начале отношений. Но вновь пережить это с тем же самым

человеком, скорее всего, уже не получится. Тут и машина времени не помогла бы, разве что возможность стирать из памяти не только прошлое, но и будущее. Как ты думаешь? — спросила она, и я понял, что вопрос был риторический. — Я думаю, что любовь и привязанность могут иногда соперничать. Это называют любовным треугольником. Вопрос в том, когда любовь сильнее: на стадии влечения или на стадии привязанности. Интересно было бы сравнить статистические данные и понять, действительно ли люди, изменяющие своим партнерам, охотнее и чаще разрывают многолетнюю любовную связь во имя новой. Кризис в любви кажется мне пустяком по сравнению с ушедшей любовью, с равнодушием, которое неизбежно предваряет конец отношений. Кризисы, по крайней мере, переживают вдвоем, а вот расставшись, каждый рискует оказаться в одиночестве. Иными словами, состояние влюбленности — это желание завоевать другого человека и сделать его своей собственностью. И даже когда любовь оборачивается привязанностью, если она настоящая, то выражается во взаимной заботе, опеке, понимании, поддержке, родстве душ... Легче ли живет тем, кто не испытывает привязанности? Люди ведь стремятся быть свободными, а любовь заставляет постоянно нервничать, сомневаться, бояться потерять партнера. Не случайно говорят о любовных оковах. Что же лучше: влюбиться раз и навсегда или вовсе не влюбляться?

Она замолчала. Я привлек ее к себе и поцеловал в веки.

— А может, всю оставшуюся жизнь ждать от тебя подснежники и ни о чем не думать? — прошептала она.

С каждым днем я все больше привязывался к Новой Гуте. Утром Иоанна уходила на работу, я скармливал кошке очередную банку кошачьих консервов, завтракал и отправлялся в магазинчик за покупками. В полдень брал такси, ехал в Краков и бродил по старинным кварталам. Ближе к вечеру возвращался, слушал музыку, учил русский, беседовал с пани Анастасией, готовил суп для Иоанны, заучивал наизусть ее любимые стихи, проверял тетрадки с контрольными работами и ставил ее ученикам оценки. Потом возвращалась Иоанна. Мы рассказывали друг другу о себе. По вечерам зажигали свечи и читали вслух стихи Лесьмяна^[18]. Потом я порусски пересказывал Иоанне новости, которые слушал по радио, и она говорила, что ей удалось из этого понять. Около полуночи, иногда на диване в комнате, иногда на кровати в спальне, иногда в ванной мы занимались любовью. Мы оба помнили, что все это продлится лишь до среды следующей недели. И если честно, оба ждали этот день. Иоанна хотела, чтобы я уехал и потом вернулся. Я хотел уехать и по ней тосковать.

В субботу утром нас разбудил громкий стук. Завернувшись в простыню, я открыл. Пани Анастасия стояла на пороге и кричала, трясясь от возбуждения:

— Русские убили нашего президента! Я знала, что этим кончится! Включите телевизор. Я же говорила: русским нельзя верить...

— Успокойтесь, пани Анастасия, — вышла к нам Иоанна. — Какого президента?

— Как это какого?! Леха!

— Валенсу?!

— Нет. Нашего! Качиньского! Разве у них на Валенсу рука поднимется? Он же их агентом был...

— Не волнуйтесь так, пани Анастасия. Скоро мы все узнаем наверняка, — успокаивала ее Иоанна.

Я побежал в комнату и включил радио. *Смоленск. Катынь. Президент. Трагедия. Густой туман...* Эти слова звучали чаще всего. Иоанна опустилась рядом на пол. Мы слушали и не верили тому, что слышим. Это казалось нелепым, немыслимым.

Хотя ни меня, ни Иоанны, ни наших родственников непосредственно катыньская трагедия не коснулась, в Польше Катынь в той или иной мере наложила свой отпечаток на всех. И так будет еще очень долго, если не всегда. Катынь рано или поздно появляется в сознании каждого поляка. Не только из-за чудовищности убийства, ведь в Польше в те времена гибло много людей, а главным образом, из-за пренебрежением правдой. В Катыни в 1940 году русские убили поляков. В этом не сомневаются и сами русские. Берия, тогдашний глава НКВД, 5 марта 1940 года предложил уничтожить польских офицеров. Политбюро ВКП(б) во главе со Сталиным подписало соответствующий документ, и уже в апреле советские солдаты произвели расстрел.

В Катыни русские стреляли в затылок не только польским офицерам. Они всей Польше стреляли в затылок. Поляки презирают такую смерть, как, впрочем, и русские. В этом нет ничего странного, потому что понятие чести является общим для славян. Но жители Страны советов, как говорил мой отец, «воодушевленные идеями коммунизма, забыли не только про то, что они русские, но и про то, что они славяне». Поляки всегда готовы были умереть за родину, но встречая смерть в лицо и получая пулю в сердце, не в затылок. В Катыни русские не просто убили тысячи поляков, они унизили, раздавили и оплевали их чувство собственного достоинства. И мое тоже. Поэтому для поляков слово «Катынь» было и останется святым.

Такова правда, которую много лет пытались замолчать. В школе мне

вдалбливали совсем другое, мол, убийство поляков в Катыни совершили «дикие фашистские орды». А потом, дома, отец рассказал, что это отъявленная, мерзкая, отвратительная, грязная ложь «вассалов Кремля, гнид без чести и совести, отступников и предателей», потому что поляков в Катыни «убили Советы». Спустя много лет об этом узнали все. Даже продажные оппортунисты-чиновники, составлявшие программы по истории для польских школ. Хотя они знали об этом с самого начала, от Берута^[19], «вассала номер один», как его называл мой отец.

Народ узнал правду и свято хранит память о ней. Она обросла множеством мифов, но факт остается фактом: в Катыни «русские убили поляков». Точка. Немцы убили многих других — в другое время и в другом месте. В Катыни же гору трупов создали русские.

И теперь, спустя семьдесят лет, когда пришло время занести эту правду в книгу народной памяти вместе со свидетельством раскаяния русских, случился Смоленск. А ведь все было так близко. Еще в прошлую среду, за четыре дня до катастрофы, в Катыни появился не только глава польского правительства, что было вполне естественно, — но и сам Путин. Правда, он не демонстрировал раскаяния, которого так ждут поляки, но назвал Катынский расстрел «преступлением тоталитарного режима». Это уже немало. Новость облетела весь мир, а несколько дней спустя случился Смоленск. Опять в апреле, опять у деревушки Катынь. Сюрреалистическое стечение обстоятельств, вырастающее до масштаба польского Предназначения, или наоборот, польское Предназначение, проявившееся в сюрреалистическом виде? Если бы этот ТУ-154 разбился, заходя на посадку неподалеку от Монте-Кассино, это тоже было бы польским Предназначением, но пани Анастасии не пришлось бы в голову заявить, что «макаронники убили нашего президента». Но это случилось в Катыни, и упорное, длившееся семьдесят лет очковитирательство со стороны русских по поводу того преступления давало пани Анастасии повод поверить в заговор.

Если тогда, в апреле сорокового, поляков расстреливали русские, в чем официально признались лишь в 1990-м, почему пани Анастасия, ставшая яркой русофобкой из-за того, что ее семью в свое время изгнали из Вильно, должна верить, что «самолет разбился, заходя на посадку в плотной пелене тумана», что «ему не следовало там приземляться», что «это трагическая авиакатастрофа», что «диспетчерская служба предупреждала», что «Путин прислал соболезнования», а Медведев «разделяет с поляками их боль»? Когда сюрреализм обстоятельств приобретает критическую массу, он, подобно атомной бомбе, взрывается и вызывает массовый психоз. Так

определил бы ситуацию профессор Мильке из Панкова. И был бы абсолютно прав. После Смоленска мир в очередной раз оказался недоступен пониманию. Людям трудно признать, что они понимают не всё. Они начинают видеть в случившемся сговор, им вдруг становится ясно, кто за этим стоит. «Да-да. Это вовсе не несчастный случай. Это опять русские. Они сделали это однажды, значит, способны сделать снова». И жертвой коллективной паранойи становится все больше поляков...

Мы с Иоанной слушали радио, следили за новостями в Интернете. Нам хотелось узнать как можно больше и попытаться всё понять. Почему самолет не приземлился в другом аэропорту? Почему на его борту оказалось столько людей, от которых зависит судьба Польши? Ведь в Германии даже камерные оркестры никогда не летают в полном составе, чтобы не погибнуть всем вместе. Почему?

Около полудня мне позвонил Свен, явно с аппарата из столовой в Панкове. Я понял это по звяканью посуды.

— Послушай, Струна, — сказал он, — у меня есть друг, радиоастроном, поляк из Торуни. Мы вместе работали в Аресибо. Его отца убили в Катыни. Он рассказывал мне об этом. Кроме того, я видел фильм Вайды. Когда сеанс в кинотеатре закончился, я схватился за голову и почувствовал, как у меня сквозь пальцы течет кровь. Поэтому я хочу сказать тебе, Струна: за Смоленск должна ответить Германия. Без нас не было бы Катыни и не было бы Смоленска. Я только это хочу тебе сказать, Струна, только это. И прости нас... — добавил он и положил трубку.

После обеда мы с Иоанной поехали в город. На уличных фонарях развевались флаги с траурными лентами. На тротуаре горели свечи и лежали букеты цветов. Потом мы гуляли по улочкам старого города. Иоанна вдруг сжала мне руку. В окне первого этажа очень старого дома за грязным оконным стеклом стояли рядом образок Богородицы и фотография Марии Качиньской в рамке, на которой висели четки. И рядом погасшая свеча. Подтаявший воск, огарок фитиля. А на крыше дома каркали вороны...

Неподалеку, за углом, начинался ухоженный туристический Краков. Там, на первом этаже недавно отреставрированного дома, размещалась кондитерская. Иоанна остановилась у витрины и недоверчиво покачала головой. Я подошел ближе. За стеклом слева стояло обсыпанное миндалем пирожное-пирамидка с подписью «Колокол Сигизмунда», справа — покрытый кокосовой стружкой сливочный шар «Бона», а в центре — торт. Красная округлая глазированная глыба, украшенная безупречно белым изображением орла в золотой короне с миндальными когтями, была

опоясана черной траурной лентой. Через несколько часов после катастрофы в Смоленске нам предлагали угоститься красно-белой глазурью, с хрустом прожевать орла в золотой короне и закусить траурной лентой. Если можно зарабатывать на королеве Боне^[20] и колоколе Сигизмунда^[21], то почему бы не заработать и на смоленской трагедии? Торт для польских национальных поминок уже готов. Только почему на нем нет свечек? И сколько их должно быть? Семьдесят, по числу лет, прошедших с катынской трагедии? Или девяносто пять, плюс одна огромная посередине, потому что столько было жертв? А может, сложить эти цифры и воткнуть сразу сто шестьдесят шесть свечек? А потом какая-нибудь гадалка Аида разложит это число на составляющие, потом прибавит (один плюс шесть плюс шесть), и у нее получится тринадцать, сколько было апостолов вместе с Христом на тайной вечере, а другая гадалка, чтобы тоже попасть в СМИ, заявит, что ей было видение и она теперь точно знает, что «Иудой является Владимир Владимирович Путин...»

Мы вышли на главную площадь. Было очень тихо. Медленно, будто в похоронной процессии, люди шли, шепотом переговариваясь. У ворот, ведущих к Мариацкому костелу, стремительно росла грудa цветов. Белых и красных. Там лежали кресты, четки, стояли фотографии президента с супругой, горели лампы и свечи. Люди опускались на колени и молились. Обнимались, пожимали друг другу руки. Польшу вновь охватило чувство национального единения. Интересно, почему это происходит с нами только в минуты скорби?

Поздно вечером мы с Иоанной слушали Бетховена. Придя домой, она достала из шкафа в прихожей огромную коробку с пластинками. Там была только классика. Некоторые пластинки были даже не распакованы. Я не видел ни у кого такой огромной коллекции. Заметив мое удивление, Иоанна тихо сказала:

— Мне хотелось иметь всё, о чем ты писал, пишешь или еще напишешь в будущем...

Я обнял ее и поцеловал ей руки. Она прошептала:

— А теперь перестань удивляться и выбери что-нибудь самое печальное — то, что ты хотел бы послушать именно сегодня.

В первое мгновение я подумал о «Бранденбургском концерте» Баха, но потом, стоя на коленях над коробками и читая фамилии композиторов на обложках пластинок, вдруг вспомнил про американца Самюэла Барбера^[22] и его «Адажио для струнных». Самое сильное впечатление эта музыка произвела на меня не в концертном зале, а в маленьком вроцлавском

кинотеатре. Сцена из незабываемого фильма «Взвод»^[23] Оливера Стоуна. Патруль американских солдат покидает пылающую вьетнамскую деревеньку и углубляется в джунгли. Огонь пожирает бамбуковые хижины, в небо поднимаются клубы дыма, и все это под пронзительный плач смычков. А затем наступает кульминация, и музыка резко обрывается. Я никогда не забуду свое волнение и слезы, и катарсис, когда в кинозале наступила гробовая тишина. Очень трудно, особенно мне, измерить концентрацию грусти, которую вызывает в человеке музыка. Если бы меня попросили сравнить что-то с «Адажио для струнных» Барбера, я бы упомянул арию Дидоны из оперы Перселла «Дидона и Эней», «Адажиетто» из Пятой симфонии Малера, «Метаморфозы» Штрауса. Но Барбера с его «Адажио для струнных» я все же ставлю на первое место. Когда умер президент Рузвельт, его исполняли по американскому радио, оно звучало во время похорон Эйнштейна и совсем недавно, в 2001 году, в Лондоне, в королевском Альберт-холле — во время траурной церемонии, посвященной жертвам теракта в Нью-Йорке 11 сентября. Я торопливо вытаскивал из коробки пластинки в поисках Барбера. Я не помнил, издавали ли в Польше антологию его сочинений, но на какой-нибудь «сборной» пластинке с классической музыкой он обязательно должен был быть. Наконец я нашел его, поставил пластинку и с какой-то ревностью наблюдал, как Иоанна ее слушает.

На следующий день, в воскресенье утром, Польша уже не была такой единой в горе. Начались поиски виновных, польско-польская война за правду. В бой ринулись инквизиторы. Политики разных мастей вновь получили возможность проявить себя. Алхимики черной пропаганды развели огонь под своими котлами и принялись выплавлять из ничего «чистое золото самой правдивой правды». Кто-то видел над обломками самолета два креста, образованные туманом; другие уверяли, что туман был искусственный, русские напустили его намеренно; третьи верили в теорию магнитной аномалии, из-за которой была нарушена работа бортового оборудования «Туполева»; четвертые в бомбу, подложенную на борт КГБ; те, у кого с головой совсем плохо, слышали выстрелы из пистолетов и стоны жертв. Именно они уже на следующий день после катастрофы сравнивали Смоленск-2010 с Катынью-1940. Катастрофу стали называть преступлением, а ее жертвы — павшими в бою. Что чувствовали при этом семьи убитых в Катыни, никого не волновало. Важнее было воскресить романтику антироссийского мессианства. Ну и, конечно же, демонизировать русских. Но это были лишь испарения. Настоящее золото все еще выплавляется...

В понедельник около полудня я отправился в российское консульство, чтобы выяснить, как обстоят дела с моей визой. Бело-сине-красный флаг на флагштоке перед зданием был приспущен. В комнате, где принимали заявления и выдавали паспорта с визой, на специальном столике стояла фотография пожимающего руку Туску Путина у обломков самолета в Смоленске. Перед фотографией лежал букет бело-красных гвоздик. Они были изрядно увядшими и выглядели, будто их вытащили из мусорного бака на кладбище. К столику был прикреплен листок с надписью: «Зажигать свечи и лампы строго запрещено». Я задумался, почему русские так часто портят благие намерения бюрократизмом. Ведь по своей природе они люди тонкие и впечатлительные. А может, в России так принято: запрещать на всякий случай? В Панкове я познакомился с одним русским. И хотя он уверял, что русским, слава Богу, не является, поскольку родился в Алма-Ате, говорил только по-русски и ужасно коверкал немецкий. Как-то раз он сказал мне, что если в России что-то строго запрещено, это значит — можно, но лучше не попадаться. А если написано «категорически запрещено», это значит все то же самое, только нужно быть еще осторожней.

А ведь достаточно было поставить у столика охранника, изнывавшего от безделья в коридоре. К тому же гвоздики в Польше — самые дешевые цветы.

Прежде чем просунуть в узкую щель мой паспорт, чиновник в окошке сказал с наигранным пафосом:

— Ваш президент разбился под Смоленском. Это огромное горе для польского и русского народов.

Вначале я решил, что он меня вспомнил, но когда он повторил то же самое чернокожему студенту с сомалийским паспортом, стоявшему за мной в очереди, понял, что ошибся.

Во вторник Иоанна вернулась домой очень поздно. Обычно она тихо открывала дверь, бесшумно входила в комнату, ставила сумку на пол, подходила к дивану и нежно касалась губами моей шеи. Во вторник вечером все было иначе. Совсем иначе... Я услышал громкий стук в дверь. На пороге стояла Иоанна. Она была в длинном черном плаще, застегнутом на одну пуговицу. В левой руке держала кожаную сумку, в правой — откупоренную бутылку вина.

— Ты рискнешь впустить меня к себе? — спросила кокетливо.

Вошла, громко захлопнула дверь, подала мне бутылку и расстегнула пуговицу. Под плащом на ней ничего не было. Она отогнала сумкой лапшающуюся к ней кошку, прижала меня к стене, спустила мне брюки и

встала на колени...

Ночью Иоанна проснулась и испуганно спросила, точно ли у меня записан номер ее телефона. Ей нужно было в этом убедиться, хотя мы созванивались до этого много раз. Потом она встала и отправилась на кухню гладить мне рубахи, а утром, не разбудив меня, ушла в школу. На чемодане в прихожей лежали мой шарф и бумажный пакет с бутербродами. Я позвонил ей из аэропорта перед вылетом. Она не брала трубку. Потом, в туалете самолета, я вспомнил, что «строго запрещено» в России означает «лучше не попадаться», и решил позвонить снова. Но сначала прочел ее эсэмэски. В двух первых она писала: *«Если ты захочешь вернуться, просто приезжай, звонить не нужно. Этот номер был только для тебя. Я не хочу ничего знать о тебе, пока ты будешь в России. Найди там Дарью и самого себя. А этот номер я заблокирую»*. В третьем сообщении, отправленном часом позже, она добавила: *«Я опять тоскую по тебе. Киня как безумная царапает дверь ванной. Но я сейчас слишком занята тобой и собой и ей не открою»*. Я набрал ее номер. Абонент был недоступен...

Москва, 10 апреля, суббота, утро

Анна открыла глаза. Натянула одеяло на нос. Привычка с детства. В маленькой квартирке в Орле, где жила с бабушкой, было прохладно даже летом. Не говоря уже о зиме, когда дуло из всех щелей. Пока бабушка готовил завтрак, она любила закутаться с головой в пуховое одеяло и воображать себя то принцессой, то шамаханской царицей. Бабушка жарил яичницу, запах шкварок приятно дразнил обоняние. Довольная, прямо во фланелевой пижамке, она мчалась на кухню и крепко его обнимала.

Теплая слеза поползла по щеке, а за ней другая, она промокнула слезы пододеяльником.

Почему слезы соленые? Этот вкус невозможно спутать ни с каким другим. Даже не верится, что одна железа вырабатывает столько соленой воды. А если собрать слезы всех тех, кому жизнь солона, возможно, образовалось бы море — а то и океан.

Из ванны доносились шум воды и пение. Сергей всегда пел, принимая душ, и всегда был по утрам в хорошем настроении. Ему вообще неведомо, что такое грусть. Он умеет только злиться. Как правило, по двум причинам. Если нагреватели плохо продаются... и если она, Анна, снова заводит разговор о ребенке. Представив себе его самодовольное лицо, она спряталась под одеяло с головой.

Она проснулась с нехорошим предчувствием. Маленький сверчок сидел в голове и твердил противную скороговорку. Это мешало сосредоточиться и задавало неприятный тон мыслям и настроению. Как музыкальная шкатулка. А может, предчувствие было связано с предстоящим званым ужином, назначенным на семь часов? Муж решил собрать друзей, круг которых ограничивался людьми нужными и полезными — как свежие овощи для салата. Повод был резонный — запуск нового производства в Мурманске.

Анна медленно опустила ноги на пол, ощутив ступнями приятную прохладу деревянного паркета. Взяла дневник с тумбочки и с размаху плюхнулась в кресло. Раньше чем через двадцать минут Сергей все равно не выйдет. Умывание для него — ритуал, как омовение для жрицы.

Взяла ручку, подаренную Манфредом в Берлине. Начала медленно, тщательно выводить каждую букву:

Стать сильной.

Вы знаете, как это сделать? Иногда это бывает необходимо. Когда так ненавидишь себя за слабость, что стыдишься посмотреть в зеркало. Ругаешь себя, бьешь по щекам, можешь даже ткнуть булавкой в бедро или порвать сережкой ухо. Или строго говоришь: «Даю тебе десять минут, и всё». Проходит десять минут, пятнадцать. Кровь на мочке подсыхает. Булавка валяется на полу, ты ее поднимаешь. Зеркало глумится беззвучно, кривится пустой амальгамой. Ведь ты никак не можешь перейти в нужное агрегатное состояние. Допустим, в твердое. Плещешься жидкостью. Занимаешь объем, как газ. И ничего более.

Вот был бы рецепт. Простой, надежный. Например: выпить две таблетки но-шпы, три раза плюнуть на север и подпрыгнуть на левой ноге. Или сложнее: встать на голову и стоять так, насвистывая «Богемскую рапсодию», потом съесть сырой топинамбур, без соли и перца, и воспарить.

Но готовых рецептов нет, каждый раз придумываешь новый. Экспериментируешь. Выйти в неурочное время на улицу, купить пирожок с неизвестной начинкой, откусить, выплюнуть, снять обувь и идти босиком. Сесть на скамейку, потом лечь на нее. Не стыдиться редких прохожих. Смотреть в небо, что ли. Или на землю, на муравьев и этих, продолговатых, красненьких — клопов-солдатишков. Закрыть глаза. Слушать, как проезжают автомобили и общественный транспорт. Если повезет — прозвонит трамвай, напомнив детство. Придумать новую жизнь, хорошую. Сочинить новые стихи, недлинные. Отправить эсэмэской подруге, потому что это смешно. Пошевелить в воздухе пальцами рук или ног. Определить, изменилось ли твое агрегатное состояние. Понять, что все осталось, как было.

— Я задержался, дорогая.

Сергей, довольный, румяный, с ярко-бирюзовым полотенцем на бедрах, смотрел на нее. По комнате распространился запах парфюма.

— Ах ты, мой зайчик, — ласково продолжил он. Анна напряглась. — Какой умный зайчик, сидит в креслице, ждет своего котика... А как ты смотришь на то, чтобы мы сделали друг другу приятное? Иди ко мне, мой котик, — промурлыкал он.

Анна тут же почувствовала приближение приступа и начала судорожно искать глазами ингалятор. Что за омерзительные слова — «котик», «рыбка», «зайчик»? Почему нельзя сказать «любимая»?

«Сделать приятное» означало две вещи, допустимые в их интимной жизни.

Первое. Он погладит Анну по голове. Потом возьмет ее обеими руками и опустит к бедрам. Даже герои фильмов Тинто Брасса проявляли больше фантазии, прежде чем перейти к самому главному.

Второе. Он подойдет сзади, очень близко. Подтолкнет ее к кровати — так, что она распластается по одеялу, словно подстреленная утка. Потом Сергей будет долго пыхтеть и даже стонать. И самоуверенно спросит: «Тебе ведь было хорошо, малыш?»

Анна вспомнила недавний спор на работе. Две молодые сотрудницы обсуждали, что такое идеальный любовник. Первая, красивая женщина с кустодиевскими формами, сказала: «У меня были прекрасные любовники. Во всяком случае, мне так казалось. До недавнего времени. Потому что, честно говоря, у каждого были свои недостатки. Например, один, при потрясающей фигуре и способности заниматься сексом в любом месте в любое время и сколь угодно долго, был непроходимо глуп. И через месяц я уже не могла его видеть, ведь с любовником иногда хочется и поговорить. Другой слишком быстро кончал, а я люблю, чтобы это продолжалось хотя бы минут пятнадцать. Но скоро год, как я наконец встретила действительно идеального любовника. Стоит ему ко мне прикоснуться, и меня бьет током, я хочу его всегда и везде. Он может заниматься сексом четыре раза на дню. И никогда не кончает, не дождавшись моего оргазма. Его не пугают мои желания — а они у меня бывают, мягко говоря, необычными; наоборот, ему они нравятся, и он с удовольствием включается в игру. И умеет быть бесконечно нежным. Мне много раз казалось, что это предел мечтаний, что я улетаю в космос, что лучше быть не может, но при следующей встрече происходит что-то новое, еще лучше. Мне не верится, что так бывает, что мне так повезло. Наверное, это любовь... Когда каждый стремится доставить максимальное удовольствие другому...» Вторая сотрудница ответила: «Тебе повезло. Большинство мужчин совершенно не изобретательны, я бы даже сказала — косны в сексе. Не знаю, почему, вероятно, дело в воспитании... Или в его полном отсутствии».

Полное отсутствие воспитания, очевидно, и было сексуальным диагнозом Сергея.

Первое время Анна пыталась объяснить ему, что занятие любовью — обоюдный процесс. Но у нее ничего не вышло. И она вывела для себя формулу, ужасную, унижительную «формулу труса» — постараться сделать так, чтобы все это длилось не более трех минут. Тогда был шанс, что приступ не успеет начаться и дело ограничится легким болевым ощущением. А потом снова наступит пустота.

Она не заметила, сколько стояла под душем. От размышлений ее

отвлек стук в дверь.

— Дорогая, поторопись, нам еще нужно купить продукты. А тебе — успеть сделать все эти канapé.

Анна почувствовала, что Сергей ухмыльнулся, и сжалась.

«Что там Марина Петровна рассказывала про бутерброд? Где это мое пространство вокруг стола? Может, нужно просто перестать заигрывать со своей тоской? А то получается, хорошо устроилась. Живу себе в прекрасной квартире и всем недовольна, всё сидит внутри заноза... Кто же это... Кто же это сказал... Ах, да Гёте, — вспомнила Анна, — «И человек немислим без людей!»^[24]. Все так, Гёте, бесспорно, гений. Вопрос только в том, без каких людей. Ей, Анне, достаточно, чтобы рядом был один-единственный, кто ее понимает, а главное — никогда не назовет этим пошлым словом «котенок».

Анна вышла на кухню и сделала то, что делают девяносто процентов женщин, зачастую даже не осознавая, зачем. Она сварила кофе и приготовила омлет — на обезжиренном молоке из трех яиц, как любит Сергей. Потом порезала для него лимон, налила себе чаю и молча села за стол.

— Ну, что ты сегодня наденешь? — с серьезным видом спросил он.

— А это важно? — поинтересовалась она.

— Анна, — Сергей посмотрел ей в глаза, — не задавай глупых вопросов. Разумеется, интеллект не входит в число достоинств женщины, скорее наоборот; но излишняя глупость ее тоже не красит.

— Сережа, да пойми ты наконец! Внешнее не имеет значения. Артур Шопенгауэр утверждал, что счастье можно обрести только внутри себя.

— Философия — наука тунеядцев и разгильдяев, — безапелляционно заявил Сергей. — Или богатых недоумков, которым нечего делать, кроме как демагогию разводить.

— Если бы ты сказал, что хочешь видеть меня сегодня красивой, я сделала бы все возможное, чтобы тебе понравиться. Но для тебя гораздо важнее то, как я буду выглядеть в глазах твоих гостей.

— Анна, давай на этом закончим! Ты все усложняешь, пытаешься найти истину там, где ее нет. А мне важно, чтобы люди, которые придут к нам в гости, подумали: «Какая у него очаровательная жена!». Это понятно?!

— Конечно! — Анна встала из-за стола и пошла одеваться. Сергей демонстративно развернул газету.

Через полчаса они сели в машину и поехали на Дорогомиловский рынок за продуктами для званого ужина.

Это парадокс, но даже состоятельные люди покупают продукты на

рынке. Есть что-то необъяснимо притягательное в том, что там можно все понюхать, пощупать, детально рассмотреть, а главное — выбрать, опираясь исключительно на собственное мнение, на подспудное ощущение свежести, запаха, вкуса.

Сергей шел с полными пакетами провизии, удовлетворенно напевая себе под нос незамысловатый российский шлягер. Анна не знала, что это за песня. В машине она слушала диски Шопена и Моцарта. Это помогало ей мириться и с пробками, и с ужасными дорогами, и с неграмотными водителями — Сороковую симфонию она знала досконально и даже научилась насвистывать.

Они сложили тяжелые пакеты в багажник. Сергей уселся за руль.

— Загорский умрет от зависти, — он довольно потирал руки. — Мало того что я его обставил, ведь он не верил, что Мурманск — удачная идея, так еще и немецкие партнеры подключились...

Анна молчала. Сверчок помимо ее воли продолжал свою грустную монотонную песню о человеческой скорби и страданиях.

Машина резко рванула с места. Вместе с двигателем включилось радио. Песня оборвалась на полуслове, уступая место новостям. Монотонный голос диктора сообщил: «Под Смоленском потерпел катастрофу самолет президента Польши. По предварительной информации, погибли все пассажиры, включая президента Леха Качиньского и его супругу... Самолет упал в 10.50 на окраине города Печерска Смоленской области при заходе на посадку в аэропорту Северный. Диспетчер предлагал командиру экипажа приземлиться в аэропорту Минска, но тот принял решение, несмотря на плохие погодные условия, приземляться в Смоленской области. По информации МИД Польши, Лех Качиньский вместе с официальной польской делегацией летел в Катынь для участия в мероприятиях, посвященных 70-летию трагических событий».

У Анны заглохло в висках. Сверчок замолчал.

Сергей равнодушно повел плечами и потянулся к кнопке на панели, чтобы переключиться с радио на диск.

— Сергей, — Анна почувствовала подступающий приступ удушья и начала судорожно искать ингалятор в сумке. — Как ты можешь? Господи, неужели мало на долю поляков страданий...

— Не начинай, прошу тебя. Всем бывало тяжело. Не драматизируй. К нам сегодня придут гости. Жизнь продолжается. К тому же погибли чинуши. Бюрократы и взяточники.

Она схватила ингалятор и впрыснула в рот лекарство. Дышать стало немного легче.

— Эти люди летели, чтобы почтить память погибших в Катыни — между прочим, от рук наших, как ты говоришь, чинуш. И вот такая нелепость, такая несправедливость!

— Давай сменим тему!

— Неужели ты не отменишь вечеринку? Это же неприлично!

— А мне плевать! Понятно?! У меня своих проблем хватает!

Анна снова почувствовала, что задыхается.

— Притормози! — крикнула она.

Сергей неожиданно послушно съехал к обочине, остановил машину, перегнулся через Анну и открыл ей дверцу:

— Прошу! Тебе действительно лучше прогуляться. Я заброшу продукты домой и съезжу в офис часа на три-четыре. Как получится. В любом случае буду к семи.

Анна вышла. Закинула на плечо сумку на тонком ремешке. Поправила светлый плащ, заметив на кармане маленькое красное пятно, похожее на отпечаток губной помады. Вишневый оттенок, как у Даши... «Что за ерунда лезет в голову, — подумала она и ускорила шаг. — Дашина помада, Дашины губы... Какая нелепая смерть! Несколько часов назад эти люди и не подозревали, что видят своих близких в последний раз».

Захотелось курить. Анна не курила уже лет десять. Точнее, по-настоящему вообще не курила — так, баловалась. Перешла дорогу. Купила в ларьке сигареты и зажигалку. С жадностью затянулась, держа сигарету в подрагивающих пальцах. «Наплевать, — подумала она. — Будь что будет. Все мы ходим по лезвию бритвы, каждую минуту, каждую секунду пытаемся заглушить паническое чувство страха — перед жизнью, перед смертью, перед любовью наконец». Она еще раз глубоко затянулась и выбросила сигарету.

Путь лежал через сквер. Удивленно отметила, что кое-где еще лежит снег. Газоны уже тускло зеленели, на березе набухли почки, кусты повесенному растопырили покрытые нежной зеленью ветки. Анна остановилась, подставив лицо слабым лучам солнца. Закрыла глаза. Кто-то тронул ее за локоть.

— Простите, девушка... Не пугайтесь, мы с вами недавно встречались!

На Анну смотрела, улыбаясь, женщина из инвалидной коляски. Поверх пальто на ней было вязаное пончо веселой расцветки. Рядом стояла девочка-подросток в короткой курточке, синих брючках, модных кроссовках. Вокруг девочки, словно щенок, прыгал упитанный ребенок лет двух, в ярком комбинезоне и шапочке с заячьими ушками. Анна почему-то

решила, что это мальчик.

— Извините, — Анна покачала головой, — я что-то не припоминаю...

— В театре, — женщина неопределенно махнула рукой, — на Чеховском фестивале...

Анна покраснела. Ну конечно, как она могла забыть!

— Ничего-ничего, — похлопала ее по руке женщина. — Я-то вас запомнила, вы такая красавица! Ваше лицо... В нем чувствуется порода.

— Спасибо, — смутилась Анна, — а вы, вероятно, живете где-то тут, недалеко? Прогуливаетесь?

— Да вот, дети меня вывели, — женщина рассмеялась. — Кто из нас кого прогуливает, это вопрос. Кристиночка моя молодец. Я бы без нее пропала! Ведь как Ванечку родила, так и не встаю. Проблемы с позвоночником...

— Мне очень жаль, — пробормотала Анна.

— И мне жаль, — согласилась женщина, — но ничего уж не поделаешь. Пришлось принять это как факт и продолжать жить. Мне повезло и с Кристиночкой, дочкой, да и муж у меня замечательный! Когда это со мной произошло, он неделю не спал и не ел. Говорит, «молился, чтобы у тебя жажда жизни не пропала...» Помогли его молитвы: каждое утро я готова кричать от радости, что жива, я здесь, я есть...

Девочка-подросток поспешила за непоседливым братишкой вглубь сквера, на небольшую детскую площадку с качелями, горкой, выцветшим за зиму теремком.

Надо было что-то сказать, ответить этой мудрой женщине, но Анна не могла подобрать нужных слов.

— И мне не страшно. Я перестала бояться, — проговорила та и, ловко управляя коляской, покатила к детям. — Этот страх... От него нельзя прятаться... Напротив, надо пропустить через себя. И вот тогда — тогда обернешься и увидишь, что никакого страха нет. А есть ты.

— Спасибо вам, — Анна едва сдерживала слезы, — спасибо... Вы очень важные слова сказали...

И пошла прочь, почти побежала. «Пропустить через себя свой страх... Но у этой женщины, по крайней мере, есть дети — повод бороться и побеждать. А у меня ничего, ничего».

— Ни-че-го! — выкрикнула Анна, и на нее удивленно покосился старичок, осторожно несущий на вытянутых руках картонку с тремя десятками яиц.

Через час она была на кухне. Сергей аккуратно поставил пакеты с

покупками на пол, только упаковка соленых крекеров, видно, выскользнула и теперь лежала отдельно.

— Отлично, — сказала Анна вслух, — с крекеров и начнем.

Она разложила их на большие тарелки. Намазала маслом. Положила на каждый ломтик сыра, ломтик ветчины, маслину. Осторожно проткнула всю конструкцию пластмассовой шпажкой.

Концепцию фуршетных приемов Анна выработала уже давно. Кроме «крекерного», существовало еще два варианта: «эклерный» и «рулетный». Сегодня она собиралась использовать все три, ведь гостей ожидалось много, и надо было соответствовать.

«Чему соответствовать, — спросила себя Анна, — образу хорошей хозяйки?»

Заметив, что сломала ни в чем не повинный крекер, вернулась к хозяйственным хлопотам. Расправила на разделочной доске лаваш, выложила на него тертый сыр с майонезом, разровняла остро пахнущую массу столовой ложкой, туго свернула в рулет, обмотала пищевой пленкой, спрятала в холодильник.

Оперлась ладонями о подоконник, вздохнула. Почему у нее такое ощущение, будто на дворе осень? Грустно, тоскливо и ничего не хочется.

Нарезала малосольную семгу, форель. Неожиданно громко рассмеялась.

«Поезд... Особый запах железной дороги, назойливые проводники... Под стук колес можно спрятаться от рассказов и расспросов, вытянуться на неудобной полке. Мерно раскачиваясь, ехать и ни о чем не думать. Но куда? Куда ехать-то, Господи?!»

Десерт для вечеринки планировала приготовить в том же духе. Вишню она иногда выдерживала ночь в ликере «Гранд Марнье», ей нравился его терпкий апельсиновый вкус и аромат благородного коньяка. Достала пузатую бутылку с сургучной печатью, плеснула в бокал. С удовольствием выпила.

«Великолепно, скоро я стану выпивать с восьми утра...»

Первыми, как обычно, явились Свиридовы. Двадцать лет назад Сергей вместе с добродушным, улыбчивым Антоном Свиридовым начинал свой бизнес. Собирали документы, прошли все бесчисленные инстанции. Потом пили шампанское в полуразрушенном помещении, арендованном под офис. Сами клеили обои, таскали мебель. Через год радовались первым заработанным деньгам и отпуску в Турции. Все было в новинку и казалось невероятным. Мысли были романтичными, а дружба — светлой и честной.

Пока не превратилась в бесконечную конкуренцию, разъедающую, словно кислота.

Свиридов с годами превратился в плотного лысоватого мужичка. Его жена, бывшая балерина, тетка Анны, всегда представлялась Анютой, что в ее возрасте выглядело глупо и жалко.

— Анна, дорогая! — воскликнула Анюта, сбрасывая с плеч на руки Сергею накидку из щипаной норки. — Что с тобой? Ты выглядишь такой усталой! Совсем себя не жалеешь!

— Плохо спала в последние дни, — сдержанно ответила Анна. — Много работала. Вернулась из Берлина, мы открывали там выставку...

— Ха-ха! — звонко рассмеялась Анюта. — Ты открывала выставку! Да ты у нас ударница!

Анюта, хоть и закончила балетное училище, никогда не работала. Совсем юную ее, девочку из хорошей московской семьи, выдали замуж в «хорошие руки», она родила троих детей; старшую дочь уже сосватали за достойного мальчика, сына крупного банкира. Жизнь Анюты представлялась Анне унылой чередой изысканных приемов. Анюта пила, и это был, разумеется, секрет Полишинеля.

— А ты выглядишь просто замечательно, — улыбнулась Анна, разглядывая ее вечернее платье на тонких ляпочках и сверкающее бриллиантовое ожерелье.

— Брось, я надела первое, что попало под руку, — пожала голыми плечами та и взяла с подноса, предложенного официантом, стакан виски.

Сергей увел мужчин в кабинет, чтобы продемонстрировать свое последнее приобретение — изготовленную на заказ двустволку. Он обожал оружие, хоть никогда и не охотился.

Прибывали все новые гости. Анна встречала дам, провожала в гостиную.

— Здравствуй, милая, — тронула ее за обнаженный локоть Татьяна, главный редактор известного глянцевого журнала, ухоженная блондинка с грамотно сделанным лицом. Анне она была симпатична — прежде всего потому, что с ней можно было говорить не только о новинках моды.

Вот и сейчас Татьяна, держа в руке бокал красного вина, хорошо поставленным голосом рассказывала:

— Однажды, в самом начале карьеры, я получила задание редакции: осветить тему «Курортный роман». Я задумалась, ведь сама я не ездила на курорты, предпочитая экстремальный отдых...

Дамы закивали. Всем была известна страсть Татьяны к парашютному спорту и водному туризму.

— Так вот, думала я думала, — продолжала она, — и решила, что курортным можно считать любой роман с фиксированной датой начала и конца. И курорты здесь совершенно ни при чем. Например, моя родственница работала старшим менеджером по продаже трубопроводной арматуры... как говорят, «фитинги-митинги». Казалось бы, ничего романтического. Но только на первый взгляд. Потому что она часто бывала на выставках. Ездил со своей арматурой, демонстрировала новинки. Выставки продолжались, как правило, пять рабочих дней. Вот оно, подумала я: фиксированное начало — и запланированный финал.

— Ну, знаешь, пять дней... — удивилась Анна, — это несерьезно. Какой же это роман! Даже смешно.

— Ничего смешного, — Татьяна отпила вина. — Уверю тебя, моя родственница все успевала. У нее бы четкий план действий. На открытии выставки она выбирала мужчину посимпатичнее, предпочтительно тоже из приезжих — для соответствия формату. Подходила к нему и интересовалась, где можно выпить кофе. В принципе, этого было достаточно. Для мужчин пятидневный роман с гарантированным финалом — то, что надо, так что упрашивать никого не приходилось...

— Но можно достичь и больших высот, — подхватила ее коллега, яркая брюнетка с породистым носом. — Помнишь Верочку? Какой-то период времени она была домохозяйкой. Воспитывала сыновей-погодков.хлопот с ними было!.. А для поддержания формы она завязывала краткие, но бурные романы в Интернете. Виртуальные встречи назначала на время детского «тихого часа». Через неделю-другую меняла никнейм и безжалостно убивала аккаунты — она не хотела «зависать», ей нужно было кипение страстей, но — с запланированным финалом. Чем не курортный и чем не роман?

Анна смеялась вместе со всеми, хотя все эти истории представлялись ей какими-то примитивными. Из кабинета появился Сергей и, настороженно глянув, кивком попросил подойти. Супруги вышли в коридор.

— Я не понял, — спросил он холодно, — что это за вселенская скорбь у тебя на лице? Продолжаешь оплакивать польского президента?

— Перестань, — попросила Анна. — Мне кажется, я вполне справляюсь с ролью хозяйки.

— А мне так не кажется, — Сергей сжал ее запястье. — Хороша хозяйка с траурной физиономией! Ты ведешь себя не-при-лич-но!

Резко развернулся и отошел. Рядом возник официант; Анна не глядя взяла с подноса какой-то напиток. Выпила. Оказалось, коньяк. По телу

разлилось приятное тепло. Теперь она снова могла присоединиться к гостям.

Солировала уже Анастасия, жена партнера Сергея по бизнесу. Анастасия несколько лет назад справила сорокалетие, но об этом трудно было догадаться. Выглядела она превосходно, ежедневно посещала косметолога, фитнес-клуб и прочие привычные места тусовок женщин своего круга. При этом была бессменным председателем родительского комитета в классе дочерей-близнецов, занималась с ними живописью и музыкой. Когда она сказала, что знает всех приличных преподавателей фортепиано в Москве, Анна ей поверила.

— Думаю, всех превзошла моя одноклассница, — оживленно говорила Анастасия, отпивая маленькими глотками минеральную воду. — Аннушка ее должна помнить, сейчас она замужем за префектом одного из округов... Раз в неделю мы посещали вместо школы учебно-производственный комбинат. Там для учащихся всего района проводили занятия, призванные помочь в освоении рабочей профессии. — Анастасия рассмеялась.

— Рабочей профессии! — взвизгнула Анюта. — Надо же! Рабочей профессии!

— Да, — кивнула Анастасия и сделала очередной глоток минеральной воды, — и моя одноклассница осваивала профессию сборщика подшипников. Но речь-то не об этом. Раз в неделю она выбирала какого-нибудь мальчика из соседней школы и в начале дня передавала ему записку, назначая свидание после занятий. Мальчик мог испугаться, но чаще приходил. Она рассказывала ему, что он — необыкновенный. Он провожал ее домой, угощал мороженым. На следующей неделе его сменял другой.

— А что же предыдущие мальчики? — с интересом спросила Татьяна, взяв канapé с сыром.

— Пару раз случались конфликты, — качнула головой Анастасия. — Но очень локальные.

— А я вам говорю, не существует такого понятия: «запретили диспетчеры»! — В комнату вошли мужчины. Муж Анастасии, красавец Вадим, говорил, бурно жестикулируя: — Диспетчеры только передают информацию на борт, а все решения принимает командир корабля! — Он был очень возбужден и, говоря, взмахнул рукой с рюмкой, из которой выплеснулось немного водки. — На то он и командир!

Сергей коротко хохотнул:

— А я сразу жене сказал, что все это — польская гордыня. Поляки ею славятся!

— Сергей, прошу тебя, — Анна строго посмотрела на мужа, —

погибли люди, не стоит...

— Не стоит? — Сергей сжал челюсти, на лице заходили желваки. — Будешь учить меня, что хорошо и что плохо?

— Серега, не цепляйся к жене! — Вадим улыбнулся Анне. — Это нормально — чисто по-женски жалеть погибших. Просто нам с тобой видно больше...

— Да! — Сергей схватил с подноса стопку и выпил. — Черт побери, ты прав!

— О, мой бог, — протянула Анюта, — ну почему, почему мужчины не могут обсуждать какие-то приятные, милые вещи? Например, развод Тугариных.

— Что?! — Анастасия подошла ближе и жадно прислушалась. — Тугарины разошлись?

— Со скандалом! — Анютины глаза вспыхнули. — Он застукал ее в постели со школьником...

— Со школьником?! — ужаснулась Анна, вообще-то не любившая сплетен.

— Ну, не совсем, конечно, школьником, — сбавила обороты Анюта. — С репетитором сына по математике, студентом. Это был кошмар, настоящий кошмар! Так скомпрометировать себя! Какой-то мальчишка... — Анастасия закатила глаза. Всем было известно о ее бурном романе с артистом цирка, восемнадцатилетним красавцем-наездником, но она не позволяла застукать себя, а значит — была чиста.

Анна вздохнула.

— Так что будь уверен, — Сергей взял Вадима за плечо, — поляки начнут катить бочку на нас. Мол, это диверсия, им помешали, бла-бла-бла... отдать почести... Так и будет, вот увидишь!

Анна вышла на кухню. Роль хозяйки позволяла ей отлучиться на пару минут, пока гости заняты общим разговором.

Вскоре туда пришла Софья, жена крупного чиновника из мэрии, с которым Сергей очень хотел дружить. Софья была полной, с непропорционально маленькой головой; она зачесывала гладко волосы и презирала краску для волос — седые пряди смешивались с темными. Анна ей симпатизировала; она знала, что до счастливой встречи с мужем-чиновником Софья одна воспитывала двоих сыновей.

— Анечка, — сказала она, — я к вам! Не хочу слушать, как будут обсуждать польского президента... Не в день же трагедии, право...

Появился официант с подносом и сообщил, что дамы пожелали шампанского. Из комнат доносился голос Сергея. Он кричал, что

исторически Польша принадлежит России. Анна сжала пальцами виски. Шампанского пожелали, надо же... И вдруг спросила:

— Софья, а как вы вышли замуж за Валерия Семеновича?

Софья улыбнулась.

— Обычная история. Первый раз вышла замуж на последнем курсе, родила ребенка, через год — второго, а через четыре года мы разошлись. Я тогда вообще не понимала, что такое любовь. И что я чувствую. Первый мужчина — чистая физиология. Без сравнений и оценок. Могли бы и раньше расстаться, да не было необходимости, а тут он завел роман на стороне. Я стала неинтересной, ненужной. Я даже обрадовалась. Развернулась и ушла. Знаешь, Аня, такое ощущение, что все те годы — вообще не моя жизнь. Все стерлось из памяти. Я даже лицо его с трудом могу вспомнить. Первое время жила с детьми в общежитии трамвайного депо. Это было... сейчас посчитаю... семь лет назад. Или восемь...

— Да это неважно, — нетерпеливо говорила Анна, — сколько лет... Важнее, как вы справились. Как бы это сказать... С жизнью, с разводом...

— Отвратительный был развод, с дележкой имущества, судами, скандалами. Вспоминать не хочется! — Софья взяла пиалу с чаем. — Квартиру продавали, все никак договориться не могли. Бывший муж собственным детям ни метра уступить не захотел, купили в результате убитую «хрущобу», на большее не хватило.

Анна слушала с интересом. «Вот ведь какая сильная женщина, — думала. — Не побоявшись, ушла с детьми... в никуда. И справилась. И новую любовь нашла».

— Простите, — взволнованно спросила она, — но уж раз зашел разговор... А как вы познакомились со вторым мужем?

— Как познакомилась? — Софья усмехнулась — Не поверите, Анна: жила себе и жила, все хорошо, дети растут, отлично учатся, родители рядом, что еще нужно? Оказывается, нужно. Это вот если бы я в гипсе лежала, без воды и горячей пищи, то мечтала бы о прогулках по лесу или тарелке супа. А когда здорова, хочется еще чего-то. Любви например. И вот начинаешь ее искать...

— Анна! — вошел Сергей с готовым упреком. Но увидев рядом с ней супругу «нужного человека», заулыбался и дружелюбно потрепал Анну по щеке. — Ох уж эти девочки, — сказал удовлетворенно, — все щебечут, все щебечут!..

— Сергей, у вас очаровательная жена, — сказала ему Софья. — С ней хочется общаться как можно больше!

Сергей сам взял поднос с закусками и вышел. Анна каким-то

сторонним взглядом отметила, что он отлично выглядит и ему очень идет новый костюм.

— У меня есть старинная подруга, — продолжала Софья, — в школе вместе учились. Как-то раз она собралась в клуб знакомств. Точнее, на специальную вечеринку. Она в Петербурге жила, там это очень распространено, такие эспресс-свидания. Называются очень романтично: «Мир флирта», «Флиртаника»... Меня, если честно, слово «экспресс» поначалу смутило. Знакомство на один вечер? Я бы такого не хотела. Предпочла бы серьезные отношения.

Стала подругу отговаривать: мол, тут с самого начала настрой на мимолетность и все такое. А она отвечает: глупая ты, тебе же фактически моделируют ситуацию, которую ты сама выстроить не можешь. А насколько возникшие отношения будут долгими, уже от тебя зависит. И возникнут ли они вообще. В принципе, она права. Мне действительно не удавалось выстроить ситуацию, назовем ее «я и мужчина в одном помещении», хотя я и пыталась. От этой самой любви никуда не денешься. Это как проклятие. Или великий дар, выпавший на долю человека.

У меня сосед был. Разведен, растил дочь десяти лет. Встретились. Зря я, наверное, все это рассказываю, но настроение какое-то такое... исповедальное. Так вот, он повсюду ходил с дочерью. Такая хорошая девочка, с кудряшками. Забавная. А потом я поняла, что он ищет мать для дочери, а не близкого человека для себя. Я ему сочувствую, но мне вначале нужно мужчину полюбить, если вы понимаете, о чем я. Полюбить...

Анна сглотнула. Она прекрасно понимала. Но отчего же ей так больно?

— Или вот, договорились с одним человеком встретиться, так хорошо общались по телефону, он мне чуть не каждый час присылал эсэмэски, очень милые. А увидела его издали и взмолилась: пожа-а-алуйста, пусть это будет не он! Как-то сразу почувствовала, что не мой. Бывает нелепо: один мужчина оттолкнул меня тем, что у него длинные волосы. До пояса, клянусь! Носил их распущенными. Стыдно признаться, но для меня, оказывается, много значит аккуратная мужская стрижка...

— А что же эспресс-вечеринки? — поинтересовалась Анна.

— Пошли мы туда. Я оказалась за столиком с одним человеком. Договорились встретиться. Но он на свидание не пришел. Ожидая его в ресторане, познакомилась с Валерием. Он приехал заказать зал для корпоративной вечеринки. Увидел меня, грустную и одинокую. Так все и произошло... — Софья улыбнулась. — Странные пироги печет жизнь...

Анна улыбнулась в ответ и медленно вышла. Шла по своей большой и удобной квартире, ступала ровными шагами по дубовой паркетной доске.

Ее окружали красивые вещи; вот эта ваза муранского стекла подарена мужем на какой-то глупый праздник вроде Восьмого марта. А вот это кресло доставлено из Англии, настоящий «чиппендейл», стоит немислимых денег... На стене картина кисти неизвестного русского художника девятнадцатого века. Портрет простоволосой девушки в темном платье. Сергей утверждал, она очень похожа на Анну...

Она смотрела на все это, и ощущение ирреальности происходящего не покидало ее.

— Дорогая...

Она вздрогнула от непривычного обращения мужа.

— Дорогая, кажется, ты не знакома с Ириной.

Рядом с Сергеем стояла невысокая женщина лет сорока в строгом брючном костюме.

— Я тебе говорил, Ирина — коммерческий директор авиакомпании... — Сергей назвал крупную негосударственную авиакомпанию, и Анна удивленно подняла брови. Ирина не была похожа на бизнес-леди.

— Ирине необходимо срочно проверить рабочую почту, — продолжал Сергей оживленно, — проводи ее к компьютеру...

Ирина улыбнулась и добавила:

— Если вам не трудно.

— Какие трудности! — ответил за Анну муж. — Располагайтесь как дома...

Анна провела Ирину в кабинет и указала на ноутбук. Ирина осторожно опустилась в кресло. Анна прислонилась к стене, рассматривая новую знакомую. Глаза у нее были ярко-голубыми, словно из эмали.

— У вас что-то случилось? — деликатно спросила Ирина. И Анна неожиданно для себя расплакалась.

Она сама не знала, кого оплакивает — сгоревших ли в самолете гордых поляков, себя ли, Сергея... Ирина встала, обняла Анну за плечи и прижала ее тщательно причесанную голову к своей груди. Всклипывая и ужасаясь себе, Анна вдруг начала рассказывать. Она сбивчиво говорила о том, что нет ребенка, нет любви, нет радости, но главное — нет ребенка, и не будет, не будет...

— Никогда, — плакала Анна, — никогда!

В дверь заглядывал Сергей, хмурил брови, но Ирина знаками просила его выйти. Она, не размыкая объятий, подвела Анну к небольшому кожаному диванчику, усадила, села рядом. Анне приятно была ее забота, но слезы текли, не останавливаясь.

— Послушайте меня, — спокойно сказала Ирина, — просто послушайте. Я никому это не рассказываю, но вам, мне кажется, будет полезно узнать... Всегда есть другие возможности, помимо тех, что мы сами для себя выбрали... Я начинала работать стюардессой двадцать лет назад. Целая жизнь. В первый же рейс меня поставили с Верой. Вера...

Ирина помолчала. Анна пальцами вытерла мокрые щеки.

— Через пару лет я бы сказала, что она похожа на Марину Хлебникову, но тогда я ещё не знала, кто такая Марина Хлебникова. Вера любила добавлять, представляясь: «неверующая», с неким эпатажем. Она принадлежала к той редкой категории женщин, которые бесшумно появляются, садятся, скрестив ноги, кладут руки на колени и молчат, просто молчат, разве что изящно покашливают, но их почему-то все обожают, целуют им руки, называют богинями. Вера не скрывала свой возраст — ей было сорок пять, — упирая на то, что она пенсионерка: бортпроводницы рано выходят на пенсию. Длинные распущенные волосы, и ни одного седого; темно-голубые глаза с жирной подводкой, в духе времени — это были девяностые, густая челка до тонких бровей...

— Простите, — Анна кашлянула, — может быть, вина? Или чаю? Я бы принесла...

— Нет, благодарю, — улыбнулась Ирина, — давайте потом. Я хочу досказать.

— Да-да, конечно! — закивала Анна.

— Мне везет на людей, которые любят опекать, особенно женщин. Вера Неверующая была из элиты, и она сразу взяла надо мной шефство. Пользы ей от меня не было никакой, ну разве что я была смешлива и умела хранить секреты — безоговорочно, все.

Она ставила меня на лучшие рейсы, заступалась перед начальством, ограждала от глупых сплетен, доставала мне австрийские туфли на каблуке и следила, чтобы я не злоупотребляла спиртным.

У нее не было семьи в традиционном понимании, но был любимый человек; разумеется, пилот, разумеется, командир корабля, красивый сидящий мужчина с широкими плечами, большими руками и обручальным кольцом на безымянном пальце.

Они встречались, когда позволяло расписание рейсов, у нее в квартире, однокомнатной малометражке недалеко от аэропорта. Дом был ведомственный, и соседи-коллеги приветливо здоровались с командиром корабля, когда он заходил в ее подъезд. Веру в доме ценили как активного борца с коммунальными службами и прочими бытовыми проблемами. Их роман продолжался чуть ли не двадцать лет, что требовало от Веры, как я

способна понять теперь, огромного труда, терпения, и любви, конечно, любви.

— Любви... — повторила Анна.

— Однажды мы летели в Ташкент, я заметила, что она неважно выглядит. Она призналась: «Я беременна, срок большой». Я молчала, потрясенная. Моя мама была младше Веры на семь лет, и мне это казалось невозможным, невероятным, какая может быть беременность? «Я семь аборт уже сделала, — сказала Вера. — А может, и все десять. Больше не хочу. Пусть родится». И замолчала. В ее светлых глазах отражалась я.

Работу она оставила недели через две — повышенное давление, почки, белок в моче, презклампсия. «А что вы хотите, в вашем возрасте...» — цинично говорили ей молодые акушеры. Она навещала подруг редко, не хотела, чтобы ее видели жалкой, больной, постаревшей, а командир корабля запретила появляться у нее раньше чем через полгода. Он звонил, дежурил у ее дверей, покупал продукты и цветы, оставлял под дверью, она забирала потом, писала ему письма, думаю, прекрасные, думаю, про любовь, про что же ещё.

Месяца три она лежала, вообще не вставая, в ЦКБ; в окна стучались зеленые ветви клена, потом они пожелтели, а когда облетели, у Веры родилась девочка. Вера умерла на второй день после рождения дочери. На вскрытии у нее обнаружили рак почки, запущенный — не знаю, почему не диагностировали раньше.

Ирина легко отстранилась, вынула из кармана мобильный телефон. Ткнула в какую-то кнопку. Показала дисплей Анне. Там была фотография молодой кудрявой девушки, в брови колечко — пирсинг. Девушка широко улыбалась.

— Верочка моя, — Ирина погладила девушку по лицу. — Я взяла ее к себе. Пришлось даже брак тогда оформить, фиктивный. Усыновлять разрешали только семейным парам...

Анна молча переводила взгляд с Верочки на Ирину. Спросила сквозь слезы:

— А как же командир корабля?

— Он умер через два года после Веры. Инсульт и что-то такое еще. Полтора года лежал. Его старший сын теперь работает у нас в компании. Хороший, умный мальчик. На отца похож. Только чуть пониже ростом. Ну, будет, будет, Анечка, я просто хотела доказать вам, что жизнь настолько... непредсказуема, что никогда нельзя отчаиваться. Никогда.

Наконец-то закончился этот день. Был момент, когда мне казалось, я

не дотяну до конца приема, просто умру. И никто не заплачет. Сергей устроит мне пышные похороны и через три месяца приведет в дом хорошую здоровую девушку. Она родит ему троих пацанов и будет готовить полноценный обед: первое, второе и компот...

Опять эти лица перед глазами, каждый день лица. Новые. Разные. Кажется, это и есть жизнь. То в подвешенном состоянии, то в стремительном полете в трубе. Этаким глобальный аквапарк.

...А я бы хотела исчезнуть.

Стереться с лица планеты и из памяти большинства знакомых и приятелей. Может, утром, в тумане, морозом — или ночью рассеяться тенью. И чтобы у родителей — другая дочь, у деда — другая внучка. Нормальная, адекватная реальности. Моя нескладная история заканчивается, моя налаженная жизнь разваливается.

Почему-то вспомнила, как летом ездила в командировку в Ростов-на-Дону, странный город, очень южный, очень шумный и жаркий.

Закончив дела, сижу на каком-то клочке берега, на пустом пляже. Из уха привычно выскакивает наушник — как всегда великоват. Прислушиваюсь к себе, зажмуриваюсь...

В черной дали горизонта вспыхивает и гаснет маяк. Из ночной дискотеки доносится оглушительное: «Ты на суше, я на море, нам не встретиться никак». Да и не надо им встречаться. Они прожигают жизнь, а нам так легко представлять себя другими.

Сижу на берегу.

У меня есть недорогое вино, Сергей бы брезгливо поморщился, но я рада, и мне некуда спешить. Вдруг сломалась серебряная сережка — я крутила ее рукой. Ко мне приближается маленькая, будто игрушечная старушка.

— Девушка, вы не видели здесь маленькую собачку? Ее зовут Счастливчик.

— Нет. Не видела.

— Счастливчик, Счастливчик, где ты?..

Уходит. Сижу на берегу. Маяк мигает.

Счастливчик, где же ты?..

Москва, 14 апреля, среда, вечер

В огромном зале московского аэропорта Шереметьево-2, который до недавнего времени считался самым крупным в России, стоя в длинной очереди на паспортный контроль, я ощутил сначала волнение, а потом беспокойство. Оно пришло внезапно и уже не оставляло, как докучливая икота. Такое со мной бывало, когда возвращался домой, в еще социалистическую Польшу — поездом, самолетом или на машине, — и мне предстояло предъявить паспорт человеку в форме. Но в последнее время это ощущение не приходило ни в Варшаве, ни в Лондоне, ни в Дублине, ни в Праге, ни в Берлине, ни в Риме, ни в Токио ни в Стокгольме. Пришло только теперь, в Москве. Потому что Москва как ни один другой город ассоциировалась у меня с теми временами, когда паспорт не был моей собственностью, а принадлежал некоему чиновнику, который «по поручению польского народа» держал его в бронированном сейфе. Тогда иметь заграничный паспорт было временной и ограниченной привилегией, почти наградой. Чтобы его оформить, приходилось стоять в многочасовых очередях, а потом беречь как зеницу ока. А его пропажа рассматривалась как чуть ли не измена родине. Считалось, что если, к примеру, во время отпуска в Югославии случится пожар в отеле, польский гражданин обязан во что бы то ни стало спасти свой паспорт, который, по сути, ему не принадлежал, так как на первой странице этого документа было указано, что он «является собственностью Польской Народной Республики». Моими в нем были только фотография и подпись. Наверное, поэтому, хотя сейчас, в 2010 году, в Москве, у меня был немецкий паспорт с легальной визой, снабженной блестящей голограммой, беспокойство вернулось ко мне из прошлого. Впрочем, как оказалось, совершенно напрасно...

Симпатичная женщина в форме — круглолицая, как на иллюстрации к русской сказке, дружелюбно улыбнулась и незаметно поправила прическу, когда я посмотрел ей в глаза, а потом положила мой раскрытый паспорт на какое-то считывающее устройство. Она не собиралась снимать у меня отпечатки пальцев, как это было в Нью-Йорке, не расспрашивала с пристрастием, «почему и с какой целью я прилетел», как это было в Торонто. Ни там, ни там мне не желали «всего доброго», возвращая паспорт. Как это ни странно, именно здесь, в Москве, женщина-пограничник за пуленепробиваемым стеклом дала мне понять, что я для нее не только номер паспорта и визы.

Потом я долго блуждал в поисках транспортера с багажом. На бетонном полу кое-где спали люди, и мне показалось, я нахожусь в заполненном бездомными зале ожидания вокзала.

Получив чемодан, я направился к выходу, высматривая отделение банка, чтобы обменять евро на рубли. У входа в дорогой ресторан заметил надпись «Exchange». Толкнул стеклянную дверь и увидел что-то похожее на бутик. На кожаном диване в центре зала сидел мужчина в черном мундире и фуражке с автоматом на коленях и пакетом из «Макдональдса». Он был занят своим мобильником и не обратил на меня ни малейшего внимания. Я подошел к столу, за которым молодой прыщавый парень в синем костюме читал книгу.

— Сколько примерно денег потребуется, чтобы прожить один день в Москве? — спросил я по-английски.

Он весело посмотрел на меня, минуту подумал, ответил на безупречном английском:

— У меня уходит около пятидесяти рублей на сигареты, сто двадцать рублей на транспорт и сто рублей на водку. Итого примерно двести семьдесят. Вы из Европы или из Америки?

— Из Польши.

— То есть из Европы. По курсу на сегодня это будет от семи до восьми евро, — ответил он, переходя на русский.

— А во что мне обойдется доехать на такси от аэропорта до центра Москвы? — спросил я, тоже развеселившись.

— Трудно сказать, это зависит от того, едете ли вы в такси один или с русским.

— А можно полюбопытствовать, почему? — спросил я удивленно.

— Ну, если вы едете с русским, это будет стоить где-то в сорок раз меньше. Я слышал, японцы как-то заплатили названную таксистом сумму в евро вместо рублей: просто не поняли...

— Ну, такое случается и в Варшаве, — прервал я его.

— Понятное дело, — подхватил парень и рассмеялся. — Только в Варшаве один евро — это четыре злотых, а здесь, в Москве — сорок рублей. На самом деле дорога до центра города стоит не больше тысячи двухсот рублей. А те японцы заплатили тысячу двести евро. За эти деньги можно доехать отсюда до центра... Санкт-Петербурга.

— Ну, хорошо. Обменяйте мне, пожалуйста, триста евро. Хочу быть уверен, что мне хватит на сигареты, — пошутил я.

Парень попросил мой паспорт и долго заносил данные в компьютер. Наконец вернул мне паспорт и толстую пачку купюр, а потом с сомнением

в голосе добавил:

— Извините, вы сказали, что из Польши, но у вас немецкий паспорт. Я думал, поляки никогда не могут стать немцами. Мой дедушка рассказывал, что...

Я, черт побери, догадывался, что мог говорить его дедушка о поляках с немецким паспортом. То же самое наверняка сказал бы и мой. Если бы был жив. Так говорят все дедушки. Но я сомневался, что обменный пункт в московском аэропорту — подходящее место для подобных дискуссий. К тому же паспорт — всего лишь документ. Я невольно вспомнил свои размышления на стремянке в квартире Иоанны. Так вот, у меня не только с Иоанной, но и с немцами скорее договор, а не союз. И я не собирался ни перед кем оправдываться, тем более перед кассиром обменного пункта в аэропорту Шереметьево. И потом, мне страшно хотелось курить. Я сунул пачку банкнот в карман плаща, паспорт в сумку и молча вышел.

Выйдя из терминала, я закурил. Ко мне тут же подошел усатый мужчина со слегка раскосыми глазами и спросил на ломаном английском, не нужно ли мне такси. Я и сам толком не знал, куда собираюсь ехать. Наверное, все-таки в центр. На всякий случай сказал, что хочу на Красную площадь. Мне казалось, что там поблизости должны быть приличные гостиницы. Водитель весело рассмеялся и открыл багажник своей выдавшей виды оранжевой «Лады», демонстрируя, что из-за лежащих там двух запасных колес и чемоданчика с инструментами мой чемодан туда не поместится. Потом распахнул передо мной заднюю дверцу. Я уселся на сиденье в обнимку с чемоданом, и он рванул с места так, что взвизгнули покрышки.

Вскоре мы уже ехали по широким проспектам. В такси пахло бензином, луком и водкой. По полу катались, позвякивая, бутылки. Когда водитель закурил, я испугался, что машина взорвется, а он спокойно спросил: «Зачем приехали в Москву?». Я попытался вспомнить русские слова. Все-таки в Кракове я немного позанимался русским, а в самолете выпил, и это должно было мне помочь. Сам не знаю почему, я вдруг начал медленно рассказывать: «Магда Шмидтова, Берлин, девушка Дарья, могла погибнуть, жила с родителями в Москве, хочу найти Дарью, она красивая, молодая, из Берлина, в прошлом году вернулась в Москву...». Водитель вдруг резко свернул к обочине, затормозил и, обернувшись ко мне, начал расспрашивать: «Дарья? Берлин? Мистер из Германии? Из Берлина? Ищешь?» Он говорил так быстро, что я успевал только кивать и повторять: «Да, да, да». Тогда он достал сотовый и принялся с кем-то громко разговаривать. Он был очень взволнован и говорил со странным

произношением. Иногда я его вообще не понимал. Он постоянно повторял: «Дашенька, Берлин, господин из Германии...». Потом тронул с места. Не обращая внимания на то, что мы были на автостраде, пересек зеленый газон, разделяющий встречные полосы, и минут через двадцать сумасшедшей гонки мы очутились на узкой улочке, зажатой между огромными домами новостройки. Видимо, водитель часто здесь бывал — хотя дороги в некоторых местах напоминали только что подвергшийся бомбардировке полигон, мы ни разу не угодили в яму. Я плохо понимал, что происходит и почему вместо Красной площади мы приехали сюда. Предполагать, что первый попавшийся московский таксист отвезет меня к той Дарье, что я ищу, казалось абсурдом. Но я не видел причин сопротивляться.

Мы остановились у огромной помойки, обнесенной железной оградой. У ободранной двери подъезда стоял невысокий сутулый человек, одетый в черный костюм, черный галстук и белую рубашу, словно только что с похорон. Таксист вышел из машины, подбежал к нему, перебросился парой слов, вернулся и, открыв мне дверцу, сказал:

— Господин немец, это отец Дашеньки, Алексей Иванович...

Я вышел из такси, волоча за собой чемодан, достал бумажник и сказал:

— Я не немец. Я поляк. Сколько я вам должен?

— Да что вы?! Ничего не надо! Дашенька ведь мне как дочка.

Мужчина в черном костюме взял мой чемодан. Мы зашли в подъезд, где воняло гнилыми картофельными очистками, табаком и вареной капустой. Лестница, ведущая на первый этаж, была устлана покрытыми цементной пылью досками. Мы сели в лифт и поднялись на четвертый этаж. У открытой двери квартиры стояла женщина в толстом сером шерстяном свитере и длинной широкой черной юбке. Из-под черного платка выбивались пряди седых волос. Подойдя ближе и разглядев ее лицо, я заметил, что она, вероятно, немногим старше меня. Она протянула мне руку, которую я поцеловал. Она расплакалась. Мы прошли через заставленный рухлядью коридор и вошли в комнату. Посредине стоял огромный стол, накрытый белой скатертью. На нем несколько бутылок водки, тарелки, стаканы и рюмки, а еще ваза с цветами и фотография молодой девушки в рамке. Рядом с фотографией в золотом подсвечнике горела свеча. На диване у окна лежала огромная овчарка в наморднике. Мужчина в черном костюме взял меня за руку и подвел к стулу, на котором лежала вышитая подушка. Когда я сел, женщина в черном платке закурила, взяла рюмку водки, выпила и сказала:

— Я думаю, Дашенька любила только вас...

Передо мной разыгрывался какой-то сюрреалистический спектакль. И я принимал в нем участие. Я не осмеливался сообщить режиссеру о том, что я из другой труппы, так как спектакль уже начался, и я не мог сойти со сцены. Не замечая моего смущения, женщина вела свою роль так, будто выучила ее очень давно и сегодня случилась долгожданная премьера.

— Дашенька уехала в Берлин. Окончила институт и сбежала из Москвы. Отсюда бегут все кто может, этот город — сущий ад. Она не хотела быть для нас обузой. Была очень честолюбива. И упряма, вся в отца. Сначала устроилась горничной к богатым людям, потом освоила компьютер и стала работать в какой-то фирме. А потом познакомилась с вами. Она была так счастлива. Только о вас и писала. Молилась на вас как на икону... Она вернулась в Москву в мае прошлого года. На День победы. Не надо было ей возвращаться. Зачем? Парад и по телевизору можно посмотреть. А парень ее того не стоил. Молокосос, красивый, но глупый. Не хотел учиться, работать тоже не хотел, все на гитаре играл, песни ей пел, цветы дарил, шоколадом кормил, гладил по голове, за коленки хватал, всё чего-то обещал. Вскружил голову. Она уехала в Берлин уже влюбившись в него. Потом у него были другие женщины. Об этом судачили у нас во дворе. Но мы с Алексеем Дашеньке о том не писали — вдруг неправда. Может, люди просто завидовали ее счастью. Молодой мужчина может выпустить пар, пока любимая далеко. Но это была правда...

Женщина замолчала. Мужчина в черном костюме погладил ее по плечу. Она смахнула слезу и продолжила:

— Раз пришла к нам украинка. Беременная. Сказала, ребенок от него и они женятся. А написать Дашеньке он не решает и просит об этом нас. Мы не стали. Мало ли, может, аферистка какая, ведь украинки, знаете, все распутницы и врут как по нотам. Но, видно, кто-то ей все же сообщил, потому что Дашенька о нем больше не спрашивала. А сюда приехала на несколько дней. Хотела ему сказать, чтобы он ее не ждал, что вас она любит. В лицо сказать, чтобы все стало ясно. И сказала. А потом всю ночь проплакала. И я плакала вместе с ней. Мать должна плакать вместе со своей дочерью, когда у той уходит любовь. А он захотел встретиться с ней в последний раз. В России так положено. Мы с Алексеем на дачу уехали восьмого мая. Наш народный праздник приближался, было тепло, солнце пригревало. Мы уехали, чтобы молодые могли поговорить. И поцеловаться. И ребенка зачать, если захотят. Он должен был приехать к ней на мотоцикле. Это она ему на мотоцикл заработала, горничной, в Берлине. И он должен был впервые на нем приехать. Мы там, на даче, нервничали. Алексей не мог даже мангал разжечь, так руки тряслись. А мне и естьто не

хотелось. Мы все кота гоняли, он ждал шашлыков и мяукал как сумасшедший. Дашенька нам ни разу не позвонила, и на следующий день мы вернулись в Москву. Алексей хотел еще ночью ехать, но я настояла дожждаться утра. Дома ее не было, и телефон не отвечал. В комнате на столе лежали белые розы. Даша такие любила. А на ее кровати — альбомы с фотографиями и несколько листков бумаги. Дашенька своему парню все стихи писала. Алексей на работу не пошел, все ходил по квартире, как зверь в клетке, и в окно выглядывал. Потом, ближе к вечеру, в дверь позвонили, и мы оба побежали открывать...

В это мгновение лопнуло стекло. Женщина стряхнула на белую скатерть осколки раздавленной рукой рюмки. Сложила ладони, будто для молитвы, и с закрытыми глазами слизывала стекавшую между пальцев кровь. Я вскочил. Мне хотелось убежать. Мужчина в черном костюме тоже встал. Держа в руке бутылку водки, начал рассказывать, а я, зажатый между столом и стулом, слушал.

— Сначала мы поехали в отделение милиции. А потом в морг. У Дашеньки еще были глаза открыты. Если бы не синяк на лбу, под волосами, и засохшая струйка крови на губах, можно было подумать, что она спит с открытыми глазами. И легкой улыбкой на губах... Мотоцикл врезался в фонарь. Было сухо, улица была пуста, дорога прямая, и поворота там не было. Оба были в шлемах, а мотоцикл новый и исправный... Парень погиб на месте. Дашенька умерла через несколько минут, в «скорой». Перед смертью ничего не сказала... Ни словечка...

Наступила тишина. Глядя мне в глаза, он добавил без интонаций:

— Вы ее ищете, ведь так? Жена говорила, вы будете ее искать. И когда-нибудь нас найдете. Дашенька только о вас и говорила. Только о вас.

Я стоял, низко опустив голову и закрыв глаза, и слышал голос Иоанны, шепчущей мне на ухо: *«Ведь есть и ложь во благо, ложь по необходимости, ложь во спасение надежды, за которую попадают на небо. Бывает так, что нужно солгать. Ты этого не умеешь, но должен научиться. Научись. И когда будет нужно, солги...»*. И я открыл глаза, поднял голову и громко сказал каким-то чужим голосом:

— Я никогда ее не забуду...

Меняхватило только на эту порцию лжи...

Потом мы обнимались, плакали, выпивали, рассматривали фотографии Дарьи, и женщина читала мне вслух ее стихи. Узнав, что мне нравится борщ, достала из холодильника кастрюлю: «украинский, самый вкусный, и, конечно, с пампушками, только сегодня сварила». А когда мужчина узнал, что я плохо переношу водку, через четверть часа такси доставило для меня

целую коробку вина. Когда мы ели блины, женщина показала мне фотографии могилы. Сидя между несчастными родителями, которые свято верили, что я тот самый мужчина, которого любила их дочь, я смотрел на фотографию улыбающейся молодой девушки и гадал, благодарна она мне за эту ложь или ненавидит за нее...

Под утро, когда уже почти рассвело, мужчина в черном костюме спустился со мной на улицу; мы вышли на широкий проспект и стали ждать «маршрутку». Я не совсем понимал, что это такое, но надеялся, что меня довезут куда-то, где я смогу преклонить голову. Через несколько минут рядом с нами остановился белый «Форд», у которого горела только одна фара. Мужчина долго разговаривал с водителем, что-то ему объясняя. Затем протянул мне несколько купюр, забросил мой чемодан в багажник, обнял меня на прощанье и вручил холщевую сумку, в которой были банка с борщом, пампушки, завернутые в вощеную бумагу, блины в пластиковом контейнере и бутылка вина. Перед тем как закрыть за мной переднюю дверцу, он меня перекрестил. Как та старушка на автобусной остановке в Желязовой Воле...

Несколько минут мы ехали в тишине. Мне не хотелось ни говорить, ни кого-то слушать. Я мечтал забыться. Закрыв глаза, сжимал в руках холщевую сумку, ощущая сквозь ткань тепло борща. Лицо девушки с фотографии стояло у меня перед глазами...

Вдруг водитель прервал молчание:

— Я довезу сначала мужчину, а потом вас, хорошо?

Я не сразу понял, кому он это говорит. Затем обернулся и увидел, что я не единственный пассажир. На заднем сиденье, прижавшись щекой к стеклу, кто-то сидел. Краем глаза мне удалось рассмотреть женский профиль. Длинные светлые волосы падали на голое плечо, с которого соскользнула бретелька платья. Рядом с девушкой на сиденье лежали туфли, открытая книга и сумка. Я услышал ее тихий шепот:

— Конечно. Как вам будет удобно.

Мы ехали по пустынным улицам. Постепенно гасли фонари. Над Москвой вставало солнце. Я то задремывал, то снова просыпался. Вдруг повеяло холодным воздухом. Мы стояли на пандусе, ведущем к высокому зданию. Я вышел из машины. Шофер молча поставил мой чемодан на землю, сел в машину и уехал. Девушка с заднего сиденья шевелила губами, что-то говоря, но я не расслышал. Я смотрел на нее, пока автомобиль не скрылся за поворотом.

Я вошел в ярко освещенный просторный холл гостиницы, но тут же опустил чемодан на пол и с криком выскочил на улицу — в такси осталась

холщовая сумка с банкой борща и блинами! То, что произошло дальше, напоминало кадры из дешевого боевика. Не успел я и охнуть, как уже лежал с заломленными за спину руками, прижатый лицом к бетонному пандусу. Двое мужчин в форме с пистолетами в руках кричали что-то друг другу и обыскивали меня. Затем, схватив меня за руки и за ноги, оттащили на парковку у гостиницы и бросили на пол в будке охранника. Спустя несколько минут раздался вой сирен и скрип покрышек резко затормозивших автомобилей. Я пытался говорить на всех известных мне языках, но люди в форме не обращали на это никакого внимания. Мало того, с меня сняли ботинки и куда-то их унесли.

Не знаю, как долго я пролежал вниз лицом на полу этой будки. Может, десять минут, а может, час. Из обрывков телефонных переговоров я разобрал слова «террорист», «чемодан», «иностранец», и ситуация начала постепенно проясняться. Когда я бросил чемодан в центре холла и с криком «Боже мой!» выбежал на улицу, обслуживающий персонал решил, что в чемодане бомба. Взрыва не последовало, группа военных экспертов обследовала каждую пылинку в моем чемодане, и в будку охранника прибыла делегация в составе директора гостиницы, психиатра в белом халате, трех милиционеров и переводчицы, предоставленной немецким посольством. Через служебный вход мы прошли в кабинет директора. На кожаном диване, прижавшись друг к другу, сидели родители Дарьи. В кармане моего пиджака нашли листки с ее стихами и адрес. Их вытащили из постели и на милицейской машине с сиреной доставили сюда. Пока суд да дело, сотрудники немецкого посольства, которое известили об инциденте, проверили данные моего паспорта и выяснили, что я являюсь пациентом психиатрической клиники. Все сошлось. Польский псих с немецким паспортом, сбежавший из сумасшедшего дома в связи с трагической смертью своей русской любовницы, в порыве отчаяния прилетел в Москву, чтобы взорвать себя вместе с постояльцами отеля. Сначала он отправился проститься с родителями девушки, а потом, напившись пьян, оставил чемодан с бомбой в холле, но в последний момент струсил и попытался бежать. Романтичная, очень русская история.

В кабинете директора мне пришлось выслушать длинную торжественную речь. Для начала передо мной извинились, так как в моем чемодане не оказалось никакой бомбы, а ни в одной из баз данных во всем мире не прослеживалось ни малейшей моей связи с террористическими организациями. Если не считать поездки в Израиль, я не был ни в одной из стран Востока, ни в Пакистане, ни в Афганистане, ни даже в Турции. А в России оказался первый раз в жизни и прилетел сюда не из Чечни или

Абхазии, а на самолете компании «ЛОТ» из польского Кракова. Я не являлся членом политической партии ни в Польше, ни в Германии. Кроме покупки нескольких петард накануне Нового года пару лет тому назад, никогда не проявлял интереса к взрывчатым веществам. В армии, благодаря знакомствам и большой взятке, никогда не служил. Заискивающий тон директора свидетельствовал, что теперь он напуган даже больше, чем я. Он отдавал себе отчет в том, что сети их отелей не пойдет на пользу эта история. От моей реакции на происшедшее слишком многое зависело, поэтому он постарался объяснить мне, почему его персонал поддался панике.

— После взрывов в метро на станциях «Лубянка» и «Парк Культуры», а с тех прошло около трех недель, люди напуганы. Вы должны нас понять...

Это я понимал, но не мог понять, почему из-за меня так бесцеремонно обошлись с родителями Дарьи. Милиционеры решили записать в протокол мою версию произошедшего. Она показалась им вполне правдоподобной, за исключением истории с холщевой сумкой, борщом, пампушками и блинами. Когда я об этом рассказал, объяснив, что сумка мне очень дорога, потому что это подарок от всего сердца, мать Дарьи громко разрыдалась, а отец, прикуривавший одну сигарету от другой, попытался ее успокоить. Больше всего я боялся, что милиционеры захотят выяснить, как я познакомился с Дарьей. Тогда мне пришлось бы во всем признаться, и это стало бы тяжелым ударом для ее родителей. Но к счастью, директору и милиционерам, видимо, надоели причитания матери Дарьи, и они не стали меня больше расспрашивать.

— Одежду почистят за наш счет, — сказал директор, — мы оплатим стоимость нового чемодана, так как ваш, к сожалению, поврежден. Нам неизвестны ваши планы на время пребывания в Москве. Если вы планируете провести все это время в Москве, наша гостиница в вашем распоряжении. Разумеется, бесплатно. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили лучшие апартаменты. Кроме того, вы будете желанным гостем во всех наших ресторанах и барах. Я распоряжусь, чтобы вам открыли неограниченный кредит. Таким образом мы надеемся загладить неприятные впечатления об этом инциденте. Согласитесь ли вы принять извинения с нашей стороны и забыть о произошедшем? — закончил он, умоляюще глядя мне в глаза.

Я посмотрел на свою рубашку без пуговиц, на исцарапанные ладони, грязные на коленях брюки, ноги в дырявых носках. Перевел взгляд на родителей Дарьи. В этом роскошном кабинете, в своей скромной

старомодной одежде, они казались инопланетянами. Хотя жили в том же городе.

— У вас есть водка? — спросил я тихо. — Вообще-то я не пью, но сейчас мне хочется заглушить дурные воспоминания.

Директор вздохнул с облегчением и сделал знак администратору. Если у славян дело доходит до предложения выпить, значит, обиды будут забыты.

— А еще я хотел бы, чтобы вы извинились перед Алексеем Ивановичем и его супругой за беспокойство. Я присоединяюсь к этим извинениям, — добавил я.

— Ну конечно! Я прошу Алексея Ивановича и его супругу простить нас, — сказал директор, встал из-за стола и подошел к напуганным родителям Дарьи, протягивая им руку.

Через несколько минут на столе появились бутылки, рюмки и тарелки с закуской. Милиціонеры расстегнули мундиры, переводчица ушла, психиатр снял свою смешную шапочку, а директор развязал галстук. К полудню администратор проводила меня в лучшие апартаменты. Я упал в огромную кровать и мгновенно заснул.

Анна

Уже в девять утра она открыла массивную дверь Госархива. Охранник удивился:

— Не спится вам, Анна Борисовна. Весна на дворе, сил никаких ни у кого нет, витаминов не хватает. А вы в такую рань на работу.

— Не спалось сегодня, Евгений Витальевич, кошмары замучили, — улыбнулась она.

Взяла ключи и быстро поднялась по широкой лестнице. Она могла найти свой кабинет с завязанными глазами. Память вообще странная вещь: она хранит каждый шаг и поворот на привычном пути, а порой мучает приходящими некстати призраками, вызывая щемящую боль. Анна вспомнила, как в детстве мечтала стать актрисой. Заучивала наизусть длинные стихи и монологи. Рассказывала за чаем бабушке. Он внимательно слушал, делал замечания. Тогда она думала, что ей есть что сказать людям, что она может быть избранной. Она шила из занавесок и маминых платьев сценические костюмы, представляла себя в свете рамп. Как же легко отказалась она от своей мечты, предала ее, даже не попытавшись воплотить в жизнь. На первом туре экзаменов в Школу-студию МХАТ, когда она

взволнованно читала Ахматову, ей казалось, что еще чуть-чуть — и в ней взорвется, как шаровая молния, вся человеческая любовь и скорбь. Но белокурая женщина с голубыми глазами — Анна так никогда и не узнала ее имени — разрушила ее мечту.

— Слишком нестандартна, слишком эмоциональна. Все слишком....

Анна открыла кабинет, не включая свет, подошла к музыкальному центру и поставила диск. В минуты растерянности и сомнений по поводу замыслов Создателя, а то и в претензиях к нему, она любила слушать Моцарта. Казалось, он точно знает ответы на вопросы. Его музыка вселяла уверенность. В ней добро безоговорочно побеждало зло. В отличие от Паганини с его надрывом. Сейчас Анне просто необходимо было услышать гармонию. У Моцарта гармония идеальна. Особенно в Сороковой симфонии.

Присела, не сняв пальто. Достала сигарету, закурила, закрыв глаза и внимая каждому звуку.

— Анечка, дорогая, что это вы? Неужели курите? — Марина Петровна стояла на пороге и тревожно смотрела на нее.

— Захотелось.

— У вас же астма!

— Ничего со мной не случится.

— Потушите сигарету, немедленно! Я сейчас чаю заварю.

Анна сняла пальто, села к столу и включила компьютер. Марина Петровна накрыла заварочный чайник полотенцем, присела рядом.

— Сегодня соседа своего утром встретила. Грустный такой. У него дочка год назад за поляка замуж вышла. Он здесь по делам фирмы был, какой-то строительной. Хороший парень. Открытый. Добрый. Он ее в Варшаву увез. И тут такое!словно гром среди ясного неба. Он говорит, поляки вообще не понимают, как жить дальше. Многие не верят в случайность.

— Да, тут волей-неволей задумаешься, — кивнула Анна. — Как могло случиться, что вся политическая элита Польши, военнослужащие и духовенство сели в один самолет, которому суждено было разбиться? Помните, Марина Петровна, мы про замыслы Всевышнего в Берлине говорили. Рассуждали так умно... — голос Анны дрожал. — Какие замыслы? Как он может равнодушно взирать на то, как разбивается пассажирский самолет... Как гибнут дети...

— Даже не знаю, что вам ответить, Анечка. Сама вчера не могла заснуть, все думала. Даже корвалол пришлось выпить. Давайте-ка чаю.

Работы накопилось много. Анна должна была систематизировать

материалы берлинской выставки для архива и публикаций, но никак не могла сосредоточиться.

В тот день они с Мариной Петровной задержались на работе. Такое часто случалось. Обоим некуда было спешить.... Недовольный охранник дважды заходил к ним, потом махнул рукой и отправился с банкой пива смотреть футбол.

По дороге домой Анна заехала в универсам за покупками. Открыла дверь подъезда, начала медленно отсчитывать ступени. Добравшись до своего этажа, вдруг поняла, что больше всего на свете сейчас хочет увидеть Дашу. Они общались всего каких-то несколько часов, но эта девушка стала ей родной и близкой. Наверное, самой близкой.

Бросила сумку с продуктами в холле, не разуваясь, прошла в спальню. Открыла дверцу тумбочки. Под документами и фотографиями лежала сложенная вчетверо записка с адресом Даши.

Анна прижала ее к лицу. Представила Дашины губы цвета спелой вишни, ее беспокойные маленькие руки, темные волосы, чуть раскосые блестящие темные глаза.

— Не понимаю, что со мной происходит, черт возьми! — сказала вслух. — Да и не хочу понимать!

Сергей снова был на Севере или где-то еще. Может быть, у очередной любовницы. Какая разница. Так даже лучше. Ничего не придется объяснять.

Усевшись на краю кровати, стянула сапоги. Скинула пальто, рывком, так что отлетела пуговица, расстегнула строгий пиджак горчичного цвета. Оставшись в нижнем белье, распахнула шкаф и стала перебирать вешалки с прямыми брюками, сдержанных тонов костюмами, белыми блузками.

— Не то, не то, — бормотала она.

Наконец вытащила короткое платье цвета лаванды, купленное по случаю и ни разу не надетое. Это платье в ее гардеробе было словно необычный экспонат в этнографическом музее. Очень открытое, на груди мягкий бант. Аккуратно разложила его поверх вышитого журавлями покрывала. Журавли вытянулись стройным клином с северо-запада на юго-восток. Анна любила гладить их, она вообще любила красивые, изящные вещи, находя в них утешение. Но сейчас она почти бегом отправилась в ванную, умылась горячей водой. Нанесла тональный крем, золотистые румяна, брызнула на шею и за ушами любимые духи.

Через пятнадцать минут уже спускалась вниз по лестнице. Не стала вызывать такси, решила поймать машину на проспекте.

— Куда это ты, красотка, на ночь глядя? — игриво спросила толстая

женщина, соседка из седьмой квартиры. Она работала дворником и считала своей обязанностью быть в курсе всего происходящего в доме.

— К подруге, — ответила Анна. Ей вдруг стало жарко, будто внутри разожгли печь.

Стоило взмахнуть рукой, как остановился первый же автомобиль. Это был когда-то серебристый, а теперь весьма потрепанный «Форд Фокус» — задняя дверца помята, одна из фар разбита.

— Проспект Вернадского, — проговорила Анна, волнуясь.

— Нет проблем, — ответил водитель, молодой симпатичный парень с косой челкой, падающей на лоб.

Анна скользнула в салон, где приятно пахло терпким мужским одеколоном и немного — кофейными зернами. Водитель обернулся, приветливо улыбаясь, и его правильный профиль показался ей смутно знакомым.

— Добрый вечер, — сказал он с легким акцентом, Анна не разобрала, каким, немецким, что ли.

— Добрый вечер, — ответила она и, открыв сумку, достала зеркальце, посмотрела на свое отражение.

Пробок на дороге не было. Слава богу, по ночам люди спят. Через полчаса они уже были на месте.

Вылезла из автомобиля. Торопливо пошла, придерживая воротник пальто, по пустой улице.

«Огради меня от моих желаний, — подумала Анна, покупая в ночном магазине белые розы. — Наверное, только в России можно поздним вечером купить цветы», — промелькнуло в голове.

Дашину квартиру она отыскала без труда.

Та открыла дверь с заспанным, но обворожительным лицом — таково необъяснимое свойство красивых женщин. Улыбнулась, взяла цветы, прижала к груди. Узкое лицо на фоне бледных бутонов и само казалось цветком.

Даша не глядя опустила розы на стол, некоторые упали, и она присела на корточки, чтобы их собрать.

— У меня и ваза-то только маленькая, для ландышей. Я в нее салфетки ставлю, когда гости приходят. Мне не дарят цветов, я всем говорю, что не люблю их.

Подняла последнюю розу, повертела в руках, глянула в окно. Там стоял весенний вечер. Задела локтем стопку лазерных дисков, они посыпались вниз, Даша досадливо обернулась:

— Который день собираюсь навести порядок, перебрать, подписать

все это, половину можно выкинуть... но валяюсь на диване и смотрю в потолок. А на него и смотреть-то стыдно, весь в трещинах, его надо срочно красить, или натяжной делать. Или подвесной.

Даша барабанит пальцами по подоконнику, отодвигает лежащий на полу диск босой ногой с покрытыми темно-лиловым, почти черным лаком ногтями. Детским движением заправляет темные волосы за ухо, в мочке белеет жемчужина, идеально ровная, успокаивающе искусственная. Даша не смотрит на Анну, разглаживает подол длинного домашнего платья. Анна не смотрит на Дашу, она пытается усмирить сердце, колоколом бухающее в горле, приставляет пальцы к вискам, чтобы хоть на миг остановить головокружение... Губы у нее дрожат, колени трясутся. Она растерянно разворачивается и идет к дверям, переступая через зеленые стебли. Слышит за спиной звон разбивающегося стекла. Даша опрокинула чашку, холодный чай разлился прозрачной лужицей у ее босых ног, на полу лежат осколки с красивым узором из переплетенных ромашек.

— Я такая дура. Прости меня. Даже не поблагодарила за цветы. Какие чудесные туфли, можно примерить? — Розу она так и сжимает в руке.

Анна снимает туфлю на высоком каблуке, надевает Даше, чья кожа кажется тонкой, как тесто для пахлавы. Переводит дыхание, надевает вторую, Даша делает несколько неуверенных шагов к большому зеркалу, рассматривает свое отражение, они встречаются в зеркале глазами.

— У тебя прекрасный вкус, дорогая, — говорит Даша и подходит ближе.

От ее тела идет ощутимый гул, как в метро перед прибытием поезда, и жар — Анне кажется, она обожжет ладони, дотронувшись до ее лба, светящего ровной полоской под черной густой челкой. А Даша все говорит, никак не может остановиться:

— Пришла какая-то газовая служба с проверкой оборудования. Два молодых парня, очень похожие друг на друга, у них такие глаза, просто огромные, редкого цвета — зеленого. Как изумруды. У обоих. Я так обрадовалась, что стала смеяться, смеялась долго, они уже ушли, а я все смеялась. Правда, забавно? А еще пела песню: «О-о-о, зеленоглазое такси...» Вот так, но я ведь хорошо пою?

Анна молчит. А Даша продолжает:

— Скоро будет лето, очень скоро, я так люблю лето. Лето — это большая белая тарелка с золотым ободком, или нет, лето — это корзина, увитая цветными лентами... Или нет, лето — это пляжная сумка из прозрачного пластика в сине-желтую полоску, на дне толстый детективный роман, шлепанцы-вьетнамки с бусиной на перемычке, шорты из

обрезанных джинсов, яркий лак для ногтей и майка на лямках. Много черешни, абрикосов, холодного крымского шампанского, оно нагреется в пляжной сумке, но можно положить рядом широкогорлый термос с кубиками льда... Хотя нет, термос не поможет. Тогда уж лучше клубничную «Маргариту», крушон в узбекской дыне и персиковую «Маргариту», туфли из тонких ремешков на платформе, солнечные очки, длинное шелковое платье...

Даша встревоженно смотрит и открывает рот, чтобы сказать что-то ещё, и Анне приходит в голову, что с того момента, как она позвонила в дверь, сама она произнесла всего пять слов: «Прости, что я без приглашения».

Она не представляет, что делать дальше, она никогда раньше... Но тут Даша, смущенно улыбаясь, осторожно берет ее за руку и сплетает свои обжигающе горячие пальцы с ее ледяными. Блестящие глаза спокойно и ласково смотрят на нее. Анна чуть поворачивает голову и дышит в маленькое ухо, закрывает и открывает глаза, по-детски щекоча ресницами, и тогда Даша наконец замолкает...

И тогда говорит уже Анна:

— У тебя такие красивые волосы, завиваются кольцами... Можно накрутить на палец... Сколько получится оборотов? Давай попробуем... Десять с половиной, почти одиннадцать... Как у мудреного замка, дополнительные пол-оборота — для блокировки. Оказывается, я люблю кудри — только свои терпеть не могу. Не помню уже, почему. Недавно приснилось, что я умерла и очутилась в другом мире. Там я ходила кудрявая, длинноволосая, и брови были такие, как есть. И одета была странно — в детстве моя одноклассница носила китайскую шерстяную кофту, просто ужасную, с узором из домиков и собачек, а я ей страшно завидовала и мечтала о такой же, с зелеными деревянными пуговицами. Весь сон то застегивала ее, то расстегивала, и пуговицы были зелеными, и собачки те же. И домики на месте, да.

Анна скользит по простыне абрикосового цвета, простыни кажутся прохладными, ее грудь покрывается крупными мурашками. Даша прикасается к ней губами. Большие напольные часы отбивают двенадцать ударов, порывом ветра распахивает форточку, и Анна закрывает глаза, вновь уплывая, уносясь, возносясь...

— Какие тебе снятся сны, — говорит Даша чуть позже, — страшные... Я люблю страшные сны... После них веселее живется...

Они устроились вдвоем на широком подоконнике, уже почти утро, начинает светать.

Открыли бутылку вина, у Даши нашлась, от старых времен, Анна отметила, что вино кисловатое, но какая разница.

— А я, — продолжила Даша, — периодически боюсь утратить связь с реальностью: начать раздеваться прямо в кафе... или рассказывать прохожему о своей личной жизни. Понимаешь?

— Понимаю, — ответила Анна, сделала глоток и погладила Дашу по голове.

Даша прижалась к лицу Анны своей щекой. Было тепло и уютно, было трогательно.

— Я бы съела что-нибудь, — удивилась сама себе Анна.

— Закажем пиццу? Или роллы? Что предпочитаешь?

Даша прошла в комнату, вернулась с кучей глянцевого проспекта, предлагающих доставку готовых блюд на дом.

— И кино посмотрим, — предложила она, — ты как относишься к Одри Хепберн?

— Очень хорошо, — ответила Анна, — просто замечательно отношусь! Однажды она спасла меня своей улыбкой в «Римских каникулах». У нее всегда такое любящее лицо... Я где-то читала, что она ответила журналисту: «Люди гораздо больше, чем вещи, нуждаются в том, чтобы их подобрали, починили, нашли им место и простили; никогда никого не выбрасывайте...»

— Не выбрасывайте... — повторила Даша.

Анна зажмурилась: в глаз попала соринка.

— Что это мы о грустном! Хотели же о еде! Заказывай на свое усмотрение, — сказала она бодро, — а я умоюсь. Что-то в глаз попало, ужасно неприятно...

— Пожалуйста! — крикнула Даша, она уже просматривала буклеты и набирала какой-то номер.

Анна обнаружила ванную комнату, открыла дверь. Непосредственно ванны, чугунного или жестяного корыта — там не обнаружилось, зато в углу размещалась душевая кабина, слева — удобная большая раковина. Зеркальная стена, пушистые полотенца, кафель в золотистых тонах. Анна включила воду, отрегулировала температуру, подставила руки под струю, подумала: «Ваше чистое лицо прекрасно...»

Струна

Было темно, когда я услышал, как кто-то царапается в дверь.

— Киня, — крикнул я сердито, — успокойся, потерпи до утра! Я покормлю тебя, ты же знаешь, — и рукой попытался найти Иоанну.

Открыл глаза, перевернулся с живота на спину и почувствовал резкую боль. Кровь на разбитых коленках прилипла к простыне, и резким движением я словно сорвал пластырь с раны.

Я не в Новой Гуте, и это не Киня скреблась в дверь. Я в Москве. Взглянул на светящийся в темноте под телевизором циферблат. Скоро двенадцать. Темно, значит, приближается полночь. Я торопливо засеменяю к двери, чувствуя, как на разбитых коленях лопаются корочки. Идти было больно. И боль я ощутил только сейчас. Это как после дорожного происшествия: сломанные ребра начинают болеть лишь несколько часов спустя, когда спадет уровень адреналина и пройдет шок.

За дверью стояла улыбающаяся девушка, одетая в костюм официантки из берлинского кабаре. На ней был черный лифчик, тесно обхватывавший загорелую грудь, туфли на высоких каблуках, а на бедрах короткая черная юбка с маленьким белым кружевным фартучком. Она держала в обеих руках по бутылке шампанского.

— Господин директор прислал меня спросить вас, не нужно ли вам в чего-нибудь, — сказала она по-английски, кокетливо облизнув губы.

Неужели мы с «господином директором» зашли в мировом соглашении так далеко, что кроме номера, еды, напитков и лимузина, мне полагался еще и дополнительный бонус в виде столь специфического понимания законов гостеприимства?

— Нужно, и еще как. Ведро питьевой воды и упаковка медицинского пластыря, — ответил я, улыбнувшись, и широко распахнул дверь.

Входя, она на мгновение ко мне прижалась. На чудовищно высоких шпильках она передвигалась как на котурнах. Я сел на кровать, а она, забросив ногу на ногу — на столешницу дубового письменного стола у окна. Посмотрела на меня недоверчиво. Видимо, в рваной рубахе и брюках я был похож на подстреленного партизана. Я сообщил, что после одного неприятного инцидента, о котором ей наверняка известно, у меня чудовищное похмелье и мне очень хочется пить. Я испачкал кровью постельное белье, и у меня болит все тело. Она соскользнула со стола — я успел заметить, что под юбкой на ней не было белья, — открыла мини-бар и извлекла оттуда все бутылки с минеральной водой. Потом позвонила на ресепшн и попросила принести пластырь, бинты и зеленку. Села рядом, включила лампу на ночном столике, сбросила бретельки и стала нежно поглаживать мои руки. Не дождавшись моей реакции, предложила сделать массаж.

Я взглянул на нее. Она выглядела моложе, чем Дарья с фотографии. Если бы не яркий макияж, была бы похожа на девочку-подростка с ненатурально большой грудью. У нее и голосок-то был детский, хотя когда она со мной говорила, понижала его на несколько октав и добавляла хрипотцы. Она сидела так близко, что наши головы почти соприкасались. От нее пахло смесью духов с нотой жасмина, мяты от жевательной резинки и розы от губной помады.

Я отдавал себе отчет в том, зачем ее ко мне прислали. Еще ни разу в жизни никто не пытался навязать мне женщину! Я никогда не был у проститутки, и ни одна проститутка не была у меня. И никогда не будет. Деньги за секс всегда ассоциировались для меня с унижением, причем не столько для женщины, сколько для мужчины — потому что у проститутки нет выбора. Но я решил, что массаж бы мне не повредил, и уж в нем-то нет ничего унижительного. Я встал, разделся и с бутылкой минералки в руке направился в ванную. Принял душ, почистил зубы и вернулся в комнату. Девушка, теперь уже совершенно голая, сидела на краешке стола. Я подал ей обнаруженный в ванной флакон с лосьоном для тела и лег. Она уселась мне на спину, широко разведя ноги, и принялась массировать шею, потом спину, а потом пальцами и запястьями тщательно разминать место ниже копчика, где начинается ложбинка между ягодицами. Массаж мне делали много раз, но никто еще не занимался именно этим местом. Она нежно надавливала, гладила, иногда склонялась над ним и согревала дыханием либо лизала языком. Я ощутил приближающуюся эрекцию и поспешно затолкал под живот подушку.

Между делом мы разговаривали о Москве, о погоде, об автомобилях и музыке. Девушка рассказала о себе: родом из Архангельска и уже год учится в консерватории на скрипичном отделении оркестрового факультета. К середине месяца у нее заканчиваются деньги на жизнь, телефон и транспорт, и она «подрабатывает массажисткой в гостиницах». Так она это назвала.

— Это в определенном смысле полезно, — заметила она с иронией, — я тренирую пальцы. У моих коллег всегда много заказов, причем чаще от мужчин, — добавила она.

Я хорошо знал Московскую консерваторию, одну из лучших в Европе, с многолетними традициями. Она была основана в середине девятнадцатого века, там изучал теорию музыки сам Чайковский. Многие из моих друзей-музыкантов, особенно американцы, мечтали работать или хотя бы стажироваться в этом учебном заведении.

Я попросил, чтобы она, не прерывая массажа, напела мне свой

любимый скрипичный концерт. Она громко расхохоталась в ответ и замолчала. Несколько мгновений я слышал только шуршание ее пальцев по моей коже. И вдруг она стала напевать. Сначала очень тихо, потом все громче и громче. Перевернула меня на спину, села у меня в головах и, не прерывая пения, массировала мне грудь. Потом встала на колени и массировала живот, потом опустилась ниже. Я смотрел на ее ягодицы, поднимающиеся и опускающиеся груди, чувствовал свою эрекцию и знал, что она ее видит. В какой-то момент я стал ей подпевать.

— Мендельсон, концерт ми минор, опус 64, не так ли? — спросил я, приподнявшись на локтях и набрав в легкие воздуха, усилил звук.

— Да! — воскликнула она. Села передо мной, поджав колени к груди и обхватив их руками, смотрела мне в глаза и слушала. Когда я смолк, она прошептала:

— Я не хотела. Это был обычный заказ, простите меня. Извините.

Я видел, что она плачет. Торопливо встав с кровати, она подобрала с пола лифчик и юбку и скрылась в ванной. А потом выбежала из номера. Я услышал только хлопок двери.

Я лежал и думал о том, что произошло. Все случилось так неожиданно. Правда, у меня было ощущение, что все происходящее со мной в Москве неожиданно, а значит, и это событие не выходит за пределы нормы. А потом я подумал о том, что последний раз слушал этот концерт Мендельсона в Нюрнберге, через две недели после рождения Добруси. Я только что стал отцом и любил Изабеллу безумно. Помню, как меня мучили угрызения совести, ведь я оставил их на целый день и целую ночь одних, но работа есть работа, и присутствовать в концертном зале Нюрнберга я был обязан. Интересно, если бы тогда в нюрнбергскую гостиницу ко мне, влюбленному в жену и обожающему новорожденную дочку, пришла молоденькая полуголая девушка, похожая на модель с канала MTV, разделась и стала массировать меня так, как делала эта русская Лолита минуту назад, стал бы я напевать ей скрипичный концерт?! Нынешние обстоятельства скорее благоприятствовали нашему сближению. Кроме этических соображений, которые в конце концов и сыграли свою роль. И все по моей вине, из-за злосчастного Мендельсона. Девушка получила задание ублажить важного постояльца всеми возможными способами. Я как нормальный гетеросексуальный мужчина, по мнению директора, не должен был иметь ничего против. Расчет был на присущую мужчинам склонность к прелюбодеянию. Оставалось ответить себе на самый важный вопрос: хотел ли я этого несколько минут тому назад? И захотел бы, чисто теоретически, тогда, в Нюрнберге? С точки зрения физиологии все

говорило о том, что только что я точно этого хотел. Трудно не возбудиться, когда молодая красивая женщина массирует тебе чресла. Особенно, когда у нее сильные руки скрипачки. Дальнейшее было предопределено. Она должна была склониться над моим торчащим членом, взять его в рот либо сесть сверху. Я ни на минуту не перестал бы любить Изабеллу, девушке и в голову не пришло бы забыть про своего парня, каковой у нее наверняка есть. Потом, когда все закончилось бы, мы с ней еще некоторое время скрывали бы смущение, прижимаясь друг к другу, а затем наша так называемая близость забылась бы как незначительный эпизод.

Было бы это изменой? Да. Но стоит ли на это смотреть трагически? Разочаровываться в любви или даже расставаться? Если речь идет о нарушении права на интимные контакты исключительно с постоянным партнером, однозначно да. Если же об исключительном праве на любовь, решительно нет! Но стоит ли ради нескольких минут «преобладания похоти над здравым смыслом» разрушать чувство уважения, доверия и безопасности? Я не перестал бы любить и уважать Изабеллу, разрядив свое сексуальное напряжение в рот или вагину абсолютно чужой мне девушки. Но у Изабеллы было право считать, что это не так.

Если бы все это произошло, следовало ли признать мое поведение неэтичным? Ведь большинство людей связывают слово «этика» с моралью и сексуальной гармонией. Распутника считают аморальным. И поминают десять заповедей. Но если принять во внимание только шестую и девятую заповеди из десяти, придется признать, что представления о морали у людей разнятся. То, что одним представляется аморальным, для других таковым не является. У меня есть друг, известный швейцарский пианист, который не скрывает своих любовных походов ни от кого, в том числе от жены. Мне довелось бывать в их доме в Базеле. Они замечательная, счастливая пара. Живут вместе уже около двадцати лет. Для них понятие верности заключается в другом, и их этика не вписывается в общепринятые нормы. Так, может, в этом вопросе не стоит руководствоваться догмами? Может, приверженность им свидетельствует о косности? И нет такого свода правил, соблюдение которых дает любому право считать себя приличным человеком?

Верность, низведенная до моногамии, является несбыточной мечтой, а моногамия как таковая абсолютно противоречит физиологии. То, что около пятидесяти процентов пар хранят верность друг другу в течение всей жизни, не что иное, как акт самоотречения. С обеих сторон. И встречается только у *Homo sapiens* и еще у плоских червей под названием «Спайник парадоксальный» (*Diplozoon paradoxum*), паразитирующих на жабрах

пресноводных карповых рыб. Уже само название вида указывает на то, что это — парадокс природы. Самка и самец встречаются в раннем периоде жизни, и с момента встречи их тела срастаются. Так что по чисто техническим, так сказать, причинам они не имеют возможности поддаться искушению. Все остальные живые существа не хранят верность партнерам. А знаменитая лебединая верность — всего лишь легенда. Когда появились тесты ДНК, выяснилось, что в гнездах лебедей много яиц, зачатых вовсе не партнером самки. У некоторых других видов птиц, традиционно считавшихся моногамными, число таких яиц доходит до 70 процентов. А у млекопитающих, за исключением человека, моногамии вообще не существует. Да и сам человек по своей природе не моногамен и становится таким через сознательное отречение от своих инстинктов. Такое удается лишь половине популяции. Остальные рано или поздно поддаются искушению. Отношения Пенелопы и Одиссея, Ромео и Джульетты, Орфея и Эвридики — плод творческого вымысла, и в реальной жизни остаются недостижимым идеалом.

С другой стороны, если бы эта девушка не пришла в мой номер, я не столкнулся бы с искушением. Только гей или слепой устояли бы против нее — обнаженной, прекрасной, свежей, как первая клубника! А может, взаимная верность и состоит в том, чтобы уметь преодолевать искушения? Сегодня, здесь, минуту назад, правда, не без помощи Мендельсона, мне это удалось. Значит ли это, что я смог бы преодолевать их ради кого-то?

Если бы кто-нибудь услышал сейчас этот мой внутренний монолог, вероятно, он подумал бы, что имеет дело с испорченным до мозга костей мачо-гедонистом, который, в зависимости от ситуации и соображений собственной выгоды, делает относительным то, что должно быть абсолютным. Соблюдение обетов не зависит от системы отсчета, сказал бы священник. И был бы прав. История о близнецах из известного парадокса Эйнштейна либо верна, либо неверна, и релятивистское замедление времени не имеет с этим ничего общего. Хотя, с другой стороны, светский человек сказал бы, что тому брату-близнецу, который старел медленно, было все-таки легче. И тоже оказался бы прав.

— А проще всего просто не открывать дверь! — сказал я, громко рассмеявшись.

И именно в этот момент услышал громкий стук в дверь. За порогом стояла скрипачка из Архангельска.

— Извините, я выскочила босиком, забыла туфли, — с улыбкой сказала она.

— О чем речь, заходите! — ответил я, широко распахивая дверь.

Одна туфелька лежала на письменном столе, вторую она искала, ползая по полу. Я стоял голый в прихожей, придерживая спиной дверь, и смотрел на ее ягодицы. Она нашла туфлю под кроватью, обулась и принялась поправлять прическу у зеркала над письменным столом. Потом краем глаза глянула на меня, стукнула кулачками по столешнице, сняла туфли, растрепала волосы и подошла ко мне. Нежно прикоснулась к моему лбу губами и, склонив голову мне на плечо, прошептала:

— Вы все мои планы разрушили, а у меня всё было так замечательно продумано. Блядям не напевают скрипичных концертов! А вернулась я потому, что эти туфли не мои. Мне нужно их вернуть. Я правда пришла... за туфлями. Вы мне верите?

Я погладил ее по голове.

— А почему вы помните именно этот концерт? — спросила она, прикоснувшись пальцами к моим губам.

— Это длинная и печальная история. Не думаю, что вы захотите ее выслушать. К тому же этот концерт не шедевр. Просто один из многих. Мендельсон не чувствовал скрипку. Его инструмент скорее фортепиано. Ваш Петр Ильич сочинял гораздо, гораздо лучше. Вам напеть что-нибудь?

— Нет! Умоляю, не нужно! Не сейчас! — воскликнула она и выбежала из номера.

Я вернулся в постель и забрался под одеяло, потому что озяб. Но вскоре мне стало жарко. Я не мог заснуть. Москва встретила меня мордобоем, разбудила и ошеломила. Мне нужно было успокоиться, я нуждался в музыке. Включил телевизор и стал переключать каналы. Повсюду были какие-то крики, «говорящие головы», реклама никому не нужных товаров, сообщения о катастрофах, несчастьях и трагедиях, прогноз погоды на фоне разноцветных карт, биржевые сводки с таблицами. Было еще несколько порнографических каналов. Потные, накачанные стероидами мужчины со слоновьими членами, силиконовые женщины, размазывающие сперму по губам, похожим на выкрашенные в розовый цвет автомобильные покрышки...

Я протянул руку к телефону и набрал номер Джошуа. В Берлине было около одиннадцати вечера.

— Джоши, ты где сейчас? — спросил я.

— Как это где, Струна? В котельной! Где же еще мне быть в это время? — ответил он.

У Джошуа была замечательная черта — он никогда ничему не удивлялся. Если бы завтра люди начали ходить на руках, он просто принял бы это к сведению.

— Ты один? — спросил я.

— Я никогда не бываю один. Меня всегда двое. В этом и состоит моя проблема, ты что, забыл? Я ведь кошу под шизофреника. Сегодня, кстати, эта недотраханная ...да Аннета произнесла в группе прощальную речь над твоей могилкой. Я и не знал, что ты не понимающий сам себя деятель культуры с прекрасной перспективой наконец себя обрести. Она еще сказала, что всем нам будет не хватать твоих ценных высказываний. Потом она показывала какие-то вырезки из иностранных газет с твоими фотографиями, а потом минутой молчания и вычеркиванием из списка группы торжественно тебя похоронила. А кстати, ты-то сейчас где, Струна?

— В Москве, Джошуа, в Москве, — ответил я.

— Это подальше, чем Щецин. Боюсь, у меня не будет времени привезти тебе товар. Это ведь где-то в Сибири, да?

— Не совсем, Джоши, но ты прав, это дальше, чем Щецин. Ты дашь мне что-нибудь послушать, Джошуа?

— Ты что, принял метанол? Тебя торкнуло?

— Еще нет. Мне хочется послушать что-нибудь из твоих наушников...

— Тогда отправляйся, мать твою, на балет, там, в Москве, говорят, хороший балет. Насмотришься на танцующие скелеты. Сам знаешь, как это успокаивает.

— Сейчас не могу, Джошуа, здесь уже час ночи, у меня болят ноги, и я в бешенстве.

— Надо было сразу сказать. Подожди минутку. А что тебе поставить?

— Мендельсона, если у тебя есть.

— Нет, я не слушаю немцев, а он к тому же был евреем. Их я тоже не слушаю.

— Тогда поставь мне что угодно, лишь бы это была скрипка...

— Тогда капризы Паганини. У него, похоже, было шесть пальцев, иначе такое не сыграть. Или пять, но длинных, как зубья вил. Обычно я слушаю его, когда прилично наберусь. Ты тоже набрался?

— Представь себе, нет. У меня уже часов пятнадцать не было никакого контакта с химией, зеленка не в счет.

— Только не говори, что ты в Москве пьешь зеленку! Это испортило бы тебе репутацию! Даже в моих глазах!

Джошуа был неподражаем еще и потому, что умел любой абсурд свести к обыденности, причем так, что сначала это вызывало смех, а потом заставляло взгрустнуть. К тому же он тщательно скрывал свою эрудицию и демонстрировал ее будто нехотя, к слову и так, чтобы собеседник, не дай бог, не подумал, что он выпендривается. Свен считал Джошуа гением,

который делает все, чтобы никто об этом не узнал. Когда мы, бывало, стояли втроем на куче кокса в котельной, покуривая марихуану, и вели интеллектуальную беседу, а со Свеном такое бывало постоянно, он внимательно вслушивался в то, что психолог Аннета называла бредом. Например, только что, минуту назад, Джошуа запросто назвал Каприччио № 24, опус 1 Паганини «капризом». Такой сленг используют только истинные знатоки музыки. Он знал, что у Паганини подозревали болезнь под названием «синдром Марфана», которую выявили также у другого музыкального гения, Сергея Рахманинова. Одним из ее проявлений является удлинение костей скелета и гиперподвижность суставов.

— Ну давай, слушай капризы, Струна, — сказал он через несколько секунд, — и спусти брюки, оно того стоит...

— Представь себе, Джоши, на мне уже более часа нет брюк.

— Тем лучше! Включи громкую связь, пусть эта коленопреклоненная девица тоже послушает. И постарайся не класть свои руки ей на уши, только на волосы, — сказал он со смехом. — Мне тебя не хватает, Струна. И Свену тоже. Но мы не сдаемся. Если решишь вернуться, обязательно купи самогон, несколько бутылок... — добавил он.

Я слушал. И скучал по Панкову. В этой больнице для душевнобольных все было устроено гораздо разумнее, чем в так называемом нормальном мире. Наверное, нормы на самом деле не существует. Я сидел в московской гостинице и слушал по мобильнику музыку с плеера, находящегося в котельной берлинской психиатрической больницы. И мне было хорошо. Я не видел в этом ничего абсурдного. И никакого диссонанса.

Утром мне принесли в номер завтрак, и кофе почему-то оказался остывшим, да и есть после вчерашнего не хотелось, и я предпочел выпить минералки.

Из полиэтиленового пакета, куда переложили мои вещи, я достал джинсы, футболку и свитер. Других ботинок у меня с собой не было. Иоанна всегда высмеивала мою привязанность к одной паре обуви. У нее было пар тридцать, а у Изабеллы, насколько я помню, больше. Обувь для женщин, видимо, своего рода фетиш. Я не понимал природы этого явления и обращал внимание на женскую обувь лишь тогда, когда она выглядела экстремально. Например, кеды с вечерним платьем или зимние сапоги с шортами и муслиновой блузкой на пляже, или, как сегодняшней ночью, шпильки размером с палочки из китайского ресторана. Честно говоря, рассматривая женские ноги, я никогда не опускал взгляд ниже щиколоток и концентрировался, в основном, на бедрах.

Сегодня я вынужден был признать правоту Иоанны. Оказывается, иногда имеет смысл возить с собой запасную пару. Я набрал номер телефона приемной директора гостиницы. Представиться мне не пришлось. Секретарша меня тут же соединила. Директор был чрезвычайно вежлив, между делом спросил, хорошо ли я провел ночь, а когда я ответил, что не слишком, осекся и внимательно меня выслушал, а потом с облегчением выдохнул и спросил, какой у меня размер ноги и какому бренду я отдаю предпочтение. Я не понял, о каком бренде он говорит, и сообщил, что мне нужны какие-нибудь туфли сорок четвертого размера. Я по-русски поблагодарил его за завтрак в номер и настоятельно попросил, чтобы это было в последний раз, поскольку не люблю завтракать в одиночестве. Уже повесив трубку, я пожалел, что назвал прошедшую ночь не слишком приятной, ведь теперь он наверняка позвонит скрипачке и потребует отчета. А мне, как ни странно, хотелось бы еще раз встретиться с этой девушкой. Нормально одетой, без шпилек и зазывного макияжа...

Я курил и из окна рассматривал улицу — широкий проспект с четырьмя полосами движения, забитый автомобилями, ползущими с черепашной скоростью. По сравнению с этим Берлин казался маленьким провинциальным городком. Пешеходы на тротуаре, несмотря на то, что их тоже были толпы, двигались все же быстрее, чем машины. Толпа на берлинских тротуарах тоже была другой — более упорядоченной, немного похожей на правильную колонну марширующих солдат. В больнице я часто стоял у окна и смотрел на улицу. Марширующие по берлинским тротуарам люди сами собой выстраивались в колонны. И наверное, неспроста, ведь таким образом они могли двигаться значительно быстрее. Это никак не связано с тем, что я называю «немецким геном порядка». Берлин в районе Панков не был теперь таким уж немецким. Скорее, турецким, хорватским, вьетнамским или польским. Но немцы там тоже жили. Может, именно они и выстраивали всех в колонны?

Я прошелся по своим апартаментам. Интересно, кому может понадобиться четырехкомнатный номер? Гостиная, спальня, кабинет и комната для совещаний. Два санузла. Четыре минибара, четыре телевизора, два компьютера.

В дверь номера постучали. Секретарь господина директора, дама с огромным бюстом, войдя, положила на диван в гостиной коробки с ботинками на выбор: черные, коричневые, серые и темно-красные. Я примерил все и остановился на коричневых, узнав при этом от секретарши, что туфли выбирал сам директор, что это лучшая и очень дорогая итальянская кожа и что, разумеется, это подарок... И хотя речь шла о

подарке, нервно подсунула мне на подпись чек и тут же вышла.

Приближался полдень. Сидя на подоконнике, я наблюдал за человеческим муравейником на улице и размышлял, как и откуда начать поиски Дарьи. Никакого плана у меня не было. А может, искать ее уже нет никакого смысла? Решение, принятое в Панкове, — это одно, а сейчас можно принять и другое. Ведь между Берлином и Москвой были Варшава, Краков и Иоанна, смоленский шок, моя жалкая роль в трагифарсе в квартире убитых горем родителей и наконец боевик с чемоданом. Все это не могло на мне не отразиться. Так же, как и то, что поиски Дарьи — лишь предлог для того, чтобы покинуть наконец богодельню в Панкове. Ее стены оберегали меня от страха перед жизнью. Я потерял дочь, потерял любовь, а потеряв свою фамилию под рецензиями — потерял честь и достоинство. Вот почему в конце концов я стал терять и разум.

Я медленно убивал себя алкоголем, перестал читать книги, резал себе вены, засыпал, наглотавшись таблеток, даже под музыку любимого Вивальди, панически боялся дотронуться до клавиш рояля. Я гнил как от гангрены. И только Панков дал мне возможность оценить масштаб моих страданий. Он поднял меня с колен, перевязал раны и позаботился обо мне как о маленьком мальчике, которого родители отправили в скаутский лагерь на летние каникулы. В Панкове, как и в лагере, были регулярное питание в столовой, развлекательная и культурная программы, опекуны, которые следили за тем, чтобы я не утонул или не сломал позвоночник, случайно прыгнув вниз головой в слишком мелкий водоем. Но любые каникулы рано или поздно заканчиваются, и нужно возвращаться домой. А я боялся возвращаться. Я приходил в ужас от мысли, что проснусь утром и весь день буду вынужден бездельничать, а ночью из потайных уголков снова выплзут демоны, и я буду биться головой об крышку рояля, который постоянно напоминает мне о моем бессилии. Я не хотел никуда возвращаться. Я хотел начать жить заново. Подвести черту. Убежать от Иоганна фон А. и из Берлина. Но не в свое польское прошлое. Москва была для этого подходящим местом, Иоанна права. Я должен был поехать в Москву, чтобы убедиться: подобное возможно. И неважно, что послужило предлогом. Иоанна тоже в свое время сбежала в Монголию. Именно там, работая волонтером, она обрела смысл жизни.

Я на лифте спустился вниз. Охранники, те самые, что накануне уложили меня лицом вниз на бетонный пандус, тотчас меня узнали. Я улыбнулся, и они, как по команде, отдали мне честь. Миновав большую парковку, я вышел на улицу. Было тепло, светило солнце. Я смешался с шумной толпой, с интересом разглядывая прохожих. Запыхавшиеся

мужчины в расстегнутых плащах, слишком тесных костюмах и с телефонами в руках, старушки с ситцевыми сумками в полинявших пальто и цветастых платках на голове, молодые девушки с плащами, переброшенными через руку, стучащие каблучками по плитам тротуара... Я разглядывал их аппетитные попки, глубокие декольте, юбки длиной не шире моего шарфа, развевающиеся на ветру волосы.

Неожиданно я увидел широкую лестницу перед зданием, похожим на Дворец культуры и науки в Варшаве. И понял, что это и есть университет.

На лестнице стояли группки молодых людей. Они курили и беседовали. Я вошел так уверенно, что охранник не решился спросить у меня пропуск. Интересно, где здесь библиотека? Мне почему-то кажется, что библиотекари — самые образованные люди. Я многое узнал именно от них. А в одну, когда мне было лет двенадцать, целую зиму был влюблен.

По лестнице я поднялся на второй этаж и пошел мимо вереницы дверей, читая надписи на табличках, прикрепленных к стене. Пожилая женщина, одетая в синий шерстяной жакет и длинную черную юбку из искусственной кожи, спросила меня по-английски, не может ли она чем-то помочь. Я спросил, почему она обратилась ко мне по-английски.

— Сразу видно, что вы не наш, — ответила она с улыбкой, снимая очки.

— А почему, собственно? — спросил я в удивлении.

— По вашим туфлям для начала.

— Но это туфли из русского магазина! — возразил я.

— Может, и из русского, но в этом здании, кроме нескольких студентов, мало кто может позволить себе такие. Кроме того, проходя мимо, вы сказали «здравствуйте», хотя мы незнакомы. Русские так не делают. И еще улыбнулись. Русский в такой ситуации, скорее, бросит суровый взгляд.

— Что ж, приму к сведению, — ответил я весело. — Вообще-то я ищу библиотеку.

— Какую? У нас их четыре. Какого факультета?

— Не знаю. Честно говоря, я ищу библиотекаря.

— А как ее фамилия? — спросила она с интересом.

— Мне подойдет любая. Видите ли, я приехал в Москву, чтобы найти одну женщину. Она...

— А как ее фамилия?

— В том-то и дело, что этого я тоже не знаю. Если позволите, я вам все расскажу.

И я выложил ей все, что знал о Дарье. Молодая девушка, училась на

факультете журналистики МГУ, потом уехала в Берлин, примерно год назад вернулась, лесбиянка, писала статьи и искала информацию о гомосексуализме среди женщин в Советском Союзе и в России в Москве, и в других городах, хотела написать об этом книгу.

— С чего мне начать поиски, — спросил я, — как вы думаете?

— С архива. Но чтобы получить доступ к архивным данным, придется предъявить документы, — ответила женщина без колебаний.

— Но в каком? В Москве наверняка много архивов...

— Лесбиянки всегда были у нас врагами народа — или работали в КГБ, — ответила женщина после минутного колебания, и я понял, что она не считает меня сумасшедшим.

— Так в каком архиве? — спросил я, не понимая, что она имеет в виду.

— Только в одном, в государственном архиве на Бережковской набережной, 26. Если где и искать, то там. В другие, то есть в спецхран, ее бы никогда не пустили. А вас и подавно. Даже сейчас.

— Это далеко отсюда? — спросил я.

— Далеко, как и всё в Москве. Если вы поедете на такси в это время дня, у вас это займет часа два. Москвичи сейчас разъезжаются по дачам. Сегодня пятница...

— А на метро? Туда можно доехать на метро?

— Конечно! Я напишу вам название станции. У вас есть ручка? — спросила она.

Я машинально пошарил по карманам, но женщина жестом меня остановила:

— Ладно, — улыбнулась она, — подождите, я сейчас. — Она порылась в сумочке и нашла там ручку и какой-то клочок бумаги. — А эта Дарья... близкий вам человек?

Ответить я не успел. Откуда ни возьмись появилась группа молодых людей и плотно обступила женщину.

— Профессор, а нам сказали, что сегодня вашей лекции не будет! — услышал я возбужденные голоса.

Я хотел было поблагодарить, но быстро понял, что ей уже не до меня.

Московское метро — я слышал это от многих побывавших в столице России — отдельно существующий организм. После Кремля и Третьяковской галереи оно считается одной из главных достопримечательностей города. Станции напоминают дворцы с роскошными люстрами, мозаикой, витражами и росписями на идеологически выверенные сюжеты, полы там из мрамора, а своды напоминают соборы эпохи барокко. Самая глубокая находится на

восемьдесят метров под землей, а всего станций уже почти двести, и ездят в нем ежедневно больше двух с половиной миллионов человек. Стоит ли говорить, что построен метрополитен «кровью и потом советских трудящихся», как Новая Гута и Центральный вокзал в Варшаве. Такие были времена, все строилось «потом и кровью», зато «на благо народа». Открытие каждой новой станции становилось событием, об этом торжественно извещали жителей всей страны. В торжествах по случаю открытия некоторых станций принимал участие сам Сталин. Тогда под землю спускали дубовые столы, обитые плюшем стулья, вышитые белые скатерти, целые военные оркестры, ящики водки, фарфоровую посуду, охлажденную икру и членов Политбюро в полном составе.

Купив билет, я спустился по эскалатору и сел в переполненный вагон, стараясь оказаться поближе к дверям, чтобы в любой момент быть готовым выйти. В вагоне почти никто не разговаривал, а те, кто не дремал, читали книги или текст на своих сотовых. Я заглянул через плечо молодой девушки, прижавшей меня к двери. На экране ее мобильного были не эсэмэски, а текст из русской классики. Она читала Чехова.

Сидели в основном женщины. Мужчины, видимо, не отваживались сесть, если рядом стояла женщина. Молодые девушки без стеснения демонстрировали свои ноги, причем у некоторых это были ноги в чулках с кружевными подвязками, выглядывавшими из-под куцых юбочек. Как ни странно, на лицах мужчин я не заметил к этому особого интереса. Молодость — капитал, который не приходится зарабатывать в поте лица. Она есть у любого, пусть недолго. Русские женщины, видимо, хорошо знают, как этим капиталом распорядиться. Наконец я добрался до своей станции и спросил у дежурного милиционера, как найти архив. Тот по радиосвязи спросил своих коллег, записал что-то в блокноте и вышел со мной на улицу. Я оказался в другой Москве. Улица была практически пустой. Послушно следуя за милиционером, думал о том, что либо это Провидение, либо так в Москве, принято, но как только я нуждался здесь в помощи, я тотчас ее получал! Люди готовы были отложить свои дела, чтобы помочь мне. И это несмотря на спешку и дефицит времени, гораздо большие, чем, скажем, в Берлине, Милане или Шанхае. Случайно ли это? Или это знак, говорящий о том, что у меня получится осуществить задуманное? Но если это так, то какое дело Москве до моих планов? А может, русские просто такие люди? Через несколько минут мы добрались до невысокого здания, обнесенного лесами.

Все окна были зарешечены. Пройдя небольшой дворик, забитый машинами, оказались у дверей. Милиционер нажал кнопку звонка,

поправил плащ, кобуру с пистолетом и встал навтыжку. Вскоре дверь открыл пожилой сторож в серой униформе. Мы вошли в своего рода прихожую с деревянной перегородкой, за которой виднелись высокие стеллажи с папками. У перегородки, спиной ко мне, стояла женщина. Она звонила по телефону. Веснушчатая девушка, сидевшая за столом, при виде милиционера тотчас затушила в пепельнице сигарету и вскочила.

— У этого иностранца к вам какое-то дело, — сказал милиционер таким тоном, словно отдавал распоряжение.

Он подвел меня, словно арестованного, к барьеру, передавая девушке, и молча удалился. Я сказал «здравствуйте», откашлялся, собираясь с мыслями, и подумал, что вместо того, чтобы разглядывать ноги девушек в метро, мне следовало подготовить речь, которую я скажу в архиве. Я взглянул на девушку. У нее были голубые глаза, длинные рыжие волнистые волосы и веснушки повсюду — на лбу, на ушах, на шее и даже на веках. А пальцы были запачканы красными чернилами. Я начал свой рассказ. Женщина с телефоном сначала понизила голос, а потом отошла от барьера и присела на подоконник. Я тоже стал говорить тише. Веснушчатая девушка внимательно выслушала меня и на минуту исчезла в соседней комнате. Вернулась она с пожилым очень худым мужчиной. Оказалось, что по «положению об охране данных» сведения о лицах, пользующихся архивом, не подлежат разглашению.

— Вы должны нас понять, — сказал мужчина, — в вашей стране наверняка тоже существуют подобные ограничения.

Я не имел представления, как с этим обстоит дело в Польше или Германии. Мои-то данные почему-то были доступны всем желающим — и авиакомпаниям, и турбюро, и продавцам музыкальных инструментов, ксанакса, золофта, виагры и средств от облысения, не говоря уже о банках, страховых фирмах и автосалонах. Все эти организации умудрялись игнорировать предписания об «охране данных», и мой почтовый ящик был забит рекламными проспектами, не говоря уже о спаме, что каждый день сыпался на мой электронный адрес. Всем казалось, что я лысею, страдаю депрессией, не могу заснуть без валиума, нуждаюсь в кредите, новом автомобиле и мечтаю куда-нибудь улететь. И хуже всего то, что, кроме виагры, все это мне действительно было нужно...

— Достижения демократии в России впечатляют, — сказал я, — но не могли бы вы, в виде исключения, дать адреса женщин по имени Дарья, которые пользовались вашим архивом в последние годы? Даю честное слово поляка, что я не использую эти данные в противоправных целях. Мне кажется, этот список не может быть слишком длинным, уважаемый

господин директор, — закончил я, сам не понимая, зачем приплел сюда Польшу. Поможет мне это или помешает?

Худой мужчина нервно потер морщинистый лоб и, выйдя из-за барьера, обратился к женщине, сидевшей на подоконнике:

— Что скажете, Анечка? Сможем ли мы помочь нашему гостю из Берлина?

Я обернулся. Женщина на подоконнике гладила листья папоротника. На ней был серый костюм и белая блузка. На ногах черные сапоги. Шея повязана серо-зеленым платком. У нее было овальное лицо, высокий лоб и чуть приподнятые скулы. Темно-каштановые волосы стянуты в узел и перевязаны лентой в тон платку. Карие миндалевидные глаза смотрели на худого мужчину с выражением ученицы, которую учитель неожиданно вызвал к доске.

— Мы обязаны помогать нашим гостям из Берлина, — ответила она тихо. — Берлин ведь нам помогает. — Поднялась с подоконника и, застегнув пиджак, подошла. — Машенька могла бы подготовить такой список, — сказала она, — к понедельнику. В одном экземпляре. Не вижу в этом ничего противозаконного.

Худой мужчина утвердительно кивнул и обратился к веснушчатой девушке:

— Мария Андреевна, подготовьте, пожалуйста, для нашего гостя такой документ. Но сначала пусть напишет запрос, оставит свои личные данные и укажет, для чего ему нужна эта информация. Паспорт у вас с собой? — спросил он. Я кивнул, и он продолжил инструктировать девушку: — К утру понедельника. И принесите мне на подпись. В виде исключения поможем нашим берлинским друзьям...

Веснушчатая Мария Андреевна села за письменный стол, директор, не попрощавшись, вернулся к своим делам. Я не мог понять, почему должен ждать какую-то бумажку до понедельника. И понятия не имел, что писать в запросе. В особенности о том, для чего мне нужна эта информация. Женщина, видимо, заметила мою растерянность. Она подошла и на отличном немецком сказала:

— Поймите, все не так просто. У нас нет списка посетителей в компьютере. Если вы думаете, что Маше достаточно вписать слово «Дарья», как это делается в поисковике Гугл, и компьютер мгновенно выдаст результаты, вы ошибаетесь. В нашем распоряжении только записи в регистрационной книге, сделанные от руки. Так требуют инструкции. Рукописные записи за подписью должностного лица. Книга за этот год находится здесь, наверху, а за прошлые годы — в подвале. Чтобы сделать

для вас список всех женщин по имени Дарья, Маше нужно будет просмотреть все записи в книгах. Возможно, для этого ей даже придется выйти на работу завтра, в субботу. Но вы не беспокойтесь, — добавила она с улыбкой, — она охотно это сделает. Правда, Маша? — крикнула она по-русски в сторону веснушчатой девушки.

Маша с наушниками в ушах смотрела на экран компьютера и не отвечала. Воцарилось молчание. Женщина покраснела, развязала шейный платок и пригладила прическу. На вид ей было лет тридцать пять. Она была высокая и худая. Длинная белая блузка, перехваченная на талии широким черным кожаным ремнем с серебряной пряжкой, подчеркивала округлость бедер. И никаких украшений, кроме кольца на пальце правой руки.

— Благодарю вас, — сказал я, протянув руку к ее руке.

— Не за что, — ответила она с улыбкой. — Нужно помогать мужчинам, которые ищут женщин.

Потом она рассказала о своем недавнем визите в Берлин. О какой-то выставке, о сердечности немцев, о своеобразном чувстве свободы и колорите берлинской улицы, а еще о гостеприимстве.

— Мы жили с подругой в небольшой гостинице в Панкау или Панкове, точно не помню.

— Этот район называется Панков. Он в Восточном Берлине, — ответил я удивленно.

— Хозяйка, весьма пожилая дама, специально для нас приготовила бигос. Она думала, мы из Польши, — добавила женщина со смехом. — Ее сбило с толку сходство языков. А вы из Польши или только родились там? — вдруг спросила она.

— Я поляк. И не так давно поселился в Берлине. А бигос терпеть не могу. Из-за запаха вареной капусты.

Теперь уже я рассказал о московском гостеприимстве. О профессоре университета, о милиционере, который меня сюда привел, а еще о том, как огромна Москва, которая словно наваливается на тебя.

— Можно ли полюбить этот молох? — спросил я собеседницу.

— У каждого из нас есть и маленькая Москва, — ответила она после короткого раздумья, — которую он любит. Иначе здесь можно сойти с ума.

— А вы покажете мне свою Москву? Когда-нибудь?

— А вы хотите? Правда? — удивилась она. Посмотрев на часы, подошла к веснушчатой девушке, сняла с нее наушники и прошептала что-то, перегнувшись через барьер. Я взглянул на ее бедра, потом на профиль. Он напомнил мне профиль женщины в маршрутке, на которой я ехал от родителей Дарьи в гостиницу. Но тогда я был не совсем в себе, поэтому мог

ошибиться. Женщина тем временем подошла и сказала:

— Подождите меня, я сейчас вернусь. Заберу только плащ из кабинета, а потом отведу вас в свою Москву. Кстати, меня зовут Анна...

Она стояла слишком близко, чтобы я мог взять ее руку, поцеловать и представиться. Я слегка прикоснулся к ее щеке и сказал:

— А меня друзья зовут Струна. Я подожду вас здесь, Анна...

Анна

Это была обычная пятница. Она собиралась уладить текущие дела, громко посетовать, что работы слишком много, дожидаться, пока все разойдутся по домам и сторож громко щелкнет ключом в замке решетки перед входной дверью, выпить вина, послушать музыку, почитать книгу, посмотреть альбомы и так дотянуть до позднего вечера. Анна изображала, что загружена работой, не для директора — он был ей безразличен, — для мужа. Анна доказывала мужу, что работает не ради денег, а ради самореализации. Он, скорее всего, не понимал значения слова «самореализация», но оно вызывало у него уважение. Он не понимал многих слов из тех, что она произносила в последнее время. Вероятно, поэтому их брак продолжал существовать. По пятницам она старалась приходить домой как можно позже, чтобы оправдать свою холодность, сослаться на усталость — в этот день недели ей особенно не хотелось, чтобы муж к ней прикасался, потому что он по пятницам он приходил навеселе, возбужденный бюстами и бедрами своих секретарш и сослуживиц. Усталость в конце рабочей недели казалась Анне куда более убедительным аргументом, чем банальная головная боль. Умный мужчина давно бы сообразил, что означают эти ее пятницы. Но в умственных способностях своего мужа она все больше сомневалась. И потом — день ото дня он становился все более чужим.

Нет, нынешняя пятница обычной не была. В этом красивом наглом поляке из Берлина было что-то загадочное и привлекательное. У него были мягкие ладони, пахло от него каким-то знакомым ароматом, а говорил он необычно. И был таким грустным. И внимательно слушал. Анну давно уже никто так не слушал...

Она и сама не знала, зачем вернулась в кабинет. Ведь пальто оставила в машине...

Анна ушла, а веснушчатая Маша попросила у меня паспорт и сделала ксерокопии нескольких страниц. Потом протянула мне бланк запроса. Я вздохнул с облегчением, увидев, что должен всего лишь вписать от руки свои данные и расписаться. Больше всего проблем вызвал адрес моего проживания в Москве: я не помнил адрес гостиницы, к тому же у меня не было так называемой регистрации. Каждый прибывающий в Россию иностранец обязан зарегистрироваться в течение двадцати четырех часов. Иначе, несмотря на действующую визу, можно нарваться на серьезные неприятности. Россия желает знать, где проживают люди, прибывающие на ее территорию. Собственно говоря, это обычная практика во многих странах. При пересечении границы Соединенных Штатов чиновник иммиграционной службы тоже интересуется адресом проживания на территории США. Но он верит человеку на слово. В России регистрацией постояльцев обычно занимаются сотрудники отеля. Но у меня не было никаких доказательств, и я пообещал, что принесу их в понедельник. В разделе «цель получения архивной информации» я, недолго думая, написал по-немецки «данные срочно нужны пациентке психиатрической лечебницы в Берлине» и дал точный адрес клиники в Панкове.

Мой запрос исчез в ящике письменного стола, и наступила неловкая пауза. Анна не возвращалась, и веснушчатая девушка сочла себя обязанной меня развлекать. Она говорила о том, что московская погода в последнее время такая переменчивая, и невозможно угадать, как одеваться, что теперь здесь слишком часто идут дожди. И все в таком духе. Между делом она пыталась напоить меня кофе, чаем и минеральной водой одновременно. Когда вернулась Анна, мы оба вздохнули с облегчением.

Анна взяла меня под руку, и мы вышли на небольшую площадку перед зданием архива. Там стоял роскошный автомобиль. Несколько минут Анна молчала. Потом начала рассказывать о Москве, но мы ехали слишком быстро, и я не успевал запоминать все, что она говорила.

— Пожалуйста, говорите медленнее, — попросил я, прикоснувшись к ее руке, — я не настолько хорошо знаю русский, а мне хотелось бы вас понимать. Вы говорите очень интересно...

— Вы замечательно слушаете, вот я и стараюсь. Но теперь помолчу...

И она действительно замолчала. Мы выехали на широкий проспект. Как только мы оказывались в пробке, Анна сворачивала в одну из маленьких улочек, и мы возвращались на проспект в паре километров от

прежнего места.

— Самое важное слово в Москве — это «пробка». По-немецки это *stau*, да? А как по-польски?

— *Korek*.

— У нас в Москве страшные *korek*, и я вынуждена их объезжать. Не люблю стоять в *korek*. В Берлине таких не было. Меня это удивляло. Может, хотите выпить? В бардачке должна быть кола...

Я открыл бардачок, и среди документов и дисков нашел бутылку колы. Она была обмотана кружевными трусиками и перевязана розовой ленточкой.

— Вы уверены, что?.. — начал я в замешательстве.

Анна вздохнула и сказала:

— Извините. Это машина моего мужа. Он иногда преподносит мне подобные сюрпризы.

Свернув к тротуару, она остановила машину у небольшого киоска. Вышла и вскоре вернулась с бутылками, минеральной воды и сока.

Когда мы тронулись, она расплакалась. Ее трясло от рыданий. Она плакала так, словно была совсем одна. Подвывая, как обиженный ребенок. Я давно не видел, чтобы кто-то так плакал. Может, Свен на угольной куче в Панкове? Или я сам на балконе в Майнце? Я не знал, что мне делать.

— Расскажите мне об этом здании, слева. Вы меня слышите? Скажите мне что-нибудь прямо сейчас! — говорил я все громче. — Сейчас! Вы слышите меня?!

Она резко свернула на парковку, достала из сумочки носовые платки и привела себя в порядок.

— Простите, — прошептала, касаясь пальцами моих губ, — простите...

Минуту спустя мы поехали дальше.

Машина остановилась рядом с входом в какой-то, как мне показалось, большой парк. Мы вышли. По обе стороны от входа, вдоль ограды, тянулись ряды палаток, где продавались цветы и венки. Это было кладбище.

— Я опять вас напугала? — спросила она обеспокоенно, заметив мое замешательство.

— Ну почему же, — ответил я, — мне часто случается бывать на кладбищах в городах, куда я приезжаю. Это какое-то особенное кладбище?

Мы медленно шли по узким заасфальтированным дорожкам. Такого тесного кладбища я еще не видел. Иногда между могилами вообще не было прохода.

— Не для меня. Могил моих близких в Москве нет. Здесь похоронены некоторые мои знакомые по архиву. Сейчас на Ваганьковском уже не хоронят обычных людей, только знаменитостей.

— Ваганьковское? Так оно называется? — уточнил я.

— Да. Самое большое в Москве. Здесь более ста тысяч могил и похоронено более полумиллиона людей. Некоторым захоронениям много сотен лет, это очень старое кладбище. А есть братские, где похоронены десятки умерших.

Мы остановились у могилы, окруженной прямоугольником оградки. Из поросшего травой квадрата тянулась к небу мужская фигура, словно вырастая из постамента. Она была обернута каменной тканью, за плечами виднелась гитара. Я взглянул на лицо.

— Высоцкий! — воскликнул я растроганно.

— Вы знаете, кто он?

— Не то слово. В Польше Высоцкого не просто знают, его почитают, — ответил я.

— Сколько вам было лет, когда он умер?

— Двенадцать. Тогда в Москве была олимпиада...

— А вы тогда его слушали?

— Нет. Но ближе к концу девяностых слушал. И не только слушал, но играл, пел и учил наизусть его стихи.

— Значит, в Польше Высоцкого любят? — улыбнулась Анна.

— Мне кажется, у ваших властей не было причин его любить.

— У властей нет. А вот люди его обожали. Власть полюбила его только после того, как он умер. Причем не сразу, спустя время. А сейчас его стихи печатают в школьных учебниках как классические произведения, его именем названы улицы, бульвары, аллеи, скверы, набережные, переулки... На конверты наклеивают марки с его изображением. Записи его песен брали с собой космонавты. Россия его простила.

— Простила? Но за что?! — воскликнул я.

— За то, что умер... — ответила Анна спокойно. — Множество людей побывали в нашем архиве в связи с Высоцким. В особенности их интересовали его грехи. Люди обожают разоблачать героев и осквернять их память...

— Ну да, всем известно, что Высоцкий пил. Много. Но в России это в порядке вещей, ведь так? — горячо заступился я за любимого поэта.

— Не стоит так нервничать, — сказала Анна, — я не собиралась развенчивать его в ваших глазах. И не за тем вас сюда привела...

— А вы попробуйте. Я закурю, а вы начинайте развенчивать.

Она улыбнулась:

— Может, меня угостите? Я редко курю, но сейчас вот захотелось.

— Предупреждаю, это крепкие поддельные польские «Мальборо», — ответил я, тоже улыбаясь.

— Владимиру Семеновичу Высоцкому летом 1980 года — вам тогда было двенадцать, а мне восемь, — было сорок два года. В Москве тогда проходила достопамятная олимпиада, а он был уже полной развалиной. Держался только на наркотиках: амфетамин, морфий, героин, все доступные обезболивающие. Иногда терял память. В «Театре на Таганке» он играл Гамлета. Часто забывал текст, за кулисами всегда дежурил один из его друзей, в случае необходимости вводивший ему наркотик. Но он забывал не только роль. Забыл, например, что все еще муж Марины Влади, и закрутил роман с влюбленной в него студенткой Оксаной. Хотел на ней жениться, даже купил обручальные кольца. По случаю олимпиады в июле 1980 года милиция очистила город от торговцев наркотиками. Доставать их становилось все труднее. Высоцкий страдал от ломки. У него случались галлюцинации, приступы панического страха. Рядом с ним постоянно находились его мать, эта девушка, врач Федотов и друзья-актеры Бортник и Абдулов, оба хронические алкоголики. Ночью 21 июля, после очередной пьянки с Бортником, Оксана решила уйти от Высоцкого. Он стал шантажировать ее самоубийством. Она вернулась, когда увидела, что он висит на руках на балконе восьмого этажа. Он пообещал, что бросит пить, но слова не сдержал. На следующий день даже три бутылки водки не помогли — только Федотов, сделавший укол успокоительного. Оксана делала ему теплые успокаивающие ванны и пыталась его обмануть, наливая крепкий чай в рюмку, края которой для запаха смачивала коньяком. Ночью они с Федотовым привязали Высоцкого к кровати. После полуночи он успокоился. Они его отвязали. Он выпил бутылку шампанского и, после укола снотворного, заснул. А к пяти утра следующего дня Высоцкий был мертв. До приезда милиции близкие успели избавиться от ампул из-под морфия. Врач, приехавший по вызову, написал в свидетельстве о смерти диагноз, продиктованный Федотовым: «Смерть наступила во сне в результате абстинентного синдрома и острой сердечной недостаточности». Угостите меня еще сигаретой? — спросила она и замолчала.

Я чувствовал себя, как на сеансе групповой психотерапии в Панкове. Рассказанное Анной мало чем отличалось от слышанных там исповедей алкоголиков. И все же одно дело, когда о своей «белочке» рассказывает какой-то немецкий банковский служащий, и совсем другое — услышать такое о своем кумире. Я смотрел в навечно отлитое в бронзе молодежное

лицо Высоцкого и думал, способна ли эта история изменить мое мнение о нем. А потом вспомнил восемьдесят седьмой год и студенческий лагерь в Бещадах ^[25], где мы пели у костра на восемь голосов, аккомпанируя себе на трех гитарах:

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так;
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош, —
Парня в горы тяни — рискни! —
Не бросай одного его:
Пусть он в связке в одной с тобой —
Там поймешь, кто такой.
Если парень в горах — не ах,
Если сразу раскис и вниз,
Шаг ступил на ледник — и сник,
Оступился — и в крик, —
Значит, рядом с тобой — чужой,
Ты его не брани — гони.
Вверх таких не берут и тут
Про таких не поют.
Если ж он не скулил, не ныл,
Пусть он хмур был и зол, но шел.
А когда ты упал со скал,
Он стонал, но держал;
Если шел он с тобой как в бой,
На вершине стоял — хмельной, —
Значит, как на себя самого
Положись на него!

Мы пошли дальше. Множество могил, тысячи имен, выбитых на надгробиях. у некоторых мы останавливались. Актер Олег Даль, художники Василий Суриков и Алексей Саврасов, поэт Сергей Есенин...

Когда мы уходили, сгущались сумерки. Я попросил Анну подбросить меня до ближайшей станции метро. Она уточнила, в какой гостинице я живу. Я ответил.

— Это на проспекте Вернадского, недалеко от университета, — добавил я.

Мы поехали. Она вставила в проигрыватель диск, и в салоне зазвучал хрипловатый меланхолический голос. Когда Окуджава запел «Молитву», Анна стала подпевать:

Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же Ты каждому, чего у него нет:
Мудрому дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег... И не забудь про меня... [\[26\]](#)

Я смотрел на Москву, зажигающую вечерние огни, и радовался, что я здесь.

— Вы провели для меня необыкновенную экскурсию. Спасибо, — сказал я, когда мы остановились у гостиницы. — Не одолжите ли мне до понедельника Окуджаву?

— Я вам его подарю, — ответила она, доставая диск. — Спокойной ночи...

Я смотрел, как она отъезжала. Вдруг заскрипели тормоза, и она сдала назад. Открыла дверцу, сказала, подавая мне плащ:

— Я положила в карман вашего плаща две бутылочки сока. Вдруг захочется ночью пить. Сок куда полезнее колы... — добавила она с улыбкой.

В моем номере на постели лежал металлический чемодан с запиской от директора гостиницы. И счет на подпись. На письменном столе, у компьютера, стояло фарфоровое блюдо с фруктами и серебряное ведерко со льдом и бутылкой белого вина. А на подоконнике я заметил холщовую сумку с борщом, пампушками и блинами...

Ночью меня разбудил стук в дверь. Открывать я не стал. Уселся в кресло с банкой борща, на фарфоровое блюдо рядом с апельсинами, маракуйей, киви и мандаринами высыпал пампушки, а из контейнера вытащил блины. Давно я не ел с таким удовольствием.

Потом я включил Окуджаву, но думал почему-то о Высоцком. Когда он умер, я был слишком юн и даже не знал о его существовании. Но когда я о нем узнал, меня больше интересовала его жизнь, чем смерть. Когда тебе восемнадцать, известие о том, что сорокадвухлетний мужчина умер, не шокирует — он кажется стариком, и так уже одной ногой стоящим в могиле. Но теперь мне столько же, сколько было Высоцкому. И для меня очевидно, что Высоцкий умер совсем молодым.

Три года тому назад один профессор из Лозанны, дирижер,

композитор, руководитель известного оркестра рассказал мне свою историю. Ему было около шестидесяти. Как-то раз он с оркестром оказался в Бухаресте. Ночью к нему в номер постучалась девушка и попросила разрешения переночевать. Она была молодая и красивая. С рюкзаком, в армейских ботинках. Он ее впустил. Она разделась и легла в его постель, а утром он понял, что хочет, чтобы она всегда была рядом. С тех пор они вместе. Он — ее первый муж, она — его четвертая жена. Они счастливы. Он простился со своей прежней жизнью, да и она начала новую. Я спросил его, как он на это решился, и не страшно ли ему было. Он ответил, что когда утром девушка принимала душ, он вспомнил стихотворение Милоша^[27], как он выразился, «этой вашей польской совести нации». И представил себе, что эта девушка — та самая «девушка из метро», и если позволит ей уйти, он останется «со всей громадой существующих вещей, как губка, которая страдает оттого, что не может наполниться водой, как река, которая страдает оттого, что несет в себе лишь отражения облаков и деревьев». И не позволил ей уйти. Потому что, когда тебе уже много лет, нельзя упускать «девушек из метро». Это ведь может быть последняя поездка.

А потом я задумался: почему Высоцкий не реализовался полностью? Близкие его обожали. Люди боготворили. Власти игнорировали, но это только добавляло ему святости. Он должен был об этом знать, но не мог в это поверить. Так мне казалось.

Я припомнил слова Иоанны, сказанные ночью, когда мы говорили о моей навязчивой идее проявить себя. Она сказала, что во мне есть демон тщеславия. Я, защищаясь, возразил, а Иоанна добавила, что я могу о нем и не знать, потому что этот демон овладевает человеком незаметно. Без него невозможно творчество. Человек должен быть амбициозен и верить, что то, что он создает, необходимо всем. А потом с нетерпением ждать аплодисментов, чтобы иметь стимул творить дальше. Любой творческой личности присущи жажда успеха и страх его не добиться — неважно, в каком виде творчества. Так это понимала Иоанна, и я в конце концов с ней согласился.

Высоцкий должен был чувствовать все это особенно сильно, потому что жил за железным занавесом. Он знал, что при социалистической системе талант и трудолюбие ничего не гарантируют. И хотя свободы у него было гораздо больше, чем у других, он наверняка понимал, что этой привилегии его могут в любой момент лишить. (К тому же при жизни он не смог издать свои стихи. Первое массовое издание вышло только в 1981 году, то есть через год после его смерти.) Для него будут закрыты двери

театров, ему запретят концертировать — и он погибнет как художник. Зная характер Высоцкого, понимаешь, что он жил в постоянном страхе. Может быть, с помощью алкоголя и наркотиков он боролся с этим страхом?

Большая часть пациентов Панкова — те, кто не может справиться со своими страхами. Так заявила на сеансе групповой психотерапии психолог Аннета. Эти люди сломлены неустанной погоней за успехом и счастьем, потому что быть счастливым — главная цель человека. Если ты несчастлив, значит, с тобой что-то не так. А люди из мира, окружающего Панков, — это наркотизированные толпы напуганных тем, что есть, и тем, что будет, потребителей никотина, кофеина, алкоголя, успокоительных средств, возбуждающих средств, таблеток от боли, от бессонницы и антидепрессантов. Не говоря уже о тех, кто употребляет марихуану или что покрепче. Сегодня все так или иначе «под кайфом», как метко заметил Джошуа, иначе люди просто не смогли бы жить...

А когда Окуджава снова хрипловато запел свою «Молитву», я подумал об Анне. Встал с кресла и из кармана плаща, висевшего в шкафу, достал бутылочки сока. Поперек желтой этикетки одной из них черным фломастером был написан номер телефона. В первое мгновение мне захотелось позвонить, но я тут же вспомнил, что уже очень поздно.

Анна...

Умная. Красноречивая. Раскрепощенная. Немного истеричная. Привлекательная. Даже красивая. Уже не девочка. Очень женственная. У нее нетипичная для русских красота. Если бы я случайно встретил ее, например, в Кельне, никогда бы не подумал, что она из Восточной Европы. Разговаривая со мной по-немецки, она использовала слова, которые обычный немец слышит в дискуссиях на телеканале «Культура» или читает, не понимая их значения, во «Франкфуртер альгемайне цайтунг» — газете интеллектуалов и тех, кто считает себя таковыми. Такие слова использовали Свен и иногда Джошуа, когда хотел позлить психологиню Аннету, считавшую его дурачком и говорившую с ним иначе, чем со Свеном. Однажды это вывело из себя Свена, который считал, что интеллект в Германии обесценивается. Он сказал Аннете: «Сейчас интеллектуалом считает себя любой нувориш, купивший годовой абонемент в оперу, хотя сам туда либо не ходит, либо во втором отделении засыпает. Гораздо больше его волнуют налоговые льготы на культурные затраты».

Такого рода парадоксы типичны для иностранцев, обучавшихся чужому языку на курсах или в специальных школах, да и для самоучек тоже. Мой приятель Гжегож, органист в церкви адвентистов, который уже двадцать лет живет в американском штате Мэн, утверждает, что

приезжающие туда туристы не могут найти общий язык с местными жителями, потому что используют слишком умные для «аборигенов» слова.

Анна...

Мне казалось, я знаю о ней гораздо больше, чем она могла бы рассказать, если бы решилась. Инцидент с бутылкой колы, завернутой в трусики, и ее реакция могли бы стать началом интересной книги. «Эта машина моего мужа», — сказала она и вместо того чтобы добавить: «и трусики одной из его любовниц», дипломатично пояснила: «Он иногда преподносит мне такие сюрпризы». Но потом не выдержала и разрыдалась. Я не знал, что вызвало у нее слезы — унижение, которое она при этом испытала, или сам факт, что ее муж принимает и хранит у себя в бардачке такие подарки. А может, она плакала потому, что ее жизнь разбита — впервые или в очередной раз. Видимо да — так рыдают, когда кого-то очень любят. Того, кого нельзя любить. От бессилия плачут горше, чем от грусти или боли. Мне такое знакомо. С тех пор как я потерял Изабеллу и Добрую, мне случалось так плакать...

Анна...

Она появилась в моей жизни неожиданно. Но случайно ли? Похоже, в Москве со мной ничто не происходит случайно. Я слушал Окуджаву и вспоминал ее красивый, мелодичный голос. И ее губы. Пухлые губы девочки-подростка. Покусанные, цвета спелой малины, немного потрескавшиеся. Они пробуждали во мне любопытство. Женские губы всегда привлекали мой взгляд. В галереях, на улице, в автобусе, во время концертов. Они волновали меня больше, чем груди, бедра, ягодицы и даже лона. Анна часто прикасалась пальцами к губам. У нее широкие запястья, но тонкие ладони и красивые длинные пальцы. Ногти покрыты оливково-зеленым лаком в тон шейному платку и ленте в волосах. Макияж очень скромный — лишь легкие тени на веках и тушь на ресницах. В уголках глаз — симпатичные мелкие морщинки, особенно заметные, когда улыбается. Кожа смуглая и гладкая. Расстегнутые верхние пуговицы блузки приоткрывали небольшую грудь, и несмотря на лифчик, сквозь тонкую ткань, приковывая внимание, просвечивали соски. Когда она разрыдалась, соски так затвердели, что, казалось, вот-вот проткнут ткань блузки, намокшей от слез. Это я тоже заметил. У Анны тонкая талия, подчеркнутая поясом, и длинные стройные ноги. Садясь за руль, она приподняла узкую юбку, обнажая бедра, затянутые в серебристые чулки с широкими подвязками. Как у девушек в метро.

Анна...

На руках у нее нежный сексуальный пушок, и когда...

Окуджава закончил петь. Я открыл глаза. Мне было грустно. Но эта грусть была непохожей на ту, что я испытывал в Панкове, когда в коридорах больницы наступала тишина, и до меня доносился только шум города за окном. В Берлине я не скучал по Свену, Джошуа и даже по премудрой Аннете, потому что знал, что увижу их на следующий день. Эта уверенность была гарантией безопасности. А здесь заскучал. Неожиданно и сильно. Я не скучал по Иоанне. Она всегда была со мной. Как воздух, которым дышишь. Его нехватку ощущаешь, наверное, только в безвоздушном пространстве. А благодаря Иоанне, по крайней мере до сих пор, мне было чем дышать...

Путаясь в клубке мыслей, я понял, что уже скучаю по Анне. Это было странно. Когда кого-то не хватает, человек испытывает грусть. Так было и со мной. Может, из-за Окуджавы, или из-за Москвы, или из-за Высоцкого, а может, я просто очарован этой женщиной.

Я взял бутылку сока и взгляделся в написанный ее рукой номер телефона. Потом направился в ванную, принял душ и лег спать.

Анна

Струна...

Такой странный и далекий — и такой родной...

Она чувствовала, как в ней возникает наполненный, глубокий звук, словно тысяча голосов поют в унисон. Ощущала его вибрацию как легкое щекотание. Очень приятное. Это как когда идешь берегом моря и легкий бриз обволакивает тело. Или когда видишь улыбку младенца.

Откуда возникло в ней это забытое, а может, и вовсе неизведанное чувство гармонии и внутренней свободы? Да-да, свободы!

Анна вспомнила, как в рассказе Генриха Бёлля «С тех пор мы вместе» главный герой сидит в зале ожидания вокзала, погруженный в собственные мысли, и взгляд его все время на что-то натывается, помимо его воли, потом вновь скользит — и вновь натывается, словно что-то его притягивает. И тогда он смотрит на это место уже осмысленно и видит девушку.

Бёллю удалось передать почти не осознаваемый в реальной жизни момент эмоциональной фиксации — произвольного привлечения внимания к тому, что соответствует нашим внутренним побуждениям: в этот момент у человека меняется весь его мир.

Анна не понимала, как случилось, что она вдруг всем сердцем, всем своим существом стала стремиться к этому поляку с голубыми печальными

глазами. И хотела разделить с ним его печаль.

Струна...

На вид ему около сорока или чуть больше. Морщинки в уголках глаз, твердый подбородок и пшеничные волосы. Большие руки с длинными пальцами и хорошая улыбка. Анна чувствовала, что он очень устал, как путник после долгой дороги. Ей было жаль, что они так скоро расстались. Хотелось говорить с ним еще, поведать ему свои тайны, прикоснуться к его тайнам.

Когда они ходили по Ваганьковскому и она рассказывала про Высоцкого, он был так близко, что Анна ощущала на щеке его дыхание.

Ей вдруг захотелось, чтобы он подарил ей цветы. Букетик ромашек или большую чайную розу. Она бы прижала цветок к губам и долго вдыхала чудесный тонкий аромат. Анна вспомнила огромные букеты от Сергея. Сколько она их получила — двадцать, сто?.. Эти «веники» сиротливо стояли на столе, и она никогда о них не заботилась, даже не нюхала. А вот цветок, подаренный Струной, она бы засушила и сохранила на память.

В машине остался запах парфюма этого едва знакомого, но уже такого родного мужчины. Она не спутала бы его ни с каким другим. В нем были грусть, сила, отчаяние и надежда. А самое главное — в нем был Струна, которого ей так захотелось вдруг узнать поближе.

Неожиданно для себя, впервые за долгие годы, словно что-то победив в себе, начала читать любимые строчки Ахматовой, проникновенно и торжественно:

Широк и желт вечерний свет,
Нежна апрельская прохлада.
Ты опоздал на много лет,
Но все-таки тебе я рада.
Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.
Прости, что я жила скорбя
И солнцу радовалась мало.
Прости, прости, что за тебя

Я слишком многих принимала. Она свернула налево и попала в пробку. Вспомнила, как по-польски пробка: *korek*. Она уже поняла, что ее

Даша — та самая, которую ищет Струна. Иначе и быть не могло. Даша жила в Берлине. Струна говорил про Магду Шмитову, Даша тоже говорила про Магду. Но что же ей делать? А вдруг, узнав от нее про Дашу и встретившись с ней, Струна решит, что ему больше нечего делать в Москве? Вдруг он так же стремительно исчезнет из ее жизни, как появился? Ей стало страшно, так страшно, что даже бросило в жар. Неужели это возможно? А как же она? Анна вела машину, как всегда, аккуратно и внимательно, а в душе у нее бушевала буря.

«Может, я слишком боюсь боли, своей и чужой? Или слишком люблю ее — свою и чужую? Я размышляю, рефлексирую, пытаюсь понять — себя, конечно, себя. Маленькие инъекции боли — как укол эндорфина прямо в сердце». Люди, испытывающие тревогу или страх перед началом испытания, предпочитают разделить их с кем-то. У ближайшего перекрестка Анна развернулась и поехала в обратную сторону. Ей было необходимо с кем-нибудь поговорить.

Через час она уже стояла у Дашиного подъезда. Домофон. «Хоть бы она была дома, хоть бы была...»

— Да? — милый Дашин голос.

— Даша, — Анна облегченно прикрыла глаза, — Дашенька, открой, пожалуйста...

Они устроились на Дашиной кухне. Пахло ягодами.

— Я разбрызгала остатки своих зимних черничных духов, чтобы выкинуть флакон, — пояснила Даша.

Сладкий запах. Полный беспорядок. Раскиданные всюду вещи.

— Пыталась разобраться в стенном шкафу, — поймала ее взгляд Даша. — Просто кошмар, что там творилось...

Анна сделала глоток крепкого обжигающего чая и сказала:

— Мне нравится, что он такой живой, такой эмоциональный. А еще я много думала о сведении счетов с жизнью. Интересовалась тайным братством стремящихся к смерти, читала книги и статьи, практически стояла на самом краю... как эмо, только без этой их эффектной позы. Все мы так или иначе думаем о смерти, но лишь немногие заикливаются на абсурдности существования... Как это там у Камю: человек изгнан навек, он лишен и памяти об утраченном рае, и надежды его обрести... Он тоже об этом думал, я уверена! И я чувствую, что он так же одинок. И еще я чувствую, что он пережил какую-то трагедию, оставившую шрам на его душе. Я могу его спасти, а он — меня. И потом, мне он кажется таким невозможно прекрасным! Таким пластичным...

Даша молча слушала, а Анна продолжала, энергично жестикулируя:

— Я все эти годы присматривалась к мужчинам, примеряла их, как платья. Ни один не был мне к лицу, я ходила больная, слабая, смеялась, плакала... А он, понимаешь, Даша, он такой... Рядом с ним мне хочется быть слабой...

Анна резко поднялась. Звякнула чашка.

— С таким мужчиной ты не упадешь даже на скользкой лестнице. А если все же упадешь, он поможет подняться. И если разревешься, утешит. И ты всегда будешь знать, что всё, что бы он ни делал, он делает для тебя... Но самое главное, Даша, — я обязана этим тебе! Тебе, понимаешь?!

Анна замолчала, рухнула обратно на стул. Даша встала, подошла близко, прижала ее голову к своей груди. Погладила густые пряди.

— Ну а теперь, — сказала спокойно, — расскажи все с самого начала.

Струна

Было еще темно, когда меня разбудил страшный шум. Я взглянул на часы в панели телевизора. Начало четвертого. Подошел к настержь открытому окну. Под моими окнами рычал, как бешеный слон, двигатель мусороуборочной машины. Вываливающиеся из контейнеров бутылки бренчали по мостовой, мусорщики, передвигавшие контейнеры, громко ругались. Минуту спустя к этой какофонии присоединились истошные звуки от припаркованных рядом автомобилей. Видимо, установленная на них сигнализация не предусматривала, что мимо будут проезжать тяжелые машины. И это в Москве! В начале четвертого утра! Я решил, что чиновник, позволивший мусороуборочным машинам работать среди ночи, страдал глухотой, бедняга.

Плотно закрыв окно, я вернулся в постель, но заснуть уже не мог и стал размышлять, что может думать по этому поводу не заезжий человек, вроде меня, а обычный москвич. Смирился ли он с этим, злится ли от бессилия или считает, что это нормально, потому что днем мусор трудно собирать из-за ужасных пробок?

Случись такое в Берлине, на ближайших же выборах партия, заправляющая в магистратуре, ни за что бы не победила. А та, что пришла бы к власти, наверняка закупила бы бесшумные мусороуборочные машины. А мусорщиков заставили бы подписать обязательство не только не ругаться, но вообще не разговаривать. В Берлине «оскорбление общественной морали путем использования ненормативной лексики» вряд ли стало бы проблемой, потому что мало кто из немцев, приходящих на

выборы, понимает турецкий, албанский, хорватский или польский, а мусорщиками работают в основном выходцы из этих стран. Но законодательный запрет нарушать покой граждан с двадцати двух до семи утра распространяется на всех.

Жители Варшавы тоже сочли бы, что их покой нарушен, но не стали бы откладывать дело в долгий ящик, подписывая гневные петиции или молча вычеркивая фамилии кандидатов в избирательных бюллетенях. Это самый нетерпимый народ из всех, какие я знаю. В Варшаве поляки, открыв окна и перекрикивая шум мусороуборочных машин, матерились бы сами, бросали бы в мусорщиков всем, что подвернется под руку, начав с пустых бутылок, а потом пустив в ход яйца. И про политику поляки не забыли бы, обозвав мусорщиков приспешниками «комуняк», «евреев» и «банды эксплуататоров». А жители первых этажей повыскакивали бы на улицу, угрожая мусорщикам тюрьмой, или названивали бы в полицию. Другие жильцы мгновенно создали бы комитет по защите поправленных прав преследуемых мусорщиков и тоже стали бы звонить в полицию. А она отправила бы всех жаловаться в мэрию. Туда никто бы, конечно, звонить не стал, причем не только в воскресенье, но и во вторник, потому что туда невозможно дозвониться. Тем временем мусороуборочная машина уехала бы, автомобильная сигнализация стихла, комитет самораспустился, а жители разобрались в политических и религиозных взглядах соседей и стали бы их уважать или, наоборот, ненавидеть. Вот так, скорее всего, обстояли бы дела в Варшаве.

Когда же мусороуборочная машина уехала, в номере включился кондиционер. Я протянул руку к телефону:

— Джошуа, скажи, тебе когда-нибудь хотелось в три часа ночи убить нескольких мусорщиков? — спросил я.

Несколько мгновений я слышал в трубке что-то странное, похожее на звук льющейся воды.

— Спасибо тебе, Струна. Ты, кажется, спас мой телефон. Я ночью выкинул его в унитаз и спустил воду, но он всплыл, когда ты мне позвонил. Надо будет написать об этом на фирму... Может, новый подарят... А ты, Струна, случайно не под кайфом?

— Нет!

— Тогда какого черта звонишь из Москвы и спрашиваешь про мусорщиков в час ночи?

— А ты-то сам что, под кайфом?

— Тоже нет. Всю дурь отдал Свену. Ему она сегодня нужнее, чем мне. Он пришел в котельную в таком состоянии, будто побывал на бесплатной

экскурсии по чистилищу. У него в голове засела какая-то бредятина с годовщинами. Все твердил, что никто не может понять, как это больно. Якобы только ты, Струна, можешь понять. Все в Панкове знают, что одному тебе известен пин-код от космоса Свена. Не то чтобы он жаловался. Просто рассказывал. Без эмоций. Сам знаешь, Свен не умеет плакать. А потом немного нюхнул, и ему стало легче. У него сейчас тоска. Но это так, к слову. А что там у тебя с мусорщиками? Я никогда не убил бы мусорщика. Сам четыре месяца работал мусорщиком, но меня уволили, потому что я отказался подбирать раздавленных кошек. Если бы мне пришлось писать автобиографию, я начал бы с того, как был мусорщиком. Так что там у тебя случилось? Какой-то мусорщик трахнул твою русскую?

— Да нет, Джошуа, мне просто хотелось с тобой поболтать. У меня бессонница. А Свен приходит в котельную с книгой?

— Вот именно что нет!

— Джошуа, ты позаботишься о нем?

— Имеешь в виду, что я должен скупить все бритвы и лезвия в Берлине?

— Не до такой степени. Тем более что у Свена все это есть. Просто почаще говори с ним. Лучше всего о науке. И не перекорми его химией. Что ты ему дал сегодня?

— Кислоту. Сегодня ему была нужна кислота.

— Джошуа, прошу тебя, не давай ему ЛСД! Ему покажется, что мозг у него отделился от тела, и он сотворит что-то нехорошее. Не надо, Джошуа! Он ценит только свой мозг...

— Не нуди, Струна. У меня не было ничего послабее. Не надо истерик. Я позабочусь о нем. Ты когда вернешься?

— Не знаю. Я предпочел бы никогда не возвращаться в Панков.

— Ты не можешь так со мной поступить! Сегодня Шмидтова столкнулась со мной в магазинчике и расспрашивала о тебе. Я обещал сообщить дату твоего возвращения, если она со мной переспит. А она ответила, что спит с лесбиянками, а не с педиками, но что если ты вернешься, она подумает над моим предложением. Ты должен вернуться, Струна. Слышишь? У меня такое ощущение, что если я хоть раз трахну Шмидтову, она снова станет натуралкой.

— Я дам тебе знать! — ответил я, громко рассмеявшись в трубку. — Обязательно...

Известие о кризисе у Свена меня встревожило. В конце марта день рождения его дочери. И годовщина свадьбы. После катастрофы он возненавидел март. К нему возвращались его демоны, и он впадал в

«депрессивную горячку», как сам ее называл. Он рассказал об этом только мне. Меня удивило, что теперь в курсе и Джошуа, потому что Свен открывал душу мне одному. Я не могу назвать наши отношения дружескими, потому что дружба подразумевает объективность, а я им всегда восхищался. И сознавал, что мне до него далеко, потому что после наших бесед на угольной куче в Панкове чувствовал себя полным тупицей.

Но Джошуа ошибается, считая, что Свен не умеет плакать. Часто по ночам Свен стучался ко мне и, присев на подоконник, спрашивал:

— Можно, я расскажу тебе про мою жену?

Я садился на кровать, закуривал и слушал. Он рассказывал одни и те же истории, каждый раз другими словами, в другой последовательности или с другими интонациями. И всегда плакал. И я тоже плакал...

Сейчас была середина апреля, и обычно Свен уже успокаивался к этому времени под воздействием увеличенных доз психотропных средств. Видимо, произошло нечто особенное. Я решил, что через пару дней, если ничего не изменится, свяжусь со Свеном. Это не так просто, ведь у Свена нет сотового. Он считал, впрочем, как и Джошуа, который без телефона и шагу ступить не мог, что все эти джи-эс-эм — происки шпионов и алчных производителей. Но если Джошуа с этим, из финансово-наркотических соображений, смирился, то Свен — нет. Как и с интернетом. «Профессор Свен Г.», которого цитируют на множестве порталов, никогда в Сети не присутствовал и лишь выборочно отвечал на письма, приходявшие обычной почтой, в бумажных конвертах, подписанные именем и фамилией, с маркой и обратным адресом. Это при том, что у него восемнадцать адресов электронной почты. Одним из них он пользовался прежде для общения с женой, а теперь — со своими близкими. Остальные адреса обслуживали его ассистенты, секретари и помощники. Я еще не вошел в число его близких. Возможно, потому, что ни он, ни я не предполагали, что когда-нибудь окажемся так далеко друг от друга, и для общения нам понадобится Интернет.

Начинало светать. Я встал с кровати и подошел к компьютеру, стоявшему на столе в соседней комнате. В почтовом ящике, кроме спама и более десятка сообщений от Иогана фон А., обнаружил письмо от Иоанны. Я не стал открывать его письма, прекрасно представляя, что мог написать напуганный моим исчезновением Иоган фон А. Любой мой ответ был бы ложью, а правду я был еще не готов ему написать. И потом, я не хотел облекать ее в слова, собираясь высказать при личной встрече.

Иоанна писала:

Любимый, прости, я нарушила слово.

Обещала умолкнуть на время твоего пребывания в России и не вмешиваться в твою жизнь. Но меня так и подмывает тебе написать. Слишком многое о тебе напоминает: пепельница на балконе, распитая бутылка шампанского, твои записки, которые я нахожу в самых неожиданных местах. Недавно нашла в морозилке (sic!) три исписанные мелким почерком страницы о Стравинском. Ты поставил на них кастрюлю с варениками и забыл мне о них напомнить. В этом весь ты. Вчера я обнаружила кастрюлю и отклеила от ее дна странички. Я с удовольствием поела вареники (плевать на талию!) и читала то, что ты написал о Стравинском (ведь можно?). Я и не знала о его романе с Коко Шанель! Ты считаешь, что именно это повлияло на его композиторский стиль, сделав более свободным. Представь себе, я тоже это заметила, сравнив его сочинения «до Шанель» и то, что было создано после окончания романа, вот только не заметила «явного отчаяния» в его музыке. Но ты, конечно же, лучше меня разбираешься и в музыке, и в отчаянии...

Меня все еще преследуют искушения. Поэтому сегодня я отправилась в костел: решила исповедаться. Ксендз, когда я добралась до слова «искушение», посмотрел на меня внимательно, но потом снова погрузился и даже, кажется, задремал. Он не отпустил мне грехи, но признал, что искушения у меня «благородные». Мне не оставалось ничего другого, как поддаться им, и вот я пишу письмо...

Как тебе живется в России? Нашел ли ты тех, кого искал? Или, может, они сами тебя нашли? Ведь ты ищешь там не столько эту девушку, сколько самого себя, хотя в последнее время ты не был одинок. Здесь, со мной, в Новой Гуте, ты стал другим человеком. Каждый вечер я тебя заново открывала. И ждала следующего вечера...

Я скучаю по тебе. Вместе с Киней. Она по утрам ищет тебя в постели, а по вечерам — в ванной. И ночью засыпает на твоей подушке. На той маленькой, твоей любимой, с вышивкой бабушки Юзефы на наволочке. Я не стала ее стирать, и мы постоянно тебя вынюхиваем, Киня — куда усерднее, чем я. Утром она, как и я, ищет твою ладонь. А иногда от избытка чувств мурлычет и месит лапками твою подушку.

Нам тебя не хватает. Всем — мне, Кине и даже пани Анастасии. Она считает тебя героем. То, что ты отважился поехать в Россию «сразу после этого покушения в Смоленске», с ее точки зрения, настоящий подвиг. Каждый раз, встречая меня на лестнице или в лифте, она спрашивает, сварила ли я тебе «перед этой опасной поездкой» гороховый

суп. А я не сварила. Это ты ведь мне готовил. Знаешь, возвращаясь домой вечерами, я чувствовала аромат твоих блюд и частенько останавливалась у двери, чтобы всплакнуть от избытка чувств. Потому что с тех пор как умерли мои родители, для меня никто НИКОГДА не готовил. И даже если бы ты ждал меня всего лишь с киселем, в который забыл положить сахар, это был бы праздничный кисель...

Ты нежный, чуткий, любящий, романтический, заботливый, надежный, все понимающий мужчина. Такой, с каким хочется вместе растить внуков. Тебя невозможно не любить и хочется заполучить на веки вечные. Чтобы ты целовал мне ресницы, желая спокойной ночи, а по утрам готовил завтрак.

Я никак не могла понять, что меня привлекает в тебе больше всего. Может, твое спокойствие, а может, равнодушие к так называемым высшим целям. Помнишь, однажды утром ты высвободился из моих объятий и побежал в спортивных брюках в пекарню за булочками? Потом в постели мы объедались ими, запивая молоком из пакетов. Тогда мы и завели речь о высших целях. Ты говорил о том, что я и сама испытала, когда сбежала в Монголию. Что ощущаешь злость и сожаление, что в жизни есть высшие цели, по сравнению с которыми такие мелочи, как выпечка булок или дойка коров, ничто не значат, что мы не умеем быть самими собой, не прикидываясь теми, кем не являемся. Психологи, помогая людям выйти из депрессии, говорят, что следует замечать луч солнца, расцветший бутон, улыбку прохожего, радостный взгляд ребенка, благодарность нищего, ожерелье пены, в которое наряжается морская волна, набегая на берег... Но в один прекрасный день человек перестает видеть все это, ослепленный высшей целью. Так ты это назвал. А потом признался, что тебе трудно смириться с этим и порой хочется быть героем сентиментального романа, вместо того чтобы каждый день заставлять себя замечать такие мелочи.

Нам было грустно тем утром. Ты принялся перебирать пластинки в одной из коробок, а потом поставил Шопена, и нам сделалось еще грустнее, потому что для тебя это какой-то ноктюрн до-минор, опус 48, номер 1, а для меня — что-то вроде похоронного марша, который я слышала на кладбище в день Всех Святых. Ты уверял меня, что ноктюрн так звучит только в исполнении этой русской пианистки и в действительности не имеет ничего общего с похоронной музыкой. Но ведь он еще до своей болезни видел призраки...

А потом я смотрела на тебя, а ты голый пил молоко и жевал булочку, продолжая объяснять мне с таким жаром, будто это был вопрос жизни и

смерти, принципиальную разницу между похоронным маршем и ноктюрном Шопена. И я уже в который раз чувствовала, что обожаю тебя. И перестала слушать. Просто смотрела и влюблялась еще сильнее...

А потом ты говорил, как эта молодая русская гениальна, что она играет божественно, гармонично, будто плывет по нотам прямо в душу, будто у нее с роялем роман... Что ее зовут Валентина Игошина и она очень похожа на меня. Я запомнила ее имя, на следующий день в школе села за компьютер и нашла Валентину на ютьюбе. Мне хотелось посмотреть на нее. Она играла тот самый ноктюрн. То, что ты видишь в ней сходство со мной, для меня большой комплимент. И теперь я примерно представляю, какие женщины тебе нравятся. Кстати, откуда ты узнал, как выглядит Игошина, ведь на обложке пластинки нет ее фотографии?

А потом я взяла у тебя пакет молока и булочку, прогнала из постели кошку и стала нежно целовать твой живот. Только тогда ты замолчал. И мы занимались любовью прямо на булочных крошках.

Когда мы с Киней особенно скучаем, мы рассматриваем фотографии в моем фотоаппарате. Из Гуты, Кракова, на кухне, в спальне, в ванной. И каждый раз, когда смотрю на тебя, мне кажется, совесть у меня нечиста. И когда не смотрю — тоже...

Твоя Иоанна М.

P. S. Тяжелее всего мне было, когда я паковала твой чемодан...

Я всматривался в буквы на экране, и они расплывались из-за выступивших на глазах слез. Мне трудно было бы описать свои ощущения. Больше всего подошли бы слова «меланхолия», «нежность» и «растроганность». Иоанна умела так описывать свой мир, что каждое предложение, а иногда даже слово несло в себе какое-то очень важное сообщение. Иногда мне казалось, что она знает все мои тайны и ей уже не удастся меня удивить. Но я ошибался, потому что постоянно узнавал от нее о себе что-то новое.

Иоанна из тех женщин, от которых многие мужчины хотели бы сразу иметь внуков. Она умеет подобрать точный образ, чтобы передать то, что у других заняло бы несколько страниц или даже глав. Это замечательная черта для преподавательницы польского языка. Иоанна говорит, что овладела этой профессией по необходимости, а не по призванию. Тем не менее она любит свою работу и готова учить детей даже бесплатно. Я завидовал ее ученикам. Моя учительница польского в лицее сделала все, чтобы отвлечь меня от литературы и поэзии. И только благодаря родителям я не обходил стороной библиотеки и книжные магазины. А еще

благодаря брату, который изучал полонистику в университете. Правда, уехав из Польши, он ее забросил. Когда мы с ним еще общались, он написал, что считает себя «падшим полонистом, а это хуже, чем падшая женщина».

Иоанна готовилась к урокам, стараясь не ограничиваться повторением правил и пересказом неинтересных молодежи книг. Я помогал ей. Мы рылись в энциклопедиях, доставали книги и институтские учебники из коробок в подвале. Искали отправные точки, чтобы возбудить в подростках интерес, спровоцировать, достучаться до них. Темы уроков Иоанны нетипичны для польских лицеев: «Муж Мерилин Монро Артур Миллер», или: «Действительно ли Жеромский любил Польшу?», или: «Писал ли Сенкевич только ради денег?» или: «Могла бы Элиза Ожешко вести хороший блог?». Мне захотелось ей помогать уже на третий день моего пребывания в Гуте. Иногда я всю ночь искал для нее жемчужины в этой помойной куче — Сети. И был за это вознагражден, когда на следующий вечер, за ужином, она рассказывала, что теперь ее ученики хоть что-то знают о Миллере и хотят узнать больше о Жеромском.

А еще Иоанна очень красивая. И в этом я тоже завидую ее ученикам. Учительница, которая хороша собой и не связана официально с каким-то конкретным мужчиной, вызывает у мужской половины коллег возбуждение, у женской — зависть, а в учениках — интерес. Я помню это со школьных лет. Девочки с пристрастием выискивают морщинки на ее лице и комментируют длину юбки, а мальчики мечтают под эту юбку заглянуть. Я в пубертатный период, когда не мог справиться с сексуальным напряжением, чаще всего мастурбировал, представляя себе учительницу биологии. Кстати, она была похожа на Иоанну. И к урокам биологии я всегда старательно готовился, хотя науку эту на дух не переносил.

Иоанна такая женщина, от которой многие захотели бы иметь детей, не думая при этом о внуках. В каком-то смысле я люблю ее. Конечно, не так, как она бы этого хотела. Но она смирилась с этим «в каком-то смысле». Не потому, что у нее нет выбора. Он у Иоанны есть, я это знаю. Но она почему-то ждет, что я полюблю ее так же, как она меня, чтобы это стало смыслом жизни. Я не раз бывал к тому близок, но всегда случалось так, что в моей жизни появлялись другие женщины. Не потому, что я их искал. Ведь я не бабник! И никогда им не был. Я был моногамен — в том смысле, что не изменял той женщине, которой поклялся хранить верность. Но обещал я это лишь одной женщине — матери Добруси. В Гуте я несколько раз был готов дать такую клятву Иоанне. Но подходящий момент так и не настал. Не знаю, чувствовала ли она это. Во всяком случае, не торопила меня. А

здесь, в Москве, этот момент снова стал отдаляться...

Я выключил компьютер, встал из-за стола и пошел за сигаретами. Получив свою дозу никотина, понял, что теперь мне нужна музыка. Надел брюки, пиджак, туфли на босу ногу и с сигаретой в зубах вышел из номера. Я помнил, что внизу, в ресторане, есть рояль. Белый «Стейнвей», прямо у входа, на возвышении.

Я спустился на лифте вниз. Портье спали, положив головы на стопки бумаг. Стараясь их не разбудить, я на цыпочках дошел до ресторана. Усевшись на обитый вишневым плюшем стул, прикоснулся кончиками пальцев к клавишам. Это было потрясающее ощущение — для меня нет приятнее, кроме, разве что, прикосновения к головке Добруси. Я начал играть и через мгновение забыл обо всем — и о спящих портье, и вообще об окружающем мире.

Я остановился, только когда забыл продолжение того ноктюрна номер один, о котором писала Иоанна. А открыв глаза, увидел стоявших вокруг девушек-портье и четверых мужчин в униформе. Один из охранников предложил мне сигарету, другой протянул руку с зажигалкой, девушка принесла пепельницу с одного из столиков. Я закурил и, глядя на них, подумал, что они, наверное, считают меня сумасшедшим. И почему-то вспомнил Джошуа, к которому подсел в Панкове, когда он играл Шумана. Несколько дней спустя я спросил его, что он подумал, когда я вдруг подтащил к роялю стул и мы начали играть в четыре руки. Он ответил, что я в тот момент стал его любимым сумасшедшим, потому что ни один нормальный человек никогда бы так не поступил...

Я встал из-за рояля, извинился за то, что побеспокоил всех ночью, и вернулся в номер. А мне вдогонку один из охранников сказал:

— Это была прекрасная музыка. Вы гениальный террорист...

Через некоторое время я проснулся снова. Честно говоря, я был даже благодарен тугоухому чиновнику, который отправляет мусороуборочные машины на улицы Москвы в три часа ночи и будит людей. Если бы не этот грохот, я спокойно проспал бы ночь и не получил столько положительных эмоций.

Несмотря на ранний час и субботнее утро, московская улица за окном шумела так же, как улицы в Берлине. С той лишь разницей, что на берлинских улицах такой шум бывал только вечером в пятницу, когда приближался уикенд. Пронзительные гудки клаксонов, визг тормозов, рычание выхлопных труб, окрики. Московская улица в субботу пробуждалась гораздо раньше берлинской.

Я включил телевизор и отправился в ванную. В Панкове и у Иоанны в Гуте телевизор был мне не нужен. Если бы не смоленские события, я и не включил бы его ни разу за время пребывания у Иоанны. Но здесь, в этой гостинице, мне было одиноко, и телевизор заменял собеседника, наполняя звуками невыносимую тишину. Неслучайно в каждой гостинице, где мне довелось побывать, даже в деревянной конуре с громким названием «мотель» в Южной Дакоте, где я останавливался, когда путешествовал на мотоцикле по США от Бостона до Сан-Диего, и, разумеется, в семизвездочном дворце «Бурж аль-Араб» в Дубае, в номере был телевизор. Мне попадались отели, в которых была одна на весь этаж, общая для мужчин и женщин душевая, зато телевизор стоял в каждом номере. В гостиницах люди особенно остро ощущают одиночество. Неслучайно многие сводят счеты с жизнью в отелях, причем порой недалеко от собственного дома.

У меня не было никаких планов на ближайшие два дня в Москве. Мне совершенно не хотелось увидеть мумию Ленина, за которой ухаживает целая армия визажистов, в Кремль меня тоже не тянуло, а по Красной площади я всегда успею прогуляться. Я не знал, в Москве ли сейчас балетная труппа Большого театра, потому что мне казалось, что она много лет больше гастролирует за границей, чем дает спектакли на родине. Но если балет тут, я готов был отстоять в очереди за билетом или даже купить его у спекулянтов в Интернете. Я решил во что бы то ни стало хоть раз побывать на выступлении балетной труппы Большого перед согражданами.

Несколько лет тому назад жена одного бельгийского импрессарио пригласила меня на выступление балета Большого театра в Брюсселе. Пожилая дама, канадка из франкоязычного Квебека, она была, по ее словам, «совершенно очарована талантом этих молодых людей с Востока». А судя по тому, что «Восток» для нее, видимо, начинался сразу за Берлином, она не сомневалась, что танцовщики Большого театра — мои земляки, и, по-своему понимая гостеприимство, решила, что мне будет приятно увидеть их в Брюсселе. Спектакль Большого в тот вечер прошел не особенно удачно, я видел и более успешные выступления этой труппы, но все-таки это был «балет Большого», который давно стал для многих товарным знаком, таким же, как iPhone, Windows, Tiffany, Nike, Playboy, Google, Twitter или YouTube. Этот коллектив знают далеко за пределами «Востока», и для моих знакомых не с «Востока», в отличие от меня, относящихся к России без особых эмоций, слово «Большой» однозначно ассоциируется с этой страной. Точно так же, как слова «Путин», «Сибирь», «Урал», «Сталин», «Медведь», «Революция», «Коммунизм», «Мафия»,

«Газпром», «Эрмитаж», «Солженицын», «Гулаг», «Кремль», «КГБ», «Водка», «Чернобыль», «Взятка», «Гагарин», «Достоевский», «Чечня», а в последнее время еще «Ходорковский», «Медведев» и «Политковская». И хотя это может показаться странной мерой успеха, для балерин, танцовщиков и балетмейстеров Большого важно, что их театр стал одним из символов современной России.

Для жены импресарио оркестра из Брюсселя слово «успех» было решающим, поэтому она два часа терпеливо смотрела спектакль, хотя для нее гораздо важнее было продемонстрировать в антракте свое новое бриллиантовое кольцо на морщинистой шее, резко контрастирующей с разглаженным ботоксом лицом, и поделиться со знакомыми вычитанными из газет соображениями об «интеграции культур Востока и Запада». При этом она каждый раз хватала меня за руку и, фамильярно прижимая ее к своей огромной груди и с ошибками выговаривая мои имя и фамилию, представляла своим подругам как «представителя этой интеграции, известного музыкального критика из России». Я чувствовал себя скорее жиголом, чем критиком, но вежливо кланялся, считая бессмысленным объяснять, что Россия и Польша — разные страны, которые, к счастью, с 1989 года больше не являются «интегрированными».

Еще в Москве я хотел бы пойти в церковь и послушать там церковный хор. Именно здесь духовная музыка наиболее близка своим корням. Московские хоровые коллективы следуют древним канонам духовного пения, сочетая их с романтизмом, в частности, Рахманинова. Впервые меня привел в православный храм в Берлине сосед по этажу, латыш, моряк, который однажды не вернулся на свой тогда еще советский торговый корабль и, получив политическое убежище, остался в Германии. Он с пониманием относился к моим приступам ночного музицирования, а я — к его шумным ночным возлияниям. Однажды воскресным утром мы столкнулись на лестнице. Я спросил его по-немецки, как дела. Он понял это как «куда вы идете?» и ответил:

— Да в церковь вот иду. Не помолиться, потому что не молюсь, когда пьяный. А поскольку я редко когда не пьяный, то почти никогда и не молюсь. Хор иду послушать.

Так я попал в православную церковь в Берлине — маленькое, пропитанное запахом ладана деревянное здание с золотистыми росписями на стенах и сводах. Когда зазвучал мужской хор, мне показалось, что вот-вот раскроется купол и раздастся голос архангела. Я ощутил мистическое упоение. Только в православной церкви можно услышать пение без сопровождения. И не обязательно быть верующим и понимать слова, чтобы

наслаждаться им. С тех пор я часто ходил в ту церковь и стал покупать записи духовной музыки, но всегда мечтал послушать ее в большом российском храме среди русских людей...

Гостиница постепенно пробуждалась. В коридоре хлопали двери, звучали обрывки разговоров, жужжали пылесосы. Я почувствовал голод и отправился в ресторан. Когда проходил мимо стойки администратора, обе девушки мне улыбнулись. Я вспомнил свое «выступление» в четыре утра. И еще Игошину, ведь она училась в Москве! Там же, где скрипачка-массажистка. Решив начать субботний день с посещения консерватории, я подошел к стойке администратора и попросил, чтобы мне показали на карте, как добраться туда на метро.

Ресторан был полон. Официантки звонко стучали каблучками по паркету, проворно обслуживая посетителей. Я сел за столик неподалеку от белого рояля. Молодая девушка в черном вечернем платье играла на нем песни из репертуара Синатры. Живая, не в записи, фортепьянная музыка за завтраком! Я вслух выразил свой восторг соседям по столику. Мужчина пробурчал что-то невнятное, отправив в рот огромный кусок булки с икрой и роняя икринки на галстук. Его спутница тут же схватила салфетку и принялась смахивать их с галстука.

— Виталий, дорогой, прошу тебя, не торопись, у нас еще куча времени...

По ее акценту я понял, что она не русская. Мы разговорились. По-немецки. Ее звали Мадлен, ей было около тридцати, она приехала из Женевы. Виталий, который выглядел гораздо старше, — русский из Курска. Они познакомились три года назад на вокзале в Харькове. Виталий возвращался из командировки на Украину, а Мадлен, дочь богатого винодела из окрестностей Аннеси, везла из Харькова в Москву группу швейцарских студентов-славистов. Поезд вот-вот должен был отправиться, а одна из ее подопечных все еще не добралась до вокзала. Мадлен в отчаянии бегала по перрону, умоляя задержать отправление поезда. Ей объясняли, что нельзя нарушать расписание движения. В какой-то момент она не выдержала и расплакалась. Тогда-то к ней подошел Виталий. Выяснив причину ее слез, побежал к машинисту. А когда его просьба не возымела действия и двигатели все же были включены, а двери стали закрывать, Виталий спрыгнул с перрона на рельсы и сел на свой чемодан в нескольких метрах перед локомотивом. Охранники вокзала принялись затаскивать его обратно на перрон. К этому моменту студентка вернулась, но Мадлен о ней уже забыла. В результате поезд уехал со студенткой, но без Мадлен и Виталия. Они вместе сидели в отделении милиции, и

Виталий убеждал Мадлен, что ей не стоит беспокоиться, и все закончится хорошо. Так и вышло, а через некоторое время Мадлен переехала из Швейцарии в Курск. Она учит русских детей французскому и немецкому. Четыре дня тому назад была годовщина их свадьбы. По этому случаю они вернулись в Харьков и на том же самом поезде, в 11.05, благодаря которому познакомились, через Курск отправились в Москву. Пока Мадлен все это мне рассказывала, Виталий нежно держал ее за руку.

Это была нетипичная пара: она — с так называемого Запада, он — из России, причем это она переехала к нему на Восток, а не наоборот. Она была богата, а он — обычный инженер-бюджетник. Он ради нее выучил немецкий и учил французский, хотя жили они в России. Типичным в этой истории было только то, что она была молода и хороша собой, а он гораздо старше и вовсе не красавец. Глядя на них со стороны, многие подумали бы, что новый русский снял себе на уикенд молоденькую тёлку.

Между нами завязался обычный для туристов разговор: я рассказал, кто я, откуда и зачем приехал. Потом речь зашла о Москве. По мнению Виталия, тут слишком много рекламы, и если так пойдет дальше, скоро, наверное, даже на стенах Кремля повесят какой-нибудь безвкусный плакат с полуголой стюардессой, предлагающей улетные тампоны по сниженным ценам. Мадлен к этой проблеме относилась спокойно. Ее гораздо больше пугали масштабы столицы и толпы людей на улицах.

— Я читала в каком-то путеводителе, что в Москве живет больше людей, чем в Чехии и Словакии вместе взятых, — сказала она.

От Виталия я узнал, что попасть на балет в Большой театр мне не удастся, так как в ближайшие три недели спектаклей не будет. Потом он заказал бутылку шампанского, а когда она была выпита, мы поспорили, кто пьет больше, русские или поляки. Виталий уверял, что поляки, я — что русские. Мадлен примирительно заметила, что давно уже убеждает своих друзей в Женеве в том, что расхожий образ пьяного русского — устаревший предрассудок, и доказывает это цифрами: оказывается, статистики подсчитали, что в 2004 году взрослый поляк выпил 8,68 литра чистого спирта, русский — 10,58, а швейцарец — 17,54 литра! Нас с Виталием это почему-то задело, и я заказал вторую бутылку шампанского. Опустошив и ее, мы договорились встретиться «у фортепьяно» вечером, и я вернулся в номер с твердым намерением позвонить Анне и сказать, что очень жду понедельника.

В мое отсутствие в номере побывала горничная: на столике под зеркалом снова появилось блюдо с фруктами и бутылка красного вина, а в вазе — свежие тюльпаны. Но бутылки из-под сока, той самой, с номером

телефона, не было. Я бросился на поиски горничной, останавливая каждую, кого встречал в коридоре, но они не понимали, чего я от них хочу, и я узнал только, что пустые бутылки вместе с другим мусором попадают в подвал, откуда их забирают мусорщики. Я спустился на лифте вниз. В подсобном помещении стояли высокие ряды ящиков с пустыми бутылками. Пожилой мужчина в халате заполнял очередной. Я хотел было объяснить ему, что мне нужно, но потом понял, что это глупо. Какое ему дело до того, что я скучаю по некой женщине и что, если бы нашел свою бутылку, смог бы ей об этом рассказать.

Я вернулся в номер за пиджаком. В бюро обслуживания мне вручили распечатку карты города. В конверт был вложен проездной билет на метро, и к нему прикреплена скрепкой визитка директора гостиницы, на которой было написано «*With compliments*» и стояла размашистая подпись.

Московская государственная консерватория имени Чайковского — это не просто учебное заведение, а настоящий храм музыки. Охранники меня пропускали, по цепочке передавая друг другу. Большой зал должен был на днях закрыться на ремонт, но мне удалось в него заглянуть, посмотреть на портреты великих композиторов, обрамляющие зал, заглянуть в учебные аудитории. Слушая доносившиеся отовсюду звуки музыкальных инструментов, я вспоминал свои студенческие годы и скромную консерваторию в Гданьске. Я осторожно приоткрыл дверь одну из аудиторий на втором этаже. Молодой человек с растрепанной шевелюрой стоял за пюпитром с дирижерской палочкой в руках и выкрикивал что-то в такт фортепьянной музыке, звучавшей в записи. Я уселся на скамью в последнем ряду. Аудитория была полна студентов. Человек с дирижерской палочкой рассуждал о Горовице. Он утверждал, что Горовиц неудачно исполнял Шопена, так как выбирал для своих концертов современные инструменты, а музыка Шопена теряет при исполнении на современном инструменте. Шопен не играл бы эту музыку так, как ее играет Горовиц, говорил он. Впрочем, в конце жизни Горовиц вообще себя исчерпал. Я не мог терпеть такую несправедливость по отношению к великому музыканту. Сорвавшись с места, я сбежал на несколько ступенек вниз.

— Что вы такое говорите?! — закричал я по-английски. — Вы слышали этюд ре диез минор опус 8 номер 12 в исполнении Горовица? Он последний раз исполнял его здесь, в Москве, когда ему было 83 года. А что значит ваше: «Шопен бы так не играл»?! Откуда вы знаете, как играл бы Шопен?! И вообще, хотел бы я хоть раз в жизни сыграть Шопена так, как играл Горовиц даже в своем почтенном возрасте. И потом, Горовиц исполнял Шопена в больших залах с не всегда удачной акустикой, он

понимал, что старинные инструменты в них звучать не будут!

Я был вне себя. Иоанна назвала бы это мое состояние «интеллектуальным бешенством». Но я не мог промолчать, когда этот наглый растрепанный тип с дирижерской палочкой разглагольствовал о своих личных впечатлениях, вместо того, чтобы попытаться говорить объективно.

Зал оживился, послышался сдавленный смех.

— Кто вам позволил прерывать мою лекцию?! Немедленно выйдите отсюда! — прокричал по-русски растрепанный субъект, швырнув в меня палочкой, и достал из кармана сотовый телефон.

Я пошел к выходу. Немного успокоившись, я подумал, что это действительно его лекция и он вправе иметь свою точку зрения. Я погорячился. У двери я обернулся и, обращаясь к студентам, сказал по-русски:

— Прошу меня простить. Я не хотел вам мешать, но у меня к Шопену особое отношение. Пожалуйста, не верьте тому, что говорит вам лектор. И тому, что он дает вам слушать, потому что это не Горовиц! — крикнул я в сторону преподавателя. — Вы, должно быть, перепутали диски. Это играет Скрябин. Причем запись плохо отреставрирована!

Я вышел в коридор, открыл окно и закурил. Кто-то дернул меня за рукав. Я обернулся и увидел скрипачку-массажистку. Она вынула из моих губ сигарету и тихо сказала:

— Как вы его! Бежим отсюда! Этот закомплексованный шут позвонил начальству и сказал, что на него набросился какой-то сумасшедший. Через минуту здесь появится толпа охранников. Идите за мной. Я вас выведу...

Она протянула мне руку, и мы побежали по лабиринту коридоров, добравшись до узкой неоштукатуренной лестничной клетки. Своды были такими низкими, что я то и дело ударялся головой о влажные кирпичи. На улицу мы выбрались через маленькую незаметную дверку и быстрым шагом пошли, почти побежали прочь. А остановились только тогда, когда отошли достаточно далеко. Прислонившись спиной к разрисованной граффити стене, я пытался восстановить дыхание. Девушка вытирала бумажным платочком пот со лба и щек.

— А как вас, собственно, зовут? — спросил я.

— Арина. Но в гостинице меня знают как Валерию.

— А меня Струна. Но в гостинице об этом тоже не знают.

— Струна? Вы это прямо сейчас придумали? Специально для меня? — спросила она с улыбкой.

— Нет. Так меня называют близкие.

— А по-польски «струна» значит то же, что по-русски?

— Совершенно верно.

— Вы мне нравитесь, господин Струна. Увидев вас на лекции, я решила, что у меня глюки от того, что я не спала всю ночь, а когда заговорили, я испугалась, потому что поняла, что это действительно вы.

— Вы не спали прошлой ночью?

— Спала, но мало... Нет, это не то, что вы подумали. Я оставила те туфли в отеле. И отель тоже оставила...

— Почему же вы испугались? Я ведь к вам не притронулся.

— Именно поэтому, — ответила она покраснев.

— У вас какая-то соринка на щеке, — заметил я. — Можно, я сниму?

— Дать платочек?

— Не надо. — Я осторожно прикоснулся к ее щеке.

Проходившая мимо старушка в платке и линялом плаще громко возмутилась:

— Последний стыд потеряла! На улице ей приспичило обжиматься, средь бела дня! Да еще со стариком! Тьфу!!!

Арина, прикрыв глаза, прижалась ко мне и прошептала:

— Поцелуйте меня, пожалуйста. Так, как целуете любимую женщину. Как если бы изголодались. Чтобы эта бабушка вспомнила свою молодость. Сделайте это для нее! — добавила она, нежно лизнув мне ухо.

И я, стоя у расписанной граффити стены в центре Москвы, как подросток целовал русскую студентку! Бабушка замолчала. Когда я открыл глаза, ее уже не было. Голова Арины лежала у меня плече, и я нежно погладил ее волосы.

— Струна, скажите, все поляки такие, как вы? — спросила она тихо.

— А какой я?

— Ну, какой-то такой... Немножко сумасшедший. Но при этом нормальный...

— Не знаю. Я мало что знаю о нынешних поляках.

— А о польках? Это правда, что они очень красивые?

— Я расскажу вам об этом, но сначала давайте пойдем куда-нибудь, пока не подросла очередная бабушка.

Арина встала и, протянув мне руку, сказала:

— А мне... мне бы хотелось, чтобы она подросла.

Мы бродили по московским улочкам. Арина рассказывала о себе. Потом на метро мы доехали до магазина уникальных музыкальных инструментов, где я играл для нее на пианино, у которого были черные клавиши с левой стороны и белые — с правой. Затем отправились в музей

Булгакова, где Арина цитировала мне наизусть страницы из «Мастера и Маргариты». Когда стало темнеть, мы отправились в какой-то особенный ресторан, который, по мнению Арины, должен был мне понравиться.

В вагоне метро, прижатый к ней в толкучке, я спросил ее о чулках с подвязками. Она объяснила, что это теперь очень модно и что в нынешнем году, например, предпочтение отдается красным и широким подвязкам к черным чулкам, а в прошлом модными были узкие темно-серые к чулкам стального цвета.

— На красных кружевных подвязках модно носить шелковые ленточки, сердечки, цветочки и тому подобные «милые штучки», черные или даже белые. Это приятно для глаз и на ощупь, — шептала она мне на ухо, а потом взяла мою руку, засунула себе под юбку и, медленно проводя ею, спросила:

— Чувствуете?

Сначала мне стало неловко: вдруг кто-то заметит, что я вытворяю, потом проснулось возбуждение. Арина смотрела мне в глаза и, не выпуская моей руки, продолжала:

— Хорошо, чтобы стринги были в цвет этих аксессуаров, тогда получится красиво, когда кладешь ногу на ногу. И еще хорошо, чтобы они немного просвечивали... Как мои сегодня. Хотите потрогать?..

Ресторан назывался «В темноте?». Освещен в нем был только вход, в зале за толстой портьерой было абсолютно темно. Посетителей просили оставить в гардеробе все, что может излучать свет: сотовые телефоны, фонарики, зажигалки, ручки с подсветкой и тому подобное. Метрдотель с черной повязкой на глазах взял нас за руки и провел к столику. Слышались приглушенные голоса посетителей и тихие звуки арфы. Какая гениальная задумка — отключить временно зрение и дать людям возможность сосредоточиться на том, что они слышат, вкушают, обоняют, осязают. Они не видят, какое им приносят вино, но его букет кажется более интенсивным, а вкус — более насыщенным. Карпаччо из филейной вырезки, подогретое на пару, можно было пощупать, и это вызывало сексуальные фантазии. Винегрет на листьях салата радовал не только вкусом, но и ароматом. Пузырьки минеральной воды ощущались при малейшем прикосновении к бокалу. При свете я этого никогда бы не заметил.

— Я чувствую, что вы улыбаетесь. Удивлены? А как вам музыка? — спросила Арина.

— Мне тут все очень нравится.

— Правда, это не классическая музыка, а всего лишь незамысловатые

мелодии, какие часто звучат в массажных салонах.

— Вы ошибаетесь. Может, их и слушают во время массажа, вам виднее, но это даже не арфа, а китайский щипковый тринадцатиструнный инструмент гу чжэн, разновидность цитры. А звучит сейчас фрагмент концерта Волленвейдера^[28], я слышал его в «Альте опер» во Франкфурте-на-Майне.

— А вы не можете хоть на минуту отвлечься от музыки? Вы когда-нибудь думали, как сложилась бы ваша жизнь, если бы вы вдруг оглохли?

Оглох? Иногда мне такое снилось, и я мгновенно просыпался. Обычно люди помнят подобные сны, особенно, если те повторяются, но я старался не думать о возможной глухоте, как другие не хотят думать о возможной авиакатастрофе.

— Это значило бы, что моей жизни пришел конец.

— Вы часто думаете о смерти?

Слово «часто» подразумевает периодичность, а в Панкове я думал о смерти постоянно, и спустя какое-то время мне это стало казаться банальным.

— Послушайте, Арина, мы можем поговорить о чем-то более... жизненном?

— Как вам угодно. Просто я много думаю о смерти, и мне интересно, как ее воспринимают другие.

К нам подошел официант с бутылкой вина. Он открыл ее и хорошо поставленным голосом принялся рассказывать историю виноградаря, где оно было изготовлено. Это была длинная, романтическая история о французском замке, в котором обитала дама, появлявшаяся, будто призрак, в темноте. Потом он налил нам вина и пожелал хорошо провести вечер, выразив надежду, что вкус этого благородного вина сделает его незабываемым.

— Это вино вовсе не из французского шато. Это самое дешевое вино, рублей за триста, из продовольственного магазина за углом, — сказал я официанту, сделав глоток, — но рассказывали вы красиво.

Арина толкнула меня ногой под столом.

— Зачем вы все портите?! Это же не официант покупал вино. Ему просто велели его нам подать. Зачем вы его унизили? Вам нравится доказывать свою правоту?

— Нет. Но он мог налить его молча. Я бы так и поступил, если бы работал здесь официантом.

— Вас бы уволили в первый же день. Здесь театр, и вы это прекрасно понимаете. Всем нам приходится играть роли, разные в разных

обстоятельствах. А вы со своей правдой ведете себя как Нарцисс! И когда-нибудь об этом пожалеете. А может, уже жалеете. Вы просто музейный экспонат. Как же вы меня достали! И знаете, почему? Потому что я тоже хотела быть такой, как вы, но не смею. И зачем все так вышло, я не понимаю! Мне всего-то нужно было — сделать вам минет и получить от директора бабки. А вы стали петь. А потом явились в консерваторию, чтобы сообщить нашему профессору, что он дурак. Вы сказали ему то, что хотели бы сказать все мы, но не смеем. А потом я выклянчила у вас поцелуй. Никто меня так не целовал. Никто! Я вас не знаю: может, вы подлец, а может, ангел. Мне это безразлично. И знаете, что: это самое вкусное вино, какое я когда-либо пила!

Вино действительно было неплохое, и я всего лишь имел в виду, что оно не то, о котором рассказывал официант. А мой тон вовсе не был агрессивным, скорее, шутливым. Меня не интересовала истина, по крайней мере, в данном случае. И я не ожидал от Арины такой реакции. Может быть, в темноте не просто лучше слышишь, но слышишь больше, чем следует? А еще набираешься смелости высказать то, чего никогда не скажешь в глаза.

Я заметил, что голоса посетителей стихли. Вместо арфы теперь звучала восточная музыка, какую я часто слышал на занятиях аутогенной тренировкой в Панкове.

— Ресторан закрывается? — спросил я Арину.

— Нет, что вы! В субботу он работает, пока не уйдет последний клиент. Просто люди сейчас заняты друг другом, поэтому так тихо.

— Что вы имеете в виду? — не понял я.

— Они целуются, обнимаются, раздеваются, некоторые женщины опустили под столики между коленями своих мужчин, другие — между коленями чужих мужчин. А какие-то мужчины — между коленями женщин.

— Вы шутите? — прошептал я недоверчиво.

— Думайте, что хотите. Но ведь многие мужчины мечтают объединить ужин с сексом. С вами такого не бывает? — ответила она.

— Нет, — возразил я с улыбкой. — Потому что такой ужин был у меня неделю назад в одной квартире недалеко от Кракова. Прodelывать такое в ресторане мне, признаюсь, не приходило в голову. Они действительно так себя ведут? — спросил я и сунул руку в карман пиджака. Там должен был лежать плоский коробок фирменных спичек из гостиницы. Я был уверен, что не сдал их в гардероб, когда мы входили в ресторан.

— Что это вы делаете? Брюки расстегиваете? — шепотом спросила

Арина, касаясь туфель моей ноги.

— Нет пока. Ищу спички.

— Прошу вас, не надо! — воскликнула она, встала, уселась мне на колени и, схватив меня за руки, прижала их к своей груди, шепча: — Умоляю, не делайте этого...

Тут мы услышали мужской голос, который спросил, не нужно ли нам что-нибудь. Это был точно не официант.

— Да, нужно, — ответила Арина, — свежей малины с горячим шоколадом. — Она сидела у меня на коленях, не выпуская моих рук: — Струна, вы иногда похожи на маленького мальчишку-сорванца, такого, как мой младший брат Ваня. Всё вам интересно, но вы ничего не принимаете на веру, всё хотите потрогать, разобрать на составные части и посмотреть, что внутри. Совсем как ребенок. Сколько вам лет?

— В августе будет сорок три...

— Фу! Старик!!! — прошамкала она, пародируя голос той старушки.

Официант принес малину с шоколадом. Арина попросила его отдать ее мне, и я ощутил в руках стеклянную креманку, от которой пахло какао. Арина встала с моих коленей, но почти сразу уселась на них снова и, не взяв у меня малину, принялась связывать мне руки.

— Что вы делаете? — спросил я.

— Спички детям не игрушка.

— А чем вы меня связываете?

— Своим чулком.

Потом она засовывала пальцами малину мне в рот, слизывала шоколад с моих губ, брала ягоды языком с моего языка, а я умудрялся отвечать на ее вопрос, зачем сюда приехал. Когда я закончил рассказ о Дарье, она развязала мне руки и сказала печально:

— Господин Струна, вы не просто безумец. Будь вы моим парнем, я держала бы вас под замком, чтобы никто не украл...

И отправилась в туалет «привести себя в порядок», а я подозвал официанта и попросил принести счет. Он сказал: «Его уже оплатила ваша дама...»

Потом мы гуляли по улицам, держась за руки. Было поздно, и мне не хотелось возвращаться в гостиницу на метро. Я позвонил портье и попросил прислать за мной машину, сообщив, что нахожусь в каком-то парке с детской игровой площадкой вокруг раскидистого дуба. И передал трубку Арине, чтобы она назвала адрес. Дул теплый ветер, и почему-то пахло ландышами. Арина села на качели, а я расположился у ее ног на траве.

— Струна, вы не напоете мне еще раз Мендельсона? — вдруг попросила она.

Я согласился. Она мне подпевала. Мы умолкли, только когда услышали гудок автомобиля.

Это оказался белый американский «Крайслер». В салоне, отделенном от шофера стеклянной перегородкой, можно было разместить человек двадцать. Как только мы тронулись, шофер опустил жалюзи. Сначала мы направились к дому Арины. Она взяла у меня пиджак, укрыла им свои колени, положила голову мне на плечо и гладила пальцами мои ладони.

Я ощутил что-то вроде дежа-вю, как будто снова ехал к родителям Дарьи. Такой же район с обшарпанными домами, такая же разбитая дорога, упирающаяся в такую же помойку... Наверное, лимузин выглядел тут словно карета, каким-то чудом заехавшая в крепостную деревню.

Выходя из машины, Арина сказала:

— Берегите себя. И живите долго, потому что когда-нибудь, когда научусь играть на скрипке, я вас найду. Где бы вы ни были...

По пути в гостиницу я спросил у водителя, в котором часу закрываются московские книжные магазины.

— Некоторые вообще не закрываются. Водку, огурцы и книги можно купить в Москве в любое время дня и ночи, — ответил он с улыбкой.

— Не могли бы вы отвезти меня в книжный? Я там не задержусь.

— Конечно. А какие книги вы хотите купить? — спросил он.

— Всего одну.

— Напишите название, я позвоню в магазин и сделаю заказ. Если такая у них есть, вы сможете сразу получить ее на кассе.

— Вы уверены, что такое возможно? — не поверил я.

— Ясное дело! Пишите, — он протянул мне клочок бумаги и ручку.

Слушая, как он по телефону диктует мой заказ, я думал о том, что капитализм в России продвинулся гораздо дальше, чем в Берлине или Варшаве. В Берлине я даже не стал бы задавать подобный вопрос, а в Варшаве ночью водитель в лучшем случае отвез бы меня в какой-нибудь киоск, где продаются пресса и дамские романы. А ведь мне нужна была такая книга, какую даже днем далеко не во всех книжных можно найти.

— Девушка спрашивает, не ошиблись ли вы в фамилии автора. Вы написали «о» с двумя точками, а у них есть только с «ое» и только по-английски.

Действительно, в спешке я написал неправильно — «Schönberg» вместо «Schoenberg». Эмигрировав в Америку, он поменял немецкое «ö» на английское «oe».

— Она права, я ошибся...

Когда лимузин остановился у освещенной витрины книжного, к нам тотчас подбежала девушка с книгой и специальным устройством для оплаты карточкой. Я проверил, действительно ли это книга Шонберга^[29] о Горовице, и протянул девушке свою кредитную карту. Не прошло и пары минут, как я держал в руках книгу, а лимузин катил дальше. Да уж, видимо, в Москве к избитой фразе «время — деньги» относятся не как к рекламному слогану...

В сияющем огнями холле гостиницы у бюро обслуживания гудела толпа. Из ресторана доносилась громкая музыка. Похоже, русская свадьба после полуночи мало чем отличается от польской. Я протиснулся к лифту, поминутно отказываясь от предложений выпить водки и отвечая, что не знаю, где сейчас Катя, Юрий или Наташа. Проходя мимо ресторана, увидел, как какая-то очень толстая женщина, задрав юбку почти до трусов и не сняв обуви, танцует на крышке рояля танец из тех, что в Берлине исполняют у шеста стриптизерши. Мужчина в смокинге яростно стучал по клавиатуре кулаками. Я пришел в ярость. Энергично работая локтями, подбежал к роялю, схватил женщину за ноги и закричал:

— Что же вы, черт вас побери, делаете?! Вы сломаете инструмент!

Она перестала танцевать и принялась кричать что-то «пианисту». Толпа вокруг рояля затихла.

— Перестаньте, пожалуйста, перестаньте! Прошу вас!

К мужчине в смокинге подошла девушка из бюро обслуживания. Она что-то сказала ему и попыталась закрыть крышку. Тот завопил:

— Я могу купить не только эту развалину. Я могу купить весь твой отель, дорогая! Правда, Маша?! Скажи ей и этому придурку-иностранцу, что я всё могу купить! Скажи! Я всё тебе куплю, Маша, всё! Рояль. Сумочку, айфон, три рояля! — кричал он, грубо отталкивая девушку.

Наконец несколько мужчин силой оттащили его от рояля и вывели из ресторана. Толпа расступилась, и я направился к лифту. Джошуа как-то сказал мне: «Ты со своим правдолюбием когда-нибудь доиграешься! Постоянно ходишь по краю пропасти, и пока тебе удастся не сорваться, но всему когда-нибудь приходит конец! Помни об этом...».

Мне нужно было выпить. Оказавшись в номере, я, не зажигая света, подошел к минибару, вытащил оттуда первую попавшуюся бутылку, открутил металлическую пробку и жадно глотнул. Потом упал на кровать прямо в одежде и слышал арфу, метро, шаги на лестнице, рояль, мяуканье кошки, стук клавиатуры компьютера, пение, шум листьев, церковные колокола, женский крик, женский шепот, свой собственный голос. Я

прикрыл голову подушкой...

Проснулся я почему-то на диване. Пустая бутылка из-под джина лежала на полу. Рядом, на мятом пиджаке, валялись мои туфли. Я встал, чтобы закрыть окно, и заметил на кровати перевязанную серо-зеленой лентой пластинку. Старинную, из черного винила. Я осторожно развязал ленту, которая показалась мне знакомой, и вспомнил: это же лента Анны! С потертой, местами покрытой пятнами обложки улыбался Высоцкий. К ленте была приклеена страничка, вырванная из календаря, с запиской, датированной вчерашним днем:

На этой пластинке Высоцкий звучит совсем по-другому. Его хриплый голос берет за душу. Я нашла ее для вас в антикварном магазине на Арбате. А проигрыватель — у бабушки в подвале. Его спрятал туда еще мой отец. Оказалось, это польский проигрыватель! Я думала о вас. И скучаю, а еще — улыбаюсь. Анна.

Р. С. Я попросила, чтобы проигрыватель поставили возле вашей кровати. Осторожно! Он хранит тепло моих рук.

Это был проигрыватель «Бамбино». У моих родителей был такой же. Как и у многих в Польше. В детстве я слушал сказки в записи, бабушка покупала их для меня в газетном киоске на углу. Тогда пластинки были на 45 оборотов в минуту. Иногда мы с братом слушали их на 78 оборотов. И самые грустные сказки становились смешными. Даже про Красную Шапочку и девочку со спичками.

Я поставил проигрыватель на стол, нашел на стене розетку (вилка у проигрывателя была современная) и поставил на пластинку звукосниматель. Из овального динамика в крышке послышался звук гитары, а потом голос Высоцкого. Треск и скрип заезженной пластинки мне не мешали. Анна права. Здесь голос Высоцкого действительно был иным...

Я подошел к окну и закурил. Слушая Высоцкого, я всегда чувствовал душевный подъем и волнение. Но сейчас все было иначе. Я представил себе, как Анна перевязывает пластинку лентой. Администратор, который принял у нее проигрыватель и согласился его мне принести, наверняка решил, что она чокнутая. А может, это был не администратор, а горничная...

Я думал о том, что мне встречаются необыкновенные женщины, и что я этого не заслуживаю. Я ведь не делаю ничего особенного. Лишь дарю им свое время. Всем. А потом исчезаю, ничего не обещая. И несмотря на это, они испытывают ко мне нежность и получают такие подарки, как этот.

Лишь одной женщине я дарил все свое время, внимание и любовь. Матери моей Добруси. И попал в Панков. Может, нельзя отдавать женщине всего себя? Может, мужчины, у которых нет тайн, перестают вызывать у женщин интерес? И только бездушных подлецов безоглядно любят женщины-ангелы, и бросают ради них ангелов-мужчин...

На завтрак я опоздал. Нашел в холодильнике крекеры, две бутылки минеральной воды, взял книгу и вышел из гостиницы на свежий воздух. В одном из ближайших дворов была чистенькая детская площадка. Я уселся на скамейку, погладил пальцем обложку, раскрыл книгу и понюхал страницы. Обожаю запах новых книг. Гарольд Чарльз Шонберг. «Горовиц. Его жизнь и музыка». Этот Шонберг — мудрый и смелый человек. Он писал о музыке так, как если бы создавал Библию, но при этом ни перед кем не преклонялся. И хотя Горовицем Шонберг восхищался, даже в книге, посвященной этому пианисту, для автора куда важнее композиторы, чью музыку тот исполнял. Зачитавшись, я не заметил, как на площадке появились три мальчика. Все они были в джинсах и курточках, в каких ходят теперь дети во всем мире. И у каждого был пластмассовый автомат, пластмассовые гранаты и патронташ.

— Я не хочу все время быть немцем! — со слезами в голосе кричал самый маленький. — Их всегда убивают. Я хочу быть русским! Или американцем!

Я тоже не хотел быть немцем, когда мы играли во дворе в войну. И никто не хотел. Но и американцем тоже, потому что американца мог убить отважный вьетконговец. Только среди нас никто не хотел быть и русским. Русских показывали по телевизору по случаю очередных годовщин революции и во время торжественных первомайских собраний. Для нас они были фамилиями на памятниках, к которым мы возлагали венки, купленные партийным комитетом накануне Дня Победы. А еще они жили в казармах на окраине города, и у них можно было купить вкусные шоколадные конфеты в фантиках с улыбающейся девочкой и самогон. Но их присутствия в Польше никто не хотел.

«Ведь это не их страна, — говорил мой отец, — она никогда им не принадлежала. Ни при царе, ни Сталине, ни при Брежнев. И никогда не будет принадлежать. Поляки этого не допустят».

Поэтому, играя в детстве в войну, никто из нас не хотел быть русским. Все хотели быть поляками и убивать немцев, как в сериале «Четыре танкиста и собака», в котором даже пес был умнее немецких генералов.

Я углубился в книгу, но вдруг один из мальчиков, конопатый, светловолосый, с голубыми глазами, подошел ко мне. В руках он держал

бутылку лимонада и пластиковый стакан.

— Меня к вам папа послал, он охранником в гостинице работает, — сказал он серьезно. — Говорит, вам, наверное, хочется пить. Вы будете пить? Если нет, я сам выпью. Я очень люблю лимонад.

— Пожалуй, хочу. Немножко, — ответил я весело. — Давай, я выпью один стаканчик, а ты допьешь остальное?

— Хорошо! — воскликнул мальчик и стал наливать лимонад из бутылки. Он налил полстакана и протянул его мне, а сам тотчас приложил бутылку к губам. — А это правда, что вы немецкий террорист? — спросил он неожиданно.

— Нет, неправда, — ответил я, еле сдерживая смех.

— Но вы хотя бы немец? — не сдавался он, явно разочарованный.

— Нет, не немец, — ответил я и засмеялся.

— Что же я скажу другим ребятам? — погрустнел мальчуган.

— Скажи им, что я немножко немец, — предложил я.

— Ладно! — радостно ответил он и побежал к остальным, которые поджидали его у разноцветной горки.

Больше меня никто не отвлекал. Шонберг описывал неизвестные мне стороны жизни Горовица. Как тот жил в Киеве. Его жизнь в эмиграции после 1925 года мне хорошо известна. И не только как гения, но и как человека, со всеми его слабостями. Я знал о его невротическом характере, экстравагантности, о запоях и депрессии, которую лечили не только психотропными средствами, но и электрошоком, о периодах амнезии, физической немощи, о сомнениях в собственном таланте, частых и продолжительных периодах отчаяния. Шонберг мимоходом упоминал о мнимой гомосексуальности Горовица, не уделяя этому внимания. Горовиц был женат, у него была дочь Соня, которая умерла в сорок лет от передозировки лекарства. Осталось невыясненным, был ли это несчастный случай или самоубийство. Известно, что однажды он пошутил: «Есть три разновидности пианистов: пианисты-евреи, пианисты-гомосексуалисты и плохие пианисты...» А в биографии, написанной Пласкиным, автор упоминает о том, что Горовиц обращался по поводу своего гомосексуализма к известному американскому психиатру. Однако этот факт не имеет документального подтверждения.

В книге Шонберга больше всего меня привлек глубокий анализ исполнения Горовицем музыки разных композиторов. Я много что слышал и помнил, но были и такие концерты, о которых я только читал. Мне вдруг захотелось оказаться дома у Иоанны и покопаться в ее богатой коллекции пластинок.

Увлечшись чтением, я забыл обо всем на свете и не заметил, как над Москвой собрались тучи и неожиданно хлынул проливной весенний дождь. Пока добежал до гостиницы, промок до нитки, и только книга, которую сунул за пазуху, оказалась сухой. В номере хрипло заикался Высоцкий, пластинку заело.

Книга Шонберга не давала мне покоя. И мысли об Анне тоже. Скорей бы понедельник. Меня тяготило одиночество, но не хотелось включать телевизор. Под окнами гостиницы непрерывным потоком шли люди. Дождь уже кончился, и я решил присоединиться к толпе. Сел в троллейбус, потом долго ехал на метро, и наконец вышел в центре и очень скоро оказался перед витриной большого книжного магазина. Там было шумно. У стеллажей толпились люди, откуда-то доносились аплодисменты и голос человека, видимо, писателя, пришедшего на встречу со своими читателями. Я поднялся на верхний этаж. Мысли о Горовице не отпускали. И он, и Рихтер играли Седьмую сонату Прокофьева. Оба мастерски, но все же исполнение Рихтера было более выразительным. Мне во что бы то ни стало захотелось восстановить его в памяти.

Дисками были тесно заставлены шесть стеллажей. У Рихтера отдельная полка. У Прокофьева тоже. Найти запись выступления Рихтера в Варшаве, где он играл Седьмую сонату Прокофьева, казалось невозможным. Ко мне подошла молодая невысокая девушка в растянутом свитере, черной юбке и черных военных ботинках. У нее были короткие косички, как у Пеппи Длинныйчулок на иллюстрациях к книге Астрид Линдгрэн. Она вообще была похожа на Пеппи. Такие же рыжие волосы, огромные веснушки и задорная улыбка. Девушка предложила мне свою помощь. Я принялся объяснять, какой концерт меня интересует, слабо веря, что это имеет смысл — девушка могла быть скорее поклонницей готического рока и группы *The Cure*, чем музыки Прокофьева. Тем не менее она внимательно выслушала меня, а потом молча отошла и, присев на корточки у нижней полки соседнего стеллажа, вытащила три коробочки. Вручая их мне, сказала:

— На всех этих дисках есть тот концерт. Один диск наш, русский, другой польский, третий чешский. Там есть произведения разных композиторов. Среди записей и оригинальные, и пиратские. Если хотите послушать, кабинки с наушниками вон там, у лестницы...

И отошла, потому что у кассы зазвонил телефон. Я лишился дара речи. Я повидал на своем веку бесчисленное количество музыкальных магазинов во многих городах четырех континентов, но нигде не встречал продавца, который, не обращаясь к каталогу или компьютерной базе, мог дать мне

подобную информацию. К тому же в таком огромном магазине, как этот. А припанкованная Пеппи Длинныйчулок из московского магазина просто присела на корточки возле полки. И знала о чешском сборнике. Это было на грани фантастики. Особенно шокировали ее слова: «есть оригинальные, а есть пиратские».

Я прослушал все три диска. Полностью. Сначала хотел послушать только Седьмую сонату, но искушение было слишком велико. И провел в магазине весь вечер. Мне было хорошо. Иногда мимо проходила девушка с косичками. Она улыбалась, и мне казалось, она меня понимает. Иоанна не всегда меня понимала. Она утверждала, что у меня маниакально-депрессивный психоз, потому что только маньяки встают в три часа ночи, чтобы рыться в пластинках, а потом их слушать. Тем не менее она вставала вместе со мной, заваривала мой любимый земляничный чай и, присев с кружкой рядом на диван, делала вид, будто не замечает моих слез.

Я вышел из магазина только когда понял, что очень хочу курить. В Москве нет таких ограничений для курильщиков, как в Берлине или, в последнее время, в Варшаве, но курить в магазине было, конечно, нельзя.

Но в одиночестве курить не хотелось. Появилось желание зайти в бар, выпить пива, побыть среди людей. Нормальных людей. Гениев с меня на сегодня было достаточно. Я свернул в небольшую темную улочку. Очень скоро ровный асфальт закончился и начались ухабы. Совсем как в Варшаве чуть в стороне от указанных в путеводителях туристических маршрутов.

Рядом с обшарпанной дверью несколько подозрительных субъектов пили водку прямо из бутылки. Из подвала доносились звуки ударных и громкие голоса. Я спустился по крутой лестнице вниз. В клубах табачного дыма заметил ряды бутылок, пивные кружки и тлеющие окурки в пепельницах, и только потом силуэты людей, сидевших на деревянных скамьях. Типичная атмосфера питейного заведения в варшавском районе Прага времен моей молодости.

Я сел на краешек первой попавшейся скамьи. Сидевший слева мускулистый гигант, пропахший потом, с голыми руками, до самых подмышек покрытыми татуировкой, с серьгой в ухе и кольцом в носу, пододвинул мне кружку с пивом. Я не успел сказать спасибо, потому что на небольшой сцене, сооруженной из пивных ящиков, ударил по струнам гитары и стал что-то громко выкрикивать длинноволосый мужчина примерно моего возраста, а может, и старше. Хиппи моих лет, с ностальгией вспоминающие времена Вудстока, всегда выглядят жалко. Это не значит, что с возрастом следует изменять своей жизненной философии, но зачем выносить ее на посмешище, когда ты весь покрыт морщинами,

обзавелся двойным подбородком и «пивным» животом. Это выглядит, как если бы человек в деловом костюме копался в песочнице.

То, что происходило на сцене, явно не предназначалось для детских глаз и ушей. Скорее, напоминало пьяную выходку солиста самодеятельного ансамбля из пожарного депо где-нибудь в медвежьем углу! Мужчина на сцене так и сыпал ругательствами. Спеть это, например, по-немецки было бы невозможно, всех их «Scheiße» и «ficken» не хватило бы и на строчку. По-русски же или по-польски можно ругаться изошренно, создавая целые баллады, но мне это никогда не казалось хорошей идеей. Я не выношу матерщины, хотя признаю, что иногда без нее не обойтись. Однако публичное исполнение песен со словами «ебать», «еб твою мать», «сукин сын», «хуй», «пизда» и тому подобного не укладывалось в мое понимание свободы самовыражения.

После хиппи на ящики взгромоздился какой-то панк. Ведущий объявил его имя, сообщил название «произведения», авторов «текста» и «музыки». На сей раз сначала был «хуй», и только потом «еб твою мать». Мой татуированный сосед был чрезвычайно доволен «концертом». Он стучал кулаком по столу и дружески пихал меня локтем в ребра.

Не в силах это слушать, я встал и направился к выходу. У гардеробщицы, которая тихо что-то вязала, я спросил, всегда ли здесь так поют. Она только молча кивнула на плакат, висевший рядом с ржавым огнетушителем. Я прочел написанное от руки фломастером: «18 апреля 2011 года. 22.00. Фестиваль андеграунда» — и многообещающий анонс: «Наши песни — только о хороших сторонах жизни, то есть о водке и женщинах. Сергей Шнуров и группа «ЛЕНИНГРАД». Меня поразила изобретательность организаторов концерта, провозгласивших эту бессмыслицу андеграундом. Это все равно что назвать немецкие шлягеры постромантизмом, а польское диско поло явлением нью эйдж. С андеграундом это публичное изрыгание непристойностей связывало только то, что оно происходило в смердящем дешевым пивом и табачным дымом подвале. Я не знал ни Сергея Шнурова, ни группы «ЛЕНИНГРАД», и не понимал, как можно утверждать, что поешь о хороших сторонах жизни, если выражаешься о них такими словами. Женщину они именовали не иначе как «блядь», и речь шла не столько о женщине, сколько о трех отверстиях, куда можно тыкать пенисом, оставляя там сперму. Это было отвратительно.

На улице приятно освежал холодный ветер. В небольшом киоске на углу я купил две банки пива. Присел на цементную балюстраду, которая упиралась в ворота, ведущие во двор старого дома. Вскоре ко мне подошел

очень худой человек в грязном тренировочном костюме, дыры в котором были заклеены клейкой лентой. На ногах у него были рваные кеды разного цвета. Он сел рядом, положил на землю огромный пластиковый мешок, наполненный пустыми бутылками и пивными банками, и молча ждал, поглядывая на банку, из которой я пил. Я протянул ему пачку сигарет. Он поблагодарил, но сигарету не взял. Я заговорил с ним. Его звали Василий. Он рассказал, что не курит, потому что «это дорого». Живет на улице, два года тому назад приехал из деревни под Красноярском после того, как сгорел его дом и на пожаре погибли родители. Он потерял не только их, но и все свое имущество. Сначала собирал бутылки и банки в Красноярске, но «здесь, в Москве, их гораздо больше». Он не может найти работу, потому что знает только крестьянский труд, а учиться не хочет, стыдится своего внешнего вида. Он ни к кому не имеет претензий, так как «российская глубинка, вдали от Москвы и Петербурга, всегда жила бедно. Почему теперь должно быть иначе? Это просто стало заметнее. Не каждому суждено стать Гагариным, который из колхоза попал в космос». Василий иногда подрабатывает садовником у новых русских, но в основном занимался сбором пустых бутылок и банок. У его крестницы через две недели день рождения. Он хочет купить ей в подарок новое платье. Ему не хватает «всего восьмидесяти бутылок». Я запихнул ему в пакет пустую банку и достал бумажник. Он отстранился, поспешно встал, подхватил мешок и сказал:

— Спасибо, не надо. Вы свои деньги заработали. Я не нищий. И никогда им не буду. Храни вас Господь.

Я добрался до гостиницы после полуночи. Долго ворочался, а когда уснул, несколько раз просыпался. Около трех ночи услышал шум мусороуборочной машины и улыбнулся. В Москве все как обычно. Начинался понедельник...

Анна

Она всю ночь пролежала на Дашином плече, дыша ровно и тихо, почти неслышно. Даша боялась пошевелиться, хотя рука совсем занемела.

Проснувшись, Анна улыбнулась.

— Как крепко я спала! Даже не снилось ничего, только свет, такой яркий и теплый!

Даша высвободила руку, потянулась, словно большая красивая кошка, и приподнялась на локте, обнажая полную грудь.

— Сегодня только суббота, — с легким сожалением сказала Анна. — До понедельника еще целая вечность... Как же я люблю понедельники! Каждый раз новая жизнь начинается. Ты об этом никогда не задумывалась? Мы решаем худеть непременно с понедельника, пытаемся что-то изменить, встаем уверенно в корек на дороге жизни.

— Куда встаем? — переспросила Даша.

— Это пробка по-польски. Правда красиво? Обязательно выучу польский.

— А когда приезжает Сергей? — спокойно спросила Даша.

— Сегодня вечером. Но знаешь, меня это не волнует. Даже он теперь не способен испортить мне настроение.

— Ну, тогда у нас еще есть время выпить кофе и поболтать, — улыбнулась Даша.

— Даша, — вдруг очень тихо сказала Анна, — Дашенька, как же я тебе благодарна! За все! За себя и за него! Ведь если бы не ты....

— Как его зовут? — поинтересовалась Даша.

— У него прекрасное имя. Музыкальное. Струна! Я никогда такого не слышала. И он любит музыку. Если бы ты только знала, как он меня слушал. Меня никто никогда так не слушал. А еще мы с ним дышим одинаково.

— Что ты имеешь в виду?

Даша прошла на кухню заварить кофе. У нее не было кофе-машины, зато была замечательная джезва на две чашки. Подарок Магды. Вещи часто напоминают нам о людях. И мы бережно храним и эти воспоминания, и предметы, с ними связанные, и свои эмоции тоже.

— Сейчас попробую объяснить, — Анна прошла за ней на кухню. — Тебе правда интересно?

— Конечно.

— Ты, наверное, ждешь чего-то поэтичного, но все просто. У нас с ним совпадает ритм дыхания... Как будто мы — один человек, понимаешь? Одно существо. Вдох-выдох... И снова! Помнишь легенду о существах, разделенных на мужчину и женщину? Вот мы с ним — такое существо... Ты меня понимаешь? У тебя такое было?

Даша разливала кофе в маленькие белые чашки. Густая светло-коричневая пенка выглядела очень красиво.

— Если честно, не знаю, что тебе сказать. Я не верю мужчинам. И свободным и несвободным. Несвободные мужчины — это большая проблема. С ними чувствуешь себя как на скользком льду. Идешь себе уверенно, и вдруг... Кости вроде целы, и даже пальто не испачкано. Но на

душе холод страшный. И никто не виноват. Но свободные мужчины тоже способны разрушить твою жизнь. Они не любят тебя и не понимают, и при этом еще и не спешат уходить... Создают иллюзию. И тогда наступает разочарование. И очень трудно снова поверить в себя.

— Да нет, — Анна взволнованно принялась ходить по чистенькой Дашиной кухне, — нет, с ним все наверняка будет по-другому... Я себя сейчас ловлю на мыслях, еще вчера для меня совершенно невозможных! И уже не знаю, когда я была настоящая — вчера или сегодня. И это все благодаря ему. И тебе... — Она вдруг заплакала. — Это от счастья, от счастья! — сбивчиво пробормотала она и спряталась за портьерами, нежно-белыми, но плотными.

За окном текла жизнь, яркая, наполненная звуками.

— Даша, — всхлипывала Анна, — ты прости меня, что я реву!

Даша ее обняла.

Анна ехала домой по улицам, непривычно спокойным даже для субботней Москвы. Поставила недавно купленный диск: Эрик Сати, «Три гимнопедии». Звуки полились, как внезапно накатившее полузабытое чувство. Услышав Сати впервые, Анна сделала для себя открытие — из тех, что мы совершаем на протяжении всей жизни, познавая мир. И заинтересовалась его творчеством. Весьма удивившись тому, что этот талантливый юноша так легко поступил в парижскую консерваторию и так же легко ее бросил — или его оттуда выгнали, кто уж теперь скажет наверняка? Но главное не это, а то, что он до пятидесяти был неизвестен широкой публике. И только благодаря Морису Равелю, который устроил ему концерты и познакомил с хорошим издателем, к нему пришла слава. Но ненадолго: он умер в пятьдесят девять лет, от цирроза печени: с юности пил, чтобы забыть о несправедливых диссонансах жизни.

Слушая его «Гимнопедии», Анна подумала, что ей хотелось бы, чтобы сейчас рядом был Струна. Ей хотелось вместе с ним открывать новый мир, слушать музыку, дышать, молчать, — все делать вместе.

Придя домой, улыбнулась своему отражению.

— Вместе, — повторила она вслух.

Глядя в зеркало на молодую, счастливую женщину с сияющими глазами, впервые за много лет признала, что красива.

Все хорошее: юность, удача, смех, цветение яблонь, запах травы, вкус свежесваренного кофе — все теперь было связано для нее со Струной.

Анна аккуратно повесила одежду в шкаф, с пристрастием разглядывая свои наряды.

— А что я надену в понедельник? — вслух спросила она. — Это очень важный вопрос!

— С кем это ты разговариваешь? — удивленно спросил Сергей, входя в квартиру с картонной коробкой, полной пивных бутылок. — Между прочим привет, давно не виделись!

— Здравствуй, — неожиданно весело сказала она, чем его немало удивила.

— Мы тут с Михаилом только прилетели, решили посидеть, кое-что обсудить. Ты бы нам соорудила что-нибудь на скорую руку, а?

— Здравствуйте, Михаил! Через полчаса будет готова курица, — сказала Анна и прошла на кухню.

Появился Михаил, пригладил кудрявые темные волосы.

Сергей ловко откупорил пиво. Анна достала большие кружки, привезенные им в прошлом году из Германии, с пивного фестиваля Октоберфест, порезала хлеб, достала из холодильника шарики моцареллы, лососа в упаковке.

Мужчины громко разговаривали, Анна не прислушивалась. Кухню вдруг залило каким-то необыкновенным светом. Такой невероятный, нездешний свет бывает на полотнах великих мастеров: осязаемый, словно отдельный персонаж в композиции, невесомый и в то же время материальный — кажется, его можно черпать горстями, как воду, лить на себя, плавать в нем, среди тысяч сверкающих блесков...

Это был удивительный отблеск уже закатившегося солнца.

На полотнах такой свет озаряет полуобнаженных людей, застывших в почтительных позах, и простирающих руки старцев в ниспадающих красивыми складками одеждах, и пухлощеких ангелочков, сидящих в облаках, будто изюмины во взбитых сливках.

Ни ангелочков, ни суровых старцев Анна не увидела, но скопление людей было: водители автобусов выбрались наружу и глазели в небо, веселые молодые люди с пивными банками в руках тоже запрокинули головы. Дети на роликах застыли, две какие-то женщины лет пятидесяти выскочили из подъезда соседнего дома и торопливо нацелились фотоаппаратами в небеса. Сделав несколько кадров, они радостно обнялись.

Всё это продолжалось не более минуты. Свет померк, истекающее золотом облако смешалось с другими, обыкновенными.

— Вы видели?! — дрожащим голосом спросила Анна.

— Что? — деловито переспросил Сергей.

Анна вышла из кухни. Разумеется, для него этот свет, это знамение

ничего не значит...

Анна села в кресло, протянула руку за дневником. Торопливо записала:

Попробуй полюбить меня всякую — некрасивую, крикливую и плачущую, какой я становлюсь, когда брожу по темным закоулкам памяти, где как попало свалены накрытые пыльной черной материей ящички плохих мыслей и гадких поступков, грубо сколоченные, с острыми углами, и натываюсь на них, и расшибаю лоб и пальцы на ногах, и ругаюсь сквозь зубы... Ты думаешь, я хорошая, а на самом деле я разная: злая, несправедливая, несчастная. Легко любить красивых, а вот если такую? Узнай, каково это — волочить по ступенькам обмякающее тело, ступая наугад в пустоту и не находя опоры, когда я то цепляюсь за твою руку, чтобы не упасть, то отпихиваю тебя и сползаю по стене. Нужна ли я тебе такая, хочешь ли ты видеть, как я падаю на кровать лицом вниз и комкаю подушку, слышать, как я, засыпая, хрипло дышу, как у меня запекаются губы, а язык становится шершавым? Ты предложишь мне выпить воды, а я потянусь за ингалятором, чтобы впрыснуть яд в свое пересохшее горло. Но мои губы по-прежнему остаются сухими, и я слышу собственное тяжелое дыхание, и чувствую во рту горечь, и где-то на краю сознания что-то стучит, и этот стук превращается в ночной дождь за окном.

Через два дня он прольется на тебя, коснется твоего лица прохладными тонкими пальцами, и если я сейчас ухвачусь за водяные струны, натянутые между небом и землей, то всего через два дня, через два долгих, бесконечных дня смогу прижаться к твоему телу, одетому в ночной дождь, прикинусь к тебе губами и буду, захлебываясь счастьем, пить серебряную влагу, наполнившую ямки твоих ключиц.

— Уже через день, — прошептала Анна и повторила еще раз, — остались один день и одна ночь! Пожалуйста, приснись мне...

Струна

За завтраком я едва смог проглотить кусок булки. Будучи возбужден, я всегда терял аппетит. Иоанна как-то сказала с улыбкой: «Это помогает тебе сохранить фигуру».

Чего я ждал от сегодняшнего дня? Списка фамилий и адресов всех

женщин по имени Дарья, которые посещали архив. Больше ничего. Но что я буду делать, получив его? Да и нужен ли он мне? Лишь одно я знал наверняка — что хочу снова встретиться с женщиной, которая подарила мне проигрыватель, пластинку Высоцкого и свой шейный платок, который всю ночь благоухал на моей подушке.

Когда я был чем-то возбужден или обеспокоен, я терял не только аппетит, но и чувство времени. Поэтому вышел из гостиницы около семи утра. Метро уже работало, и у здания архива я оказался задолго до открытия. Чтобы убить время, решил прогуляться по одной из соседних улочек. Мне не хотелось, чтобы Анна, подъехав к архиву, заметила меня и догадалась о моем нетерпении, о нетерпении юноши перед первым свиданием.

Архив, если верить табличке у входа, открывался в девять. Около половины девятого к зданию подъехал небольшой серебристый автомобиль. Охранник открыл ворота, ведущие на стоянку. Из автомобиля вышла женщина в белом платье в крупный красный горошек и темных очках. Ее волосы были заплетены в косу и перевязаны длинной белой лентой, на ногах — короткие красные сапожки. Она открыла пассажирскую дверцу и достала длинный черный плащ с большими белыми пуговицами и несимметричными накладными карманами: один — темно-серый, с черным узором, второй — белый, с бахромой, как на рваных джинсах. Потом взяла белую сумочку и торопливо направилась к лестнице, ведущей в архив. Охранник открыл перед ней дверь, слегка поклонившись.

Это была Анна...

Я выждал еще несколько минут и тоже направился к дверям архива. Охранник у входа узнал меня. Рыжая девушка за компьютером — тоже. Не успел я поздороваться, как она положила на барьер, отделяющий приемную от внутреннего помещения, пластиковую папку и сообщила:

— Наш архив за последние четыре года посетило восемнадцать женщин по имени Дарья. Большинство из них проживали тогда в Москве или области. И только четыре приезжие — одна из Латвии, две с Украины и одна из Финляндии.

Я принялся медленно перебирать страницы. Имена и фамилии, даты рождения, номера паспортов, адреса...

— Думаю, для вас важнее всего даты рождения. Сколько может быть лет этой... вашей Дарье? — спросила она.

— Точно не знаю, но, скорее всего, она примерно вашего возраста. Спасибо большое за все, что вы для меня сделали. И передайте, пожалуйста, мою благодарность господину директору, — сказал я.

Свернув папку в рулон, я попытался засунуть ее в карман пиджака.

— Вам еще нужно подписать бумагу о неразглашении полученных данных, — предупредила девушка. — Таковы правила.

— Конечно. Я понимаю.

— Бланк документа у Анны Борисовны. Второй этаж, вторая дверь слева.

Дверь была приоткрыта. Я постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Закрыл дверь и прислонился к ней спиной.

— А, это вы, — сказала Анна, поднимая голову от бумаг на столе и изображая удивление. Она машинально поправила прическу, положила на стол ручку. — Маша все для вас приготовила, не так ли?

— Да, — кивнул я, — но она сказала, что мне нужно расписаться в каком-то документе, без которого...

— Да-да, это так, — перебила она на полуслове, вставая из-за стола.

И медленно направилась в мою сторону. Солнечные лучи, проникавшие в комнату сквозь зарешеченное окно, освещали ее лицо и фигуру, заставляя меня щуриться. Красные горошины на платье казались пятнами крови. Она остановилась совсем близко, взяла ленту в своей косе, нежно погладила ее пальцами, поднесла к губам и поцеловала, потом скомкала и прижала к щеке, глядя мне в глаза. И шепотом, но очень решительно проговорила:

— Такие тут правила, господин Струна. Я много думала о вас. Вы должны подписать этот документ. Мне вас не хватало. Это обязательно, когда дело касается ныне живущих людей. Я скучала по вас, очень скучала. Мы обязаны соблюдать конфиденциальность. Из-за вас я перечитывала в воскресенье Есенина. Подписав этот документ, вы обязуетесь не распространять полученную информацию. И еще плакала, слушая музыку. Наш архив — государственное учреждение. А потом, знаете, вы мне приснились...

Она замолчала, выпустила из рук косу и опустила голову. Я нежно прикоснулся к ее лбу и волосам.

— Проигрыватель уже остыл, когда я его обнаружил, но ваш платок все еще хранил ваш запах. И сегодня ночью лежал на моей подушке. Вы доставили мне так много радости. Я хотел позвонить вам и рассказать об этом, но потерял ваш номер телефона... тот, что был написан на бутылке. Это запутанная история...

— Я все равно не взяла бы трубку. Это тоже запутанная история, — сказала она с улыбкой, отстраняясь.

— У вас найдется для меня сегодня немного времени? — спросил я.

— Я не была уверена, что вы захотите снова побродить по Москве, но на всякий случай предупредила директора, что сегодня уйду пораньше. Если честно, я даже взяла на сегодня отгул, чтобы побыть с вами. Если у вас нет других планов, мы можем уйти прямо сейчас. И если поторопимся, то успеем туда, где вам наверняка понравится, — добавила она, взглянув на часы.

Потом вернулась к компьютеру, отправила на печать какой-то документ, вынув из принтера, положила его передо мной на стол и протянула мне ручку:

— Подпишите, пожалуйста. Маше будет спокойнее...

Внизу Анна сказала рыжей девушке пару слов, и мы вышли.

Анна

Утро наконец наступило. Всю ночь она отсчитывала минуты и секунды. Открывала глаза и вновь погружалась в дремоту. Перед глазами стояло его лицо. Он курил и внимательно смотрел на нее, словно изучая каждую черточку.

Томление наполнило тяжестью тело. Анна подошла к окну и распахнула его. Поздней весной, когда зелень молодой листвы и разноцветье городских клумб уже вступили в свои права, запах земли, особенно по утрам, был острым и свежим.

Весной земля пахнет по-особому — это не песочный запах раскаленной летним зноем почвы, от которого першит в горле, не грибной осенний дух, не зимняя стылая безжизненность — нет, весенняя земля пахнет как новорожденный младенец, впервые сделавший самостоятельный вдох, а околоплодные талые воды уносят колкие льдинки и мусор зимнего последа.

Анна прошла на кухню, включила радио, залила кипятком овсяные хлопья. Нужно приготовить Сергею завтрак. Дикторы шутили, перебивая друг друга. Она улыбнулась. Ее не раздражали ни их не всегда удачные шутки, ни навязчивая реклама. Она готова была полюбить весь мир и принять его таким, какой он есть. Ей хотелось обнять его, так много тепла и любви ощущала она в себе. Даже недовольный голос Сергея не испортил настроения.

— Я буду поздно, — сказал он громко, — или даже не приеду совсем... в зависимости от того, как пойдут дела с новым проектом. Так что в лучшем случае — поздно.

— Хорошо, — улыбнулась Анна.

— Что тут хорошего?! — крикнул Сергей. — Пашу, как ломовая лошадь, а она — «хорошо»! Да у меня выходных уже полгода не было!

И вышел, хлопнув дверью.

— А мне хорошо, — тихо повторила Анна.

Она взяла плащ и маленькую белую сумку, обула красные полусапожки к белому платью в алый горошек. Машина радостно приветствовала ее знакомым сигналом, Анна удобно устроилась за рулем и тронула с места. С удивлением отмечала сердитые, недовольные лица прохожих, поджатые губы, нахмуренные лбы.

— Люди, очнитесь! — произнесла вслух. — Ведь стоит весна!

Ей было искренне жаль Сергея. Он не чувствовал запахов весны, всех этих переливов, ярких всплесков цвета. Не испытывал всепоглощающего желания, изменившего вмиг ее судьбу.

И пусть она по-прежнему готовит ему овсянку и заваривает чай. Это лишь внешнее, которое скоро изменится под влиянием внутреннего. Нужный фрагмент пазла найден и вот-вот ляжет на свое место в картинке.

Она ждала наступления понедельника и не могла смириться с тем, что время ползет так медленно. Ее охватили нежность, возбуждение, нетерпение, неуверенность и напряжение. Всё сразу. Она чувствовала себя как девушка-подросток перед встречей с парнем, в которого безумно влюблена, но не уверена, что он ей хоть немного симпатизирует. Анне хотелось снова стать юной. Отсюда и девичье платье в горошек, и коса с лентой, и цветочный запах духов, какой она слышала от девочек-подростков на улице, в магазинах, в метро. Ей хотелось заново испытать то, что она когда-то чувствовала перед первым свиданием с Сергеем...

Хуже всего была неуверенность. Анна боялась, что Струна зайдет в архив, получит от Маши список и уйдет. Но не может же она ждать его вместе с Машей или словно случайно оказаться внизу, когда он будет этот список получать. Она не хотела показывать, как сильно хочет с ним встретиться. Но боялась даже думать о том, что из-за ее болезненного самолюбия встреча может не состояться. Потому и придумала историю с подписанием документа. Маша очень удивилась, но быстро сообразила, что к чему.

Оставив дверь кабинета приоткрытой, Анна села за стол и стала ждать. Она слышала, как он разговаривал с Машей. Потом раздались шаги по лестнице. Щеки вспыхнули, она ощутила волнение, подобное тому, какое испытывает актер перед выходом на сцену: во рту пересохло, пальцы дрожали.

Когда он вошел и закрыл за собой дверь, она перевела дыхание. Он смотрел на нее именно так, как она себе это представляла. Она подошла и заговорила. А он поцеловал ее волосы и прикоснулся губами ко лбу. Она вся дрожала, не знала, что делать с руками, дыхание участилось, а он прерывистым голосом шептал ей нежные слова. В какой-то момент Анна поняла, что ситуация становится непредсказуемой, и это надо прекратить. Она заставила себя отстраниться, подошла к компьютеру и распечатала документ. Они спустились вниз. Анна предупредила Машу, что, вероятно, не вернется сегодня в архив. Маша понимающе подмигнула и обещала передать это начальству.

Они вышли на улицу, прошли мимо ее машины. Какое-то время шли, не говоря друг другу ни слова. Когда перед ними выросла станция метро, Анна сказала:

— Сейчас мы пойдем в церковь.

— А почему вы хотите отвести меня туда? — спросил он.

— Не знаю, — Анна остановилась. — Хотя... Обычно люди идут туда, когда им очень хорошо или очень плохо. Когда вы рядом, мне хорошо. Хотя, наверное, я зря вам об этом рассказываю. Это как-то нескромно, словно письмо Татьяны... И мужчины...

— Позвольте мне самому решать за мужчин. — Струна крепко сжал ее руку. — Это старинная церковь?

— Да. Она построена в 1696 году. В честь Покрова Пресвятой Богородицы. У нас очень много храмов, посвященных этому празднику, когда Богородица распростерла свой омофор над молящимися в храме. Это было в Константинополе, очень давно. И праздник этот у нас празднуют с двенадцатого века, со времен Андрея Боголюбского.

Они спустились в тоннель, где пахло плененным ветром и горячим металлом. Тут же подъехал поезд. Они встали в конце вагона. Ощувив близость Струны, Анна прикрыла глаза.

Он обеспокоенно спросил:

— Вам плохо?

— Нет, мне хорошо, — ответила она одними губами. — Я пока расскажу немного историю храма. Он стоит у подножия холма, где примерно в четырнадцатом веке стоял Покровский Лыщиков монастырь. Там постригся в монахи родной брат особо почитаемого у русского святого Сергия Радонежского.

— Я читал о Сергии Радонежском, но не знал, что у него был брат, — признался Струна.

— Потом монастырь был упразднен, из-за строительства Земляного

города, оборонительной линии с бревенчатыми стенами. Часть холма была скрыта, но церковь здесь все же поставили. Вначале деревянную, а в конце семнадцатого века — каменную. В основании нынешнего храма находится тот, прежний... Приготовьтесь, нам выходить.

Анна подняла глаза и встретила с ним взглядом. И пусть они не прикасались друг к другу — не держались за руки, не задевали бедрами на ходу, их словно пронзило током. Анна прижала ладони к пылающим щекам и еле слышно проговорила:

— Здесь недалеко. Я вам пока еще немного расскажу об этом храме. Он сильно пострадал в 1812 году, при французах. Обгорел, был разграблен. Но через два года его отреставрировали и заново освятили. И с тех пор его никогда не закрывали. Все это время изо дня в день в нем молятся люди, священник кадит ладаном, и поет хор... Но вот мы уже и пришли!

Струна

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы оказалась куда больше той церкви в Берлине, но она не подавляла монументальностью и нисколько не напоминала музей.

Несмотря на раннее утро буднего дня, тут было много людей. Католический костел в Берлине, куда я заходил, по понедельникам был тих и безлюден, как забытый музей, который посещают только в большие праздники. Здесь все было иначе. В небольшом приделе, сразу за огромными резными входными дверями, стояли два массивных стола из грубого дерева. На одном лежали стопки писчей бумаги и карандаши. Вокруг склонились люди и что-то писали. У другого стола сидели две пожилые женщины в цветастых платках и, принимая эти листочки, складывали в деревянный ящик, а банкноты и монеты — в другой. Вскоре я понял, что на листочках люди пишут обращенные к Богу просьбы. Один листок — одна просьба. Стоимость каждой — 20 рублей. Это было так абсурдно, что я чуть не рассмеялся, но Анна приложила ладонь к моим губам. Мне стало интересно, кто же установил такую стоимость и растет ли она в результате инфляции. Это напомнило мне Польшу, где принято «платить, сколько не жалко», но не менее тысячи злотых (то есть 10 тысяч рублей) за крестины и двух тысяч — за заупокойную мессу. От друзей я знал, что эта сумма в Польше не зависит от инфляции.

Анна не поняла, почему я так отреагировал. Для нее это было всего лишь формой оплаты содержания, уборки и реставрации церкви. Я сказал

ей, что в «моей» церкви в Берлине просьбы к Богу бесплатны. Из записывают в специальную книгу, и Бог сам их читает. На любом языке. Ему не требуются ни деньги, ни переводчики. На что Анна резонно возразила, что в Германии церкви содержатся за счет налогов.

Но я уже забыл о деньгах, просьбах и вообще обо всем, даже о самом Боге, потому что запел хор. Звуки пения вызывали эхо, накладывались друг на друга, усиливались гармоничным резонансом и наполняли вибрацией все пространство от пола до купола. Человеческие голоса звучали мощно и красиво, им не требовалось музыкальное сопровождение. Я невольно вспомнил слова профессора на лекции по истории музыки в академии в Гданьске: «Сначала был голос, а музыка появилась позже, как его украшение и дополнение».

Пение было очень торжественным и возвышенным. Я так это себе и представлял. Анна стояла рядом. Она нашла мою ладонь, взяла ее и крепко прижала к своему бедру. Мы стояли с закрытыми глазами, слившись друг с другом. В этот момент Анна стала мне ближе всех на свете. А ведь еще три дня назад я даже не подозревал о ее существовании. Наверное, никому не дано знать, в какой момент возникает влюбленность...

Анна

Анна уже не могла определить свои чувства к этому постороннему, в сущности, мужчине. Он склонился к ее уху и осторожно сказал:

— Для меня уже давно существует важнейший критерий оценки произведения искусства: если оно заставляет меня плакать — мне больше ничего и не надо. А если нет — то, по большому счету, его для меня не существует.

Она молча кивнула.

Он вынул из кармана платок и вытер ей слезы.

Они вышли на улицу. Солнце стояло уже высоко, тени сделались короче. Анна крепко зажмурилась, потом открыла глаза и сказала:

— А вообще-то у меня с Богом что-то вроде соглашения — я его не ниспровергаю, а он меня за это не карает.

Струна рассмеялся:

— У вас прекрасное чувство юмора.

Она ничего не знала о нем, он — о ней. Ведь это была всего лишь вторая их встреча. Они еще не разговаривали по душам, не рассказывали о себе, не делились сокровенным.

И все же она чувствовала себя так, словно между ними уже все произошло. И она может позволить себе все что угодно...

Струна

Мы молча вышли из церкви и пошли по улицам на некотором расстоянии друг от друга, немного смущенные тем, что между нами произошло. Потом сели на скамью в парке и закурили. То есть закурил я, а Анна иногда просила у меня затянуться. Она не сняла с головы белую косынку, которую накинула в церкви, и выглядела в ней почти как невеста. Я придвинулся, осторожно снял косынку и поцеловал Анну в губы. И только потом спросил, можно ли мне ее поцеловать. Она улыбнулась и спросила, можно ли ей на это согласиться. А потом стала рассказывать о той Москве, которую еще хотела бы мне показать. Названия мне ничего не говорили: Центр современного искусства «Винзавод», Речной вокзал, сад «Эрмитаж»... Наконец она спросила, куда бы я сам хотел пойти, что хотел бы пережить, увидеть и услышать. Я ответил совершенно искренне, что хотел бы вернуться в архив. Вместе с ней...

Анна

Анна думала о том, как получается, что желания двух разных людей совпадают...

Ей сейчас не хотелось показывать Струне Москву. И он, словно прочитав ее мысли, сказал, что хочет проводить ее в архив.

Они так и поступили. Но прежде долго целовались прямо на улице, не замечая прохожих.

Дойдя до архива, Анна хотела попрощаться, но Струна притянул ее к себе и снова стал целовать, обнимая за талию под расстегнутым плащом.

— Пойдем со мной, — беззвучно, одними губами сказала она и взяла его за руку.

Они прошли длинными архивными коридорами, здоровались с кем-то, Анна отвечала на вопросы какой-то женщины относительно планирующейся поездки на Кижи... И вот ее кабинет, и дверь, и ключ. Они вошли, она заперла дверь на два с половиной оборота.

Он снял с нее плащ, потянул за ленту, и ее волосы рассыпались волной, закрывая лицо. Он целовал их, перебирая пальцами пряди и вдыхая

аромат. Потом резко подхватил ее и опустил на стол. От нетерпения он порвал ей платье. А она просто доверилась ему— впервые доверилась мужчине без оглядки. А потом вскрикивала и царапала ему спину, чувствуя себя русалкой с жемчужинами в волосах.

Струна

Мы вошли в здание архива и быстро пошли по коридору. Какие-то люди обращались к Анне, она что-то нервно им объясняла, отмахиваясь от них как от комаров, и нетерпеливо поглядывая на меня. Мы добрались до ее кабинета. Она закрыла дверь на ключ, придвинула к ней столик с книгами, сбросила туфли и встала передо мной. Я вытянул ленту из ее волос. Потом снял с нее плащ. Потом сдвинул платье с плеч. Она расстегнула лифчик. Я целовал ее волосы. И губы. Она положила мои руки себе на грудь. Потом встала на колени, расстегнула ремень и сдернула с меня брюки. Я прикоснулся к ее волосам. Ко лбу. К векам. Щекам. Губам.

Она губами ловила мои пальцы. А потом... потом нам хотелось только одного — соединиться. Как можно скорее, где угодно.

Смущение и стыд пришли позже, когда отступили вожделение, нетерпение и страсть. Анна сидела, широко раздвинув бедра, на письменном столе, который расчистила одним движением руки, и прикрывала руками грудь. Волосы ее растрепались, губы припухли, макияж размазался, на щеках горел румянец, глаза были закрыты. Я все еще был в ней.

— Мне очень важно, чтобы вы знали: я этого очень хотела, — прошептала она минуту спустя, не открывая глаз, — это не было наваждением. Но, боюсь, теперь вы меня бросите. Так часто бывает. Ведь вам не пришлось меня добиваться. А мужчина должен завоевывать женщину. Иначе она не заслуживает уважения. Мне стыдно, что вы можете так обо мне подумать. Я не из таких. Вы дотянетесь до моего платья? Оно на полу.

Она обращалась ко мне на «вы», и я чувствовал в этом резкий диссонанс. Эта обнаженная женщина еще принадлежала мне, и хотя мы так и не перешли на «ты», мне казалось, что теперь это было бы так естественно.

— Анна, разве ты не чувствуешь, что мы стали...

— Я очарована вами, — перебила она. — Это волшебное пение и удивительное ощущение близости там, в церкви... Мне показалось, нас

обвенчали, и с этого момента я принадлежу вам. Но вы меня вовсе не соблазнили. Я для этого уже не настолько молода. К тому же, мне кажется, соблазнение подразумевает какой-то умысел. А вы не такой. Я хотела ощутить ваши прикосновения, услышать ваше дыхание, разгадать вашу тайну, чтобы... ну, чтобы запомнить вас, прежде чем вы, отыскав свою Дарью, уедете и, возможно, исчезнете из моей жизни навсегда. Я вас тоже не соблазняла. Я просто не хотела потом жалеть, что не поддалась желанию. Я забылась, как и вы. Мне давно хотелось вспомнить, как это бывает. Я много раз отказывала себе в исполнении желаний, потому что считала, что так будет лучше. Лучше для других. И не подумайте, что я сейчас придумала все это, чтобы оправдать случайный секс скучающей замужней женщины. Вы мне верите? А сейчас... подайте мне, наконец, мое платье, — попросила она.

Я хотел сказать, что она неправа, что мне и в голову не придет относиться к ней хуже после того, что между нами произошло. Может быть, я испорчен до мозга костей, но завоевать женщину — для меня нечто большее, чем раздеть и взять ее. Женщину вообще невозможно завоевать, и для меня гораздо важнее получить право не на тело, а прежде всего на ее мысли. Большинство мужчин считает наоборот: сначала мысли и только потом тело. Но я с ними не согласен. И если она позволит, теперь я начну второй этап завоевания. И еще я подумал, что это ее упорное «вы», при нынешних обстоятельствах, очень возбуждает, и я вновь готов к сексу, хотя обычно для этого требуется больше времени.

Я попытался дотянуться до лежащего на полу платья, но стол был слишком высокий.

— Пойдите, не сейчас, — прошептала она, откидываясь назад, — я снова хочу вас...

И начала приподниматься и опускаться. Потом повернулась ко мне спиной. Я крепко обнял ее за талию, а она передвинула мои руки себе на ягодицы. Наше дыхание участилось. Я услышал вздох и тихий сдавленный стон. Обернувшись, она улыбнулась, кусая губы:

— Я опередила вас, да?

Я молча кивнул и погладил ее по голове. Она слезла со стола и опустилась передо мной на колени. Ее волосы коснулись моего живота...

Потом, прикрывшись ее платьем, мы лежали на ковре, устлавшем пол кабинета, и курили одну сигарету на двоих, передавая ее друг другу. Мы говорили, понизив голос. Иногда в дверь стучали, и мы испуганно замолкали, дожидаясь, пока стихнут звуки шагов. Иногда звонил телефон, на который был наброшен мой пиджак. Или вибрировал ее сотовый в

сумочке. А мы, как подростки, прогуливающие занятия, лежали голые на полу, прижимаясь друг к другу.

И наперебой рассказывали — о прошлом. О настоящем мы молчали, потому что говорить было еще не о чем. Мы задавали друг другу вопросы. Мне хотелось понимать каждое ее слово, но мой русский был слишком плох, поэтому мы часто переходили на немецкий. А когда и этого не хватало, Анна доставала польско-русский и русско-польский словари. Она купила их в Доме книги после нашей первой встречи, потому что ей хотелось почитать стихи поэта, которого продавщица охарактеризовала как представителя современной польской поэзии. Я спросил, о каком поэте идет речь. Анна ответила, что о Воячке. Она искала переводы его стихов в Интернете, но не нашла, поэтому попыталась сама перевести некоторые со словарем, но не могла найти в них ни тени лирики. Лишь отчаяние, предчувствие катастрофы, сюрреализм, безнадежность. А ей так хотелось лирики. Именно польской.

— Мне хотелось слушать твой язык и читать на нем, Струна, — сказала она.

Я задумался, считаю ли Воячека представителем современной польской поэзии. Наверное, нет. И вовсе не потому, что он умер. Этого поэта невозможно отнести к какой-либо школе, течению или к определенной эпохе.

— Воячек был во многом разочаровавшимся человеком, но и лириком тоже, — сказал я. — Мне кажется, он не верил в любовь, но все равно писал о ней. Иногда очень тонко, иногда натуралистично. Мне он нравится. Очень нравится.

— Ты знаешь какие-нибудь его стихи? — сказала она, садясь.

— Только одно...

— Прочтешь?

— Прочту, но только ты не смотри на меня, я стесняюсь декламировать стихи...

Она послушно легла рядом.

— Стихотворение называется «Просьба». У Воячека есть два стихотворения под таким названием, но я выучил только одно. Я буду читать по-польски, вернее, петь. Ты мало что поймешь, Анна...

— Это неважно. Читай же наконец...

Сделай так, чтобы я разделась и стала еще обнаженной.

Последний фиговый листок стыда давно отброшен,

тончайшие воспоминанья о платье я также смыла.

И хоть женщины, больше меня обнаженной
Ты, наверно, не видел, сделай так, чтобы я поверила,
Сделай так, чтобы я могла раскрыться еще больше.
Ты так давно не проникал в мои поры,
Что мне не верится, что тебя там когда-то не было.
И пусть я не верю, что могу раскрыться для тебя еще больше,
Давай, раздевай меня, раскрывай.

Я замолчал. Мне сделалось грустно. Я выучил это стихотворение очень давно. В студенческие годы даже написал на него музыку, но почти никогда не пел. Я прошептал его на ухо Изабелле один-единственный раз. И вот теперь, благодаря некоей продавщице из московского Дома книги, я вспомнил его и рассказал женщине, которая никогда не поймет, как много оно для меня значит.

— Струна, у тебя прекрасный голос! Кто написал музыку?

— Один студент. Очень давно...

— О чем оно?

— О том, как люди открываются друг для друга. Об обнаженной женщине, на которой уже нет даже листка стыда, но ей мало этой наготы, и она просит мужчину раздеть ее еще больше, чтобы он добрался до ее сути. Еще больше, сильнее, больнее. Этой женщине мало того, что он проник в ее тело. Она хочет иметь его всего внутри себя и просит, чтобы он ее открыл.

— Ты все это сейчас придумал? — спросила Анна. — Что случилось, почему ты плачешь?

— У тебя тут есть что-нибудь выпить? — спросил я смущенно.

Анна встала и подошла к столику, которым забаррикадировала входную дверь. На нем лежала толстенная книга в кожаном переплете, из которой она достала бутылку и две рюмки.

— Хорватская сливовица. Очень крепкая. Кажется, больше семидесяти градусов, но ничего другого у меня нет.

— Сильную литературу вы в архиве читаете, — усмехнулся я, вытирая слезы.

— Мне нравится, когда ты улыбаешься. Прошу тебя, не плачь больше никогда, независимо от того, что тебе эта женщина сделала. Хорошо?

Хорватская сливовица и правда оказалась чертовски крепкой. После первой рюмки Анна на коленях подползла к письменному столу и достала из ящика что-то вроде маленьких бубликов.

— Это сушки. Я их обожаю, — сказала она. — Но еще никогда ими не закусывала.

Потом я рассказывал ей о своем детстве в Польше и о музыке. А она — о своих несбывшихся мечтах, о театре и об ощущении, что вся ее жизнь в браке была пустой тратой времени. Я рассказал ей об Изабелле и о Панкове. И о Магде Шмидтовой, о том, что та говорила мне про Дарью, о том, что Дарье пришлось из-за Магды вынести.

— Я придумал для себя поиски этой девушки, потому что мне нужна была какая-то цель. На самом деле я даже не знаю, что сказал бы, если бы она вдруг, например, под села ко мне на скамейку в парке. Что я восхищаюсь ею? Что она показала мне, что такое настоящая любовь? Что ее поступок ассоциируется у меня с божественным *Caritas* — полным самоотречением ради другого человека? Но вряд ли для нее имело бы какое-то значение восхищение психа из Берлина. К тому же я мог разбередить ей душу. Возможно, уезжая из Германии, Дарья хотела навсегда забыть о той трагедии, а я напомнил бы ей то, что она давно вычеркнула из своей жизни.

Я закурил и протянул руку к рюмке со сливовицей. Анна набросила мой пиджак на плечи, села у меня за спиной и крепко ко мне прижалась.

— И все равно я благодарен Дарье. Она помогла мне избавиться от удобного самообмана, перестать презирать себя, начать думать о будущем, а не только о том, чем занять время между завтраком и вечерней самокруткой на угольной куче в котельной. Я стал снова слышать музыку и, может быть, вскоре отважусь всерьез сесть за рояль, играть и творить. Поиски Дарьи вернули меня в мир, где я жил много лет тому назад. Я добрался до Москвы и увидел, что можно жить иначе. И если мне случится встретить Дарью, я поблагодарю ее за тебя...

Анна кончиками пальцев нежно прикоснулась к моей спине, погладила меня по голове и крепко обняла:

— Ты встретишь Дарью и скажешь ей это. А если нет, я встречу ее сама и все скажу. Я тебе обещаю, — прошептала она.

Мы сели к компьютеру, прижавшись друг к другу головами, слушали музыку из одних наушников, целовались и продолжали говорить.

Поздним вечером, когда архив опустел, мы тихо, на цыпочках, спустились вниз. Охранник, делавший вечерний обход, не мог взять в толк, как это он не заметил нас раньше. По дороге в гостиницу Анна остановилась у торгового центра, чтобы купить себе новое платье. Она несколько раз звала меня в примерочную, чтобы узнать мое мнение. Выглядела она прекрасно в любом наряде, и я не мог понять, почему она ни

на чем не может остановить выбор. Она заметила, что я, как всякий нормальный мужчина, ничего не понимаю в женской одежде и просто хочу поскорее уйти из магазина. Наконец она закрыла кабинку на замок, сняла платье и спросила, читал ли я книгу израильской писательницы Зеруи Шалев под названием «Любовная жизнь». Когда я отрицательно покачал головой, она сказала:

— Обязательно прочти. Это замечательная история о том, на что способна замужняя женщина, когда встречает новую любовь. Я обожаю эту книгу. Там есть сцена в примерочной иерусалимского магазина. Очень чувственная. Вкусная. Я сейчас тебе ее покажу, а ты потом сам прочтешь...

Она расстегнула лифчик и сняла трусики, оставшись в одних красных башмачках. Оперлась ладонями о стеклянную стену, широко расставила ноги. Глядя в глаза моему отражению в зеркале, прошептала:

— Струна, у нас не так много времени. Я сейчас тебя очень хочу...

Из примерочной я вышел первым, думая о том, что сейчас на плазменных мониторах вместо показа мод появится порнографическая версия сцены из «Любовной жизни» писательницы Шалев. Я сел на кожаный диван. Молоденькая продавщица улыбнулась мне и предложила кофе. Я попросил холодной минеральной воды.

Через несколько минут появилась Анна. В красном платье в белый горошек. Продавщица восхищенно смотрела на нее. Мы подошли к кассе, и Анна попросила запаковать рваное белое платье в красный горошек.

Когда шли к автомобилю, я спросил, не удивится ли ее муж новому платью. Она улыбнулась и ответила:

— Не думаю, что он будет дома, когда я вернусь. Я предупредила, что сегодня буду поздно. Он наверняка принял это к сведению и сейчас снимает с бутылки колы чьи-нибудь стринги. А даже если оказался бы дома раньше меня, вряд ли заметил во мне какие-то перемены. Только если бы я пришла домой с красными мелированными волосами... да и то не уверена. Я не хочу о нем говорить, Струна. Не хочу так заканчивать этот день...

В номере я слушал Высоцкого и ел сушки, которыми Анна набила карманы моего пиджака. И с нетерпением ждал завтрашнего дня...

Анна

«Интересно, кто придумал все эти дни недели и числа? Наверное, очень скучные люди, которые никогда не любили», — думала Анна.

Она достала кружку, налила себе чаю, открыла банку, насыпала сахар,

попробовала, рассмеялась, вылила чай в раковину — соль и сахар хранились у нее в одинаковых банках, и она их перепутала. Вымыла кружку и ложку, достала из коробочки новый пакетик, посмотрела на него, сунула обратно, продолжая улыбаться. А потом закончилась вода в чайнике.

Ей было наплевать, что Сергей недовольно хлопнул дверью со словами: «В этом доме даже позавтракать нормально нельзя!», что за окном идет дождь, что диктор на телеэкране с серьезным видом рассуждает о какой-то политической проблеме. Она уже несколько дней не пользовалась ингалятором, дышала глубоко и спокойно.

Сергей вернулся и крикнул с порога:

— Это просто дичь какая-то! Бабе скоро сороковник, а она ни чаю согреть, ни завтрака приготовить не в состоянии, не говоря уже об ужине!.

Анна не отреагировала. Она была уверена, что любое негативное мнение о ее способностях и внешнем виде, высказанное мужем вслух, продиктовано исключительно желанием самоутвердиться и вывести ее из равновесия. Он стремился сохранить свою власть и держать ее под контролем.

А она была счастлива и не стыдилась этого. Ей хотелось быть Струне матерью, подругой, сестрой и любовницей. Он пробудил в ней желания, о которых она раньше и не подозревала. Она готова была отдаваться ему где угодно — на столе в архиве, в парке на скамейке, в лифте... Время и место не имели значения. Как и сомнения, стыд и страх.

Такой страх временами охватывал Анну — ей казалось, она сходит с ума. Внутренний голос нашептывал, что все плохо, а завтра — завтра будет еще хуже... Анна умела с ним бороться: она методично анализировала, чего именно боится: материальных проблем, болезней... И ничего страшного не находила. Всё оказывалось поправимо. Голос умолкал, но страх не уходил. Тогда она спасалась от него, общаясь с людьми, которые говорили, что она умна и хороша собой. Надо было делать вид, что у нее всё прекрасно, и это помогало — иногда она даже довольно долго верила в это сама, не уставая повторять, словно мантру: «У меня всё как у всех, я такая же, как все».

Она стала бояться ночей, они казались ей ужасными и прекрасными. Прекрасными — потому что Сергей спал, и она могла спокойно заниматься своими делами: вести дневник или просто бродить по квартире. Ужасными — потому что рано или поздно нужно было ложиться рядом и пытаться заснуть, потому что иначе на следующий день она будет чувствовать раздражение и усталость после бессонной ночи.

Иногда помогало чтение. Но когда в три или даже в пять утра она

откладывала книгу, тревожные думы снова подступали, и она терла глаза, и тянулась за ингалятором — в надежде, что хотя бы сегодня не умрет.

Анна смирилась с мыслью о том, что ей предстоит так прожить всю оставшуюся жизнь: в непрестанной борьбе с депрессией. И боролась с ней, используя все известные рецепты: новая прическа, уборка, шопинг, вечеринка...

Недавно кто-то поведал ей о новом средстве от бессонницы: облиться прохладной водой и лечь, не вытираясь. Пока шла из ванной к кровати, Анна начинала дрожать, но потом забиралась под одеяло и — о радость! — минут через пятнадцать, как правило, действительно засыпала.

Теперь мучениям пришел конец — потому что она твердо знала, что скоро заглянет в глаза Струне. Они у него такие внимательные, такие печальные... Анна читает в них одни и те же вопросы: «Ты не уйдешь? Не бросишь меня? Никогда-никогда? Ты всегда будешь со мной? Точно?»

Последняя запись в ее дневнике:

Нет такой улицы, такого парка, моста, клуба, дома, вагона метро, кинотеатра, где бы не было твоей тени рядом, где бы я не скучала по тебе, не спорила с тобой, не плакала от обиды, не улыбалась тебе, не лежала рядом с тобой, глядя в небо, на траве, не перечитывала твоих писем, не просила тебя о чем-то, не спорила с тобой, не понимала и прощала, целовала и отпускала, не отворачивалась, не искала ответы, не строила планы на будущее, не кричала от боли, не молчала, не искала и находила тебе оправдание, обвиняя себя, не ездила кругами по городу, не пропускала свои остановки, не любила тебя до ненависти. Нет такого уголка моего мира, живого ли, придуманного, нет такой комнаты, где бы тебя не было со мной все эти годы.

Перечитала, закрыла дневник. Когда человек счастлив, ему нечего сказать.

— Боль — такая же неотъемлемая часть жизни, как счастье, — произнесла вслух. — Без ночи не будет дня. Я живая, я смеюсь, мне больно. У меня есть сердце, моя душа то поет, то плачет. Для классики — черный, белый, нейтральный серый — я слишком живая сейчас! Я пишу красным — и чернила беру в своих венах.

Она вспомнила о знаменитой Гале, Елене Дьяконовой, жене Сальвадора Дали. По многочисленным свидетельствам, Гала была из женщин, у которых чрезвычайно развит материнский инстинкт. Только направлен он был не на детей, а на мужчину. Как известно, свою

единственную дочь Сесиль она не любила, посвятив себя Сальвадору Дали и его таланту. «Любовь — это дар, — подумала Анна. — И то, что она незаслуженная, только доказывает, что она настоящая».

Однажды перед Новым годом она, как всегда, смотрела по телевизору «Иронию судьбы, или С легким паром». Актеры рассказывали о пробах, съемках, о своих ролях, о том, что в фильм не вошло. А потом слово дали Рязанову. И он сказал: «Знаете, почему эта картина получилась? Потому что я в то время был очень сильно влюблен!»

«Со мной сейчас происходит то же самое, — поняла Анна. — Как же я не видела этого раньше! Чтобы все получалось — надо влюбиться!»

Впервые в жизни ей хотелось сделать что-то особенное для мужчины: заботиться о нем, купать его, ласкать, раствориться в нем. Эти желания давно поджидали ее, как забытые книги на полке.

Анна давно мечтала съездить в Петербург и побывать в Царском Селе. Еще в Орле, школьницей, много читала о нем, а дедушка рассказывал ей про лицеистов. Там, в Царском Селе, училась Анна Ахматова. Она была прекрасной пловчихой, ее даже называли наядой, и там она познакомилась с Николаем Гумилевым.

Анне захотелось поехать туда со Струной. Она набрала знакомые семь цифр.

— Марина Петровна, доброе утро! Как вы?

— Все хорошо Анечка. У вас что-то случилось? — спросила Марина Петровна.

— Марина Петровна, дорогая, я себя неважно чувствую, наверное, устала. Возьму больничный на несколько дней. Передайте, пожалуйста, Виталию Семеновичу, — уверенно лгала Анна впервые в жизни, и совершенно из-за этого не переживала.

— Конечно Анечка, главное поправляйтесь. Может быть, вам что-то нужно?

— Нет-нет, спасибо!

Повесила трубку. Открыла шкаф. Достала любимую красную блузку. Струне должен нравиться красный цвет, в нем есть и агрессия и застенчивость, словно в изысканном коктейле. Натянула узкие джинсы. С радостью отметила, что похудела. Сварила себе чашку крепкого кофе. Есть не хотелось, даже наоборот, чуть-чуть подташнивало. Бросила в сумку томик Ахматовой, доставшийся от бабушки.

Анна была уверена, что поступает правильно. Она заедет сейчас за Струной, и они направятся в аэропорт, чтобы улететь ближайшим самолетом в Санкт-Петербург. А от Пулково до Царского Села рукой

подать.

Провела по губам яркой помадой, брызнув любимые «Шанель» на шею и запястья, и громко хлопнула дверью, словно прощаясь со своим прошлым.

Подумать только! Духи существуют с 1920 года и по-прежнему несут на себе отпечаток новизны — и таланта. До Шанель никому не приходило в голову отказаться от цветочных запахов: женщины благоухали гелиотропом, гарденией, жасмином или розой, а смеси запахов, даже самые резкие, моментально выдыхались. Ее духи были революционны не только по запаху, но и по его долговечности. Но свою маленькую революцию Шанель совершила — Анна была в этом убеждена — благодаря любви. У нее был тогда роман с великим князем Дмитрием Павловичем, а Эрнест Бо, химик-парфюмер, разработавший для нее эту формулу, юность провел в Санкт-Петербурге при царском дворе, где служил его отец.

С удовольствием вдохнула аромат. Струне он наверняка знаком и не может не нравиться.

Легко запрыгнула в машину. Она испытывала такое сильное возбуждение, словно недавно стала женщиной и только что узнала, что такое оргазм.

Поставила диск Андреа Бочелли, подарок Марины Петровны. Анна знала, что Бочелли ослеп еще мальчишкой, после игры в футбол, где получил небольшую травму: эта травма усугубила проблемы со зрением, которые он испытывал с раннего детства. Его призванием стала музыка, в которой он наиболее полно мог выразить себя и всю гамму нерастраченных чувств.

Вскоре Анна подъехала к отелю, где жил Струна. Узнала у портье, в каком он номере.

«Пятьсот пятнадцать — снова пятерки, значит, все будет хорошо», — решила она.

За этой дверью начинается ее новая жизнь, новое дыхание.

Робко стучит. Дверь открывается. Небритый, серьезный Струна на пороге. Поцелуй, дерзкий и нежный одновременно.

Кожаный диван, на котором Анна, сбросив одежды, улетает в другие миры.

Ее послушное тело движется ритмично — она прижимается грудью к груди Струны, разводит и сводит бедра, откидывается на спину, ее губы открываются и принимают в себя все — его плоть, его палец, его язык. Она закусывает нижнюю губу и дышит прерывисто, выгибая узкую спину. Ее тело ведет себя правильно, но голова — ах, голова! Она улетает на далекий

удивительный остров, она так давно мечтала об этом, и теперь появился человек, он украл ее голову, украл ее сердце — и это настоящее счастье.

Придя в себя, уткнувшись ему в шею, вдыхает его запах.

— Я хочу показать тебе Петербург, вернее, Царское Село. Поедешь со мной? — прошептала с дрожью в голосе.

Он молча поцеловал ей пальцы. Потом тихо спросил:

— Ты уверена, что можешь... оставить свой дом и вот так, запросто, поехать со мной в Петербург?

— Не знаю, Струна, — ответила она, — я уже несколько дней ни в чем не уверена. Но точно знаю одно: я хочу быть с тобой. Именно там и именно с тобой. Ты согласен?

Они выпили кофе сели в машину. Струна был в голубой водолазке, которая очень шла к его глазам. По дороге в аэропорт им пришлось несколько раз сворачивать на обочину: они целовались — так самозабвенно, словно от этого зависела их жизнь.

Струна гладил ее грудь. Для нее в этот момент все было связано с ним, с его руками, голосом. Она забыла о приличиях и жаждала соединиться с ним немедленно. Она стонала и кусала себе руки, затихала и плакала, и снова отдавалась.

Они стали единым целым. Двухговым существом с четырьмя ногами и руками. Сиамскими близнецами. Она никогда не любила свое тело, но их общее тело нельзя было не любить. Он источало аромат манго, его сок был медом, карамелью, густыми сливками из молока лучших голландских коров. Четыре бедра, сорок пальцев, губы, лица. Анна шептала, задыхаясь, слова Суламифь: «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви».

— Мы ведь знали друг друга тысячу лет, — говорит Анна.

Струна кивает.

Во вторник купить билет в Санкт-Петербург легче, чем в пятницу, когда все работающие в Москве питерцы возвращаются домой.

Оставив машину на стоянке. Анна и Струна вбежали в здание аэропорта Шереметьево, поминутно останавливаясь, чтобы, обняв друг друга и поцеловавшись, убедиться в том, что они вместе. Как и предполагала Анна, свободных мест в самолете было много, и в их ряду никого больше не было. Пока самолет находился в воздухе, Струна не выпускал ее из своих объятий. Губы у нее распухли от его поцелуев, но ей это нравилось. Очень.

Она смеялась, пытаясь объяснить ему, куда они направляются. Рассказывала о Марте Скавронской, жене Петра Первого, которая сделала

потрясающую карьеру — от солдатской жены до Императрицы. Струна слушал ее и снова целовал.

В Пулково они взяли машину. Водитель всю дорогу что-то бубнил, но они его не слушали. Наконец подъехали к величественному зданию бирюзового цвета. Золотые купола ослепительно сияли в лучах солнца.

Аллея, по которой они шли, была пустынной. Наверное, в будние дни туристов так же немного, как пассажиров в самолете.

— А ведь здесь ходили российские императоры, и даже сама Екатерина Великая. Мы с тобой сейчас направляемся в их летнюю резиденцию, — сказала Анна и приосанилась. — Похожа я на императрицу?

Когда они вошли во дворец, она прошептала:

— Только молчи, а то поймут, что ты иностранец, и нам придется платить за билет втрое дороже.

Струна послушно следовал за ней, любуясь ее бедрами в обтягивающих джинсах.

Бродя по залам, они беспрестанно целовались. Смотрительница, старушка лет семидесяти, нарочно громко кашлянула и звучным голосом произнесла:

— Постыдились бы! — и демонстративно отвернулась.

Анна и Струна засмеялись и прошли в огромный зал, ошеломляющий своей роскошью.

— Не хотите ли пригласить меня на танец, пан Струна? — Анна присела в реверансе.

Он залюбовался ею.

Большой (танцевальный) зал Екатерининского дворца действительно потрясал воображение.

— Между прочим, на маскарад, который здесь проходил, Елизавета Петровна, дочь Петра Первого, повелела всем мужчинам явиться в женских нарядах, а дамам облачиться в мужские. У нее были красивые стройные ноги, и ей очень хотелось их продемонстрировать. А мои ноги тебе нравятся?

Он не ответил, молча разглядывая черно-белую фотографию у входа в зал. Трудно было узнать в запечатленных на ней руинах этот величественный дворец. Ни живописного плафона, ни ангелов, ни жирандолей...

— Почему люди с такой легкостью разрушают красоту? — тихо сказал он, вспоминая послевоенные фотографии Польши и Германии. — Зло не имеет ни границ, ни национальности. Не верится, что все это

восстановлено руками людей. Мне кажется, сейчас мало кто на такое способен. Все охвачены жаждой наживы. И для чего? Ведь человеку так мало нужно для счастья... — Он притянул Анну и крепко обнял, словно боялся, что она вдруг исчезнет.

Они еще долго бродили по дворцу, пока наконец не дошли до недавно реконструированной Янтарной комнаты.

Анне она показалось откровенным китчем, созданным исключительно для пиара немецкой компании «Рургаз». А Струна, напротив, с удовольствием наблюдал игру света на солнечном камне.

— Не двигайся, — вдруг попросил он, — пожалуйста, постой немного. Ты так прекрасна...

Потом они направились к памятнику Пушкину. У подножия лежали красные розы.

— Я никогда не любил Пушкина, — неожиданно признался Струна. — В его поэзии нет боли и страдания. Все слишком правильно, слишком совершенно.

Анна не стала спорить. Ей хотелось слушать его и соглашаться. Это так прекрасно, когда мужчина равнодушен, имеет свое мнение и способен его аргументировать.

Было уже шесть часов вечера, и хотя они весь день ничего не ели, кроме скудного завтрака в самолете, почему-то не ощущали голода. Поэтому просто купили в первом попавшемся киоске пирожки и весело уплетали их на ходу. Анне казалось, она ничего не ела вкуснее за последние несколько лет.

— Давай останемся в Петербурге, на ночь, — сказал Струна, и его взгляд был полон решимости.

Анна кивнула. Она отошла в сторону и набрала номер Сергея.

— Я сегодня не приду. И вообще... Я встретила другого мужчину, — сказала она и повесила трубку. Может, это была месть, а может, проявление эгоизма, неважно. Она сказала правду, и это главное. Она или говорила ему правду или, что случалось гораздо чаще, молчала. А сейчас она молчала слишком долго.

Выключив телефон, она бросила его в сумочку и почувствовала огромное облегчение. Подошла к Струне. Обняла его и тихо прошептала:

— Пригласи меня на свидание.

Струна обратился по-английски к проходившим мимо юноше и девушке. Они ответили, он утвердительно кивнул и, опустившись перед Анной на колени, сказал с улыбкой:

— Я приглашаю тебя в самый лучший ресторан Царского Села. Во

всяком случае, так уверяют эти влюбленные норвежцы.

Они свернули на узкую улочку, потом с нее еще раз направо и увидели дом, похожий на старинную русскую усадьбу, видимо, кем-то выкупленную и отреставрированную. У входа стоял мужчина в гусарском мундире; он так обрадовался, завидев Анну и Струну, будто они были первыми и единственными посетителями за этот день.

Они пили вино, болтали, кормили друг друга, соприкасались под столом ногами. Анна кокетничала с официантами, Струна изображал ревность. Потом он пел ей по-польски песни Высоцкого, а она по-русски читала ему свои любимые стихи. Один из официантов раздобыл где-то гитару, и Струна играл и пел, очаровав всех, включая поваров.

Они вышли из ресторана за полночь. Небольшая гостиница — старинное здание с большой кованой вывеской — располагалась за углом.

Поднявшись по деревянной, покрытой ковром лестнице, они открыли дверь, зажгли неяркую лампу...

Под утро Анна проснулась в его объятиях. Очень тихо, чтобы он не услышал, прошептала:

— Я люблю тебя, Струна...

Столица встретила их низким серым небом и морозящим дождем. Ни один лучик солнца не мог пробиться сквозь плотную вату облаков, ветер гонял по улицам мелкий мусор. Притихшая Анна быстрым жестом поправила волосы. Улыбнулась пасмурному дню. Разве погода имеет значение?

— Неужели мы снова в Москве... — сказал Струна, и голос его звучал глухо.

Анна сжала его холодные пальцы своими горячими. Всего три часа назад они проснулись в одной постели: их головы покоились на общей подушке, волосы переплелись и, казалось, они видели один и тот же сон. Она твердо решила, что поговорит с Сергеем, расстанется с ним по-хорошему и вернется к Струне, чтобы никогда с ним больше не расставаться.

Она не сомневалась, что в ее жизни появился наконец самый главный, долгожданный, необыкновенный, единственный, только ей одной предназначенный человек. Она уже столько раз отказывалась от счастья, страшась перемен. На сей раз так не будет! Нет, и точка! Что бы ее ни ожидало — если она упустит этот шанс, никогда себе этого не простит.

Струна выглядел растерянным. Кажется, его пугало столь стремительное развитие событий, он не был уверен в себе и в Анне и

сомневался, что два таких одиноких человека могут быть вместе счастливы.

Услышав его «Неужели мы снова в Москве?», Анна улыбнулась:

— Да, сейчас я отвезу тебя в гостиницу, закончу кое-какие дела и приеду! Ты рад?

— Рад, — грустно кивнул Струна.

Анна невольно вспомнила, как преподавательница психологии в университете говорила: «Мужчинам труднее, чем женщинам, принимать важные решения; они боятся резких перемен».

— Я рад, — повторил Струна увереннее. — Но почему ты молчала всю дорогу?

— Не находила слов, чтобы выразить, как я счастлива...

Москва, как всегда, стояла в пробке, но Анна ловко лавировала в плотном потоке. Ей не терпелось как можно скорее объясниться с мужем. У отеля она, не выходя из машины, коротко поцеловала Струну, резко развернулась и скрылась за поворотом.

Через полчаса она подъехала к дому. Припарковала автомобиль, чуть не задев бордюр. На минуту потеряла решимость. Все-таки они с Сергеем прожили вместе больше десяти лет... Но страх быстро отступил, и она энергично зашагала по лестнице. Открыла дверь своим ключом.

Сергей сидел в коридоре в низком кресле. Щеки покрыты клочковатой щетиной, глаза воспаленные, волосы растрепаны, в зубах сигарета.

— Ага, — медленно произнес он, — королева Анна изволили вернуться! Благодарствуйте! Глубокое вам мерси! — пошатываясь, встал, поклонился. — Ну, заходи, дорогая! — Сергей поднял с пола бутылку виски и сделал еще один большой глоток. — Я тебя ждал! Так ждал, что даже глаз не сомкнул!

Анна почувствовала, что дышать становится труднее.

— Ах, какие мы нежные! — прогремел голос Сергея. — У нас опять приступ! Значит, ты встретила другого мужчину и тут же провела с ним ночь?!

Анна попыталась выровнять дыхание и закашлялась. Сергей хрипло засмеялся.

— Астматичка несчастная! Да к тому же еще и бесплодная! — Его лицо исказилось гримасой. — Да кому ты нужна?! Ты в зеркало-то давно смотрела? Тебе в собес пора обратиться! Старуха! — Он с силой дернул ее за рукав. — Молчишь? А-а, я понял! Твой любовничек геронтофил. Пожилых баб предпочитает. Ясное дело, кто еще на тебя польстится! Только извращенец!

Анна вырвала у него рукав и прошла на кухню. Там сизыми клубами плавал табачный дым. Она заметила, что Сергей использовал вместо пепельницы ее любимую кружку английского фарфора.

— Перестань, пожалуйста! — произнесла Анна, стараясь говорить спокойно. — Я просто хочу уйти от тебя. Уйти навсегда. И всё.

— А этого ты не хочешь?! — взревел Сергей.

Она и опомниться не успела, как он подошел к ней и с размаху ударил по лицу, а потом еще раз. Анна не удержалась на ногах и упала.

Поднимаясь, не могла понять, отчего ей стало легче дышать. Хлопнула входная дверь, очень сильно, и она поняла — Сергей ушел. Прикоснулась к лицу. Вот, значит, как это бывает, когда тебя бьет мужчина — не страшно, но противно и хочется поскорее умыться.

Анна включила воду, приняла душ, и только потом заплакала.

«Наплевать! Я бы выдержала еще сотню пощечин, если это — плата за любовь Струны!»

Через полтора часа, свежая и бодрая, с все еще горящими после пощечин щеками, она стояла перед Мариной Петровной.

— Анечка! — воскликнула та, — я так переживала! У вас все в порядке? Как вы себя чувствуете?

— Марина Петровна, — улыбнулась Анна, — давайте, мы выпьем кофе, и я вам все расскажу.

Они уселись за маленький столик.

— Марина Петровна, — произнесла Анна, — такое случилось со мной впервые в жизни... Я влюбилась, я наконец поняла, что это такое — любовь! Только сейчас...

Взволнованно и сбивчиво она поведала Марине Петровне о своем путешествии в Царское село — о Струне, о Сергее, его негодовании, об окурках в английской чашке.

Марина Петровна слушала, не перебивая, не задавая вопросов. Сказала лишь:

— Знаете, Анечка, любовь — это такая редкость... Надо хвататься за нее обеими руками и не отпускать... Беречь... Анечка, вы счастливы?

— Да, — сказала Анна серьезно, — я счастлива.

Струна

Большая группа китайских туристов вывалилась из четырех автобусов, остановившихся у гостиницы, и плотным кольцом окружила бюро

обслуживания в ожидании ключей от номеров. Я подумал, что китайцев всегда много, и не только в Китае. Спотыкаясь об их чемоданы, с трудом добрался до лифта. И вдруг услышал:

— Господин Струна, господин Струна, подождите, пожалуйста, подождите!

Молодой служащий ресепшн, торопливо пробираясь сквозь толпу, бежал ко мне, размахивая белым конвертом.

— Господин Струна, мы пытались связаться с вами еще вчера вечером, но ваш телефон не отвечает. Вам следует немедленно позвонить в Берлин. Ваш сослуживец, — он взглянул на конверт, — некий господин Кошуа просит срочно ему позвонить. Он многократно звонил нам в течение суток. И ночью тоже. А сегодня утром к нам приходил сотрудник немецкого посольства.

— Не Кошуа, а Джошуа. И не сослуживец, а друг, — поправил я, вскрывая конверт.

На распечатке электронного письма, адресованного директору гостиницы, было написано по-немецки:

Струна, куда ты, мать твою, подевался?!!

Я обзвонил всю Москву и окрестности, включая немецкое посольство. Не хочется верить, что ты умер. Ты не должен сейчас умирать, Струна. Не имеешь права.

Номер твоего мобильного снится мне по ночам. Почему ты не носишь его с собой? Ты нужен нам, Струна. Очень нужен. Больше Свену, чем мне. Если ты не позвонишь сегодня (среда), я замучаю девиц из бюро обслуживания до смерти.

ПОЗВОНИ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, Джошуа А., Панков.

После этого следовало длинное послание по-английски директору гостиницы, в котором Джошуа сначала просил немедленно найти меня, потом требовал передать мне это письмо и наконец грозил неприятностями, если его просьба не будет выполнена.

Видимо, случилось что-то серьезное. Я вспомнил, что, уезжая с Анной в Санкт-Петербург, оставил свой сотовый на ночном столике, рассудив, что он мне там не понадобится.

Меня охватило страшное беспокойство. Все лифты были заняты китайцами, и я бросился к лестнице. С трудом переводя дыхание, вбежал в свой номер. Пол в прихожей был усыпан конвертами, которые в мое отсутствие, видимо, просовывали под дверь. В моем телефоне было около

ста пропущенных звонков от Джошуа, и вся память забита эсэмэсками. Я сел на подоконник, закурил и набрал его номер.

— Струна, — услышал я его спокойный голос, — хорошо, что ты не умер. В ночь с понедельника на вторник Свен пытался покончить с собой. Какой-то писака из берлинской газетенки обиделся на него за то, что он не хотел дать ему интервью, и в ресторане его жены добыл за деньги какую-то лживую информацию. Потом сфотографировал могилу на кладбище и отправил все это в свою газетенку. Он написал, что в смерти жены и дочери виновен Свен, потому что не заботился о семье и занимался только научной карьерой. Даже на похороны не соизволил пожаловать. Статья вышла в понедельник утром с анонсом на первой полосе. А наша больная на всю голову Аннета принесла газету на занятия, чтобы провести дискуссию о журналистской этике, об ответственности за печатное слово и о том, как оно соотносится с истиной. Свен молча вышел. Я последовал за ним и старался все время быть рядом. Но после обеда у меня закончились сигареты, и я был вынужден на несколько минут выйти в магазин. Когда вернулся, Свена и след простыл. Ближе к полуночи он лег на автостраде на Берлинер Ринг, у того самого места, где произошло несчастье. Ты меня слышишь, Струна, черт тебя дери? Почему ты молчишь?!!

— Да здесь я, здесь. Я тебя слушаю. Свена больше нет? — спросил я.

— В том-то и дело, ему не повезло, он выжил. Видимо, не заметил, что перед грузовиком ехал мотоциклист. Молодой студент из Берлина. Парень заметил тело на дороге, начал резко тормозить, упал, и Свена мотоциклом отбросило к отбойнику, разделяющему полосы движения. Он лишился обеих ног до бедер и весь искалечен. У него сотрясение мозга, повреждена селезенка, пробито легкое, и только одно ребро уцелело. Но он жив. Его и мотоциклиста вертолетом доставили в клинику «Шарите» в Лихтерфельд, где когда-то была клиника Штиглица. Парень по дороге умер, а Свен выжил. Мы со Шмидтовой дежури́м у него. Она по ночам, а я днем. Без дозы я не могу это выдержать, поэтому дневные дежурства для меня отпадают. Мы с ней сменяем друг друга. Свен редко приходит в сознание, постоянно бредит. А приходя в себя, говорит о тебе, Струна, — добавил Джошуа тихо. — Ты можешь приехать? — попросил он, помолчав.

— Который час? — спросил я.

— У нас — седьмой, начали развозить ужин.

— Значит, тут восемь. Дай мне пятнадцать минут. Я узнаю расписание самолетов и позвоню. Если сегодня рейса нет, прилечу самым первым завтра утром.

— Я скажу Свену. Он обрадуется, потому что очень тебя ждет. Может,

тогда хоть умрет спокойно. В аэропорту возьми такси до Лихтерфельда. Мы со Шмидтовой будем ждать у входа в клинику. И купи для Свена водки. Он говорит, русская водка самая лучшая. И для Норберта тоже купи. Она ему точно понадобится, правда, сейчас он в следственном изоляторе, но послезавтра его выпустят. Узнав про Свена, Норберт вместе с таким же обдолбанным приятелем поехал в редакцию газетенки. Взял с собой совковую лопату из котельной и поджидал этого журналиста. А потом черенком лопаты отбил ему почки. Полицейские долго не могли поверить, что лопату можно так крепко держать культиями. Но были свидетели, Норберта арестовали. Мы организовали в Панкове сбор подписей под петицией о его освобождении. Это, конечно, лишнее, его и так выпустят. Ему ведь некуда бежать. И на суде это примут во внимание. Ты слышишь меня, Струна, сукин сын?!

— Слышу, Джошуа, слышу.

— Это хорошо. Возьми себя в руки и не плачь. И выясни насчет самолета...

Я бегом кинулся в бюро обслуживания. Рейс на Берлин вылетал из Шереметьево в 23.10 по московскому времени. Было четыре свободных места. Я вернулся в номер и снова набрал Джошуа.

— Я прилечу в Шёнефельд сегодня в 23.40. Прямо из аэропорта приеду в клинику. Будь там. И не переборщи с дозой.

Я вернулся в номер и побросал вещи в чемодан. Мне должны были вызвать машину. Я волновался, что дорога до Шереметьево может занять много времени, но служащий бюро обслуживания успокоил, сказав, что «сегодня среда и уже довольно поздно, да еще наш Василий за рулем, так что все сложится удачно».

Я присел за стол и на бланке отеля написал письмо Анне. Уж и не помню, когда последний раз писал письма на бумаге. У меня не было времени, чтобы подбирать русские слова, а писать по-немецки я не хотел. Я знал, что только по-польски сумею выразить то, что хотел ей сказать.

Моя грусть была вызвана вовсе не сомнениями. Наоборот, абсолютной уверенностью в том, что наша встреча с тобой — настоящее чудо. И счастье. Хотя я знаю, что кто-то другой, и тоже по-своему необыкновенный, будет из-за этого страдать...

Анна, я должен — не просто должен, но хочу вернуться в Панков. У меня нет другой возможности сообщить тебе об этом, кроме как написав это письмо. Через несколько часов я улечу в Берлин, чтобы быть рядом с другом, который во мне сейчас очень нуждается. Именно сейчас, а не

завтра или через неделю. Я не рассказывал тебе о нем, может, вскользь упоминал, но он мне очень дорог...

Я вернусь. И на сей раз не для того, чтобы найти Дарью.

Я вернусь к тебе. Струна.

Водитель Василий, пожилой мужчина в синем костюме, узнав, что по пути в Шереметьево нам нужно на минутку заскочить в архив на Бережковской, 26, улыбнулся, продемонстрировав ряд золотых зубов. Он спросил, во сколько у меня самолет, дважды проверил, пристегнул ли я ремень безопасности, и мы тронулись. Временами гонка по Москве напоминала мне какой-то дикий слалом, и я закрывал глаза, прощаясь с жизнью, но когда открывал их, мир вокруг по-прежнему существовал, а я был жив. Василий же только посмеивался, посверкивая золотыми зубами. Мой страх веселил его, и, чтобы приободрить меня, он похлопывал меня по коленке.

Я долго звонил в дверь архива, пока наконец мне открыл охранник, тот самый, который выпускал нас с Анной отсюда два дня назад. Он обещал непременно передать Анне Борисовне письмо, как только она придет на работу. Я протянул ему конверт и вытащил из кармана тысячерублевую купюру. Василий посигналил, поторапливая, и я побежал к машине.

Когда, запыхавшись, я вбежал в зал вылетов, по громкой связи как раз называли мою фамилию. Добрые люди пропускали меня без очереди, будто знали, что я могу не успеть к Свену...

В самолете мне не хватало музыки. Я всегда презирал айподы, айфоны и тому подобные гаджеты, считая, что с их помощью слушать музыку нельзя. Но теперь меня устроили бы даже они, так нужна была мне музыка. А если не она, то много вина. С этим было проще. Я пил вино и вспоминал наши со Свенем разговоры. И всплывавшее в памяти «*Струна, можно я расскажу тебе что-то новое о своей жене? Действительно новое*» — трогало меня до такой степени, что обеспокоенная стюардесса спрашивала, действительно ли у меня все в порядке, и сама приносила мне очередную маленькую бутылочку красного вина.

Самолет приземлился в Берлине с получасовым опозданием, но поскольку в Москве я был последним пассажиром, поднявшимся на борт, мой чемодан появился на ленте первым. За раздвижной дверью зала прилетов на уровне минус один берлинского аэропорта Шёнефельд стоял Джошуа и курил сигарету, хотя в немецких аэропортах курить можно только в специально отведенных местах. В эту минуту он показался мне русским, потому что я вспомнил слова того парня из Казахстана о том, что

если в России что-то «строго запрещено», это значит «можно, но лучше не попадаться».

В такси Джошуа молчал. Видно, чувствовал, что я не хочу ни говорить, ни слушать. У клиники нас поджидала Магда Шмидтова. Медсестра на четвертом этаже была предупреждена о моем приезде. Мы вошли в маленькую палату, всю заставленную медицинской аппаратурой. На зеленоватом экране монитора над кроватью Свена бежали, попискивая, синусоиды. На столике стояла пустая ваза для цветов. Рядом — фото женщины, кормящей грудью младенца. Лицо Свена было плотно забинтовано. Открытыми были только глаза и рот.

Я медленно подошел и присел на белый вращающийся металлический табурет. Нашел под одеялом кончики пальцев Свена, торчащие из гипса.

— Свен, ты поедешь со мной в Москву прочитать там лекцию? — спросил я, стараясь говорить спокойно.

Я почувствовал тихое шевеление его пальцев.

— Да, Струна. С тобой — да... — прошептал он с трудом.

А потом улыбался. Мне, Джошуа, Шмидтовой. И поглядывал на монитор. Джошуа опустил шпатель в стакан с водой и смочил ему губы. Я сидел рядом, не выпуская из рук пальцы Свена. Минуту спустя он заснул.

Я достал из сумки бутылку с русской водкой, купленной в самолете, и поставил ее в пустую вазу. Шмидтова плакала. Джошуа переминался с ноги на ногу.

Потом мы с Джошуа поехали в Панков. На куче кокса в котельной мы курили траву и вспоминали самые интересные истории из тех, что рассказывал нам Свен. Уже начало светать, когда я заснул на полу в прокуренной комнате Джошуа.

Анна

Она ждала звонка. Так ребенок ждет самого желанного подарка к Рождеству, сгорая от нетерпения. Так невинная девушка томится в предчувствии первых ласк. Но телефон молчал.

Женщине не дано понять, что чувствует мужчина, когда ждет. Анна многое отдала бы, чтобы проникнуть невидимкой в самые сокровенные мысли Струны. Ведь женщинам свойственно домысливать и додумывать: «Забыл. Сейчас с другой. Она красивее, моложе». Она кругами ходила по комнате и вслух успокаивала себя:

— Что за чушь! Струна не такой. Это невозможно! Я идиотка.

Законченная идиотка!

Нет ничего ужаснее сомнений. Говорят, это от лукавого. Анна сомневалась во всем, даже в том, что жива. С утра она разбила стакан, порезала палец, осколок глубоко вонзился в ладонь. Она не замечала, как кровь медленно течет по руке, и только резкая боль вернула ее к реальности. Анна вспомнила, как однажды в школе кто-то назвал ее сиротой. Тогда она впервые осознала, что кроме бабушки у нее никого нет. И так крепко сжала себе руку, что на следующий день там появился синяк. Но она доказала себе, что жизнь все-таки сильнее...

С трудом добралась до архива. Ей сигналили, когда она резко перестраивалась из ряда в ряд. Весь мир сосредоточился сейчас для нее на маленьком сером телефоне, она поминутно доставала его из сумки, проверяла. Но звонков не было, сообщений тоже. Жизнь потускнела.

Открыв дверь архива, она впервые в жизни не поздоровалась с охранником. А войдя в кабинет, не снимая плаща, села за компьютер и просидела молча несколько часов, бездумно глядя в темный монитор. Перед ней всплывали картинки, связанные со Струной. Вот они гуляют по парку. Он держит ее за руку и нежно гладит пальцы. Вот они целуются, счастливые, вот бредут по аллее Царского Села. И нет ничего, кроме настоящего. Кроме прикосновений и поцелуев.

Телефон молчал.

— Нет, он не мог просто бросить меня. Так не бывает. Такое случается только в дурацких фильмах!

Прикусив губу, она позвонила в справочную, узнала номер гостиницы.

— Добрый день... то есть утро... Простите, я не совсем понимаю, который сейчас час... Скажите, господин Струна из номера пятьсот пятнадцать... Я хотела бы с ним поговорить.

Девушка-администратор звонким голосом ответила:

— Он уехал. Вчера вечером.

— Вы уверены? — Анна до крови прикусила губу.

— Разумеется, — был ответ.

Анна замерла, вглядываясь в трубку так, будто видела ее впервые в жизни. Медленно подошла к окну. Прикоснулась рукой к холодному стеклу, и по ее лицу потекли слезы. Ей не хотелось быть в этом кабинете, смотреть на этот стол и ходить по этому ковру.

Она спустилась по лестнице и побежала к выходу. Ей нужна была Дарья. Хотелось кому-то обо всем рассказать, поделиться, выплакаться. Только Дарья могла ее понять. Только она.

Машины решила оставить на стоянке и еще из кабинета вызвала такси.

И вдруг из горестной задумчивости ее вывел охранник:

— Анна Борисовна, подождите! У меня к вам важное дело! Анна...

Не слушая, выбежала из здания, села в машину и захлопнула дверцу. Ей было сейчас не до «важных» дел.

Прислонилась лбом к оконному стеклу. Лил дождь, капли текли по стеклу, как слезы.

Расплатилась с водителем, вышла. Такси развернулось, мерзко взвизгнув шинами на мокром асфальте. Анна отскочила, уворачиваясь от брызг, и тут же ступила в соседнюю лужу. Здесь, двумя домами правее, жила Дарья, она ехала к ней. Но внезапно поняла, что не сможет туда дойти. Она чувствовала себя безногим инвалидом, которому предложили пробежать стометровку.

— Я не могу! — вслух сказала она, наклонилась и принялась ладонью вытирать красную лаковую кожу сапожков.

— Что ж вы, девушка, — укоризненно произнес кто-то, — голыми руками. Возьмите платочек...

Анна подняла голову. Среднего роста мужчина протягивал ей сероватую тряпицу. Синяя куртка в масляных пятнах, на рукаве — дыра, из которой торчит синтепон. Коротковатые джинсы, босые ноги в резиновых шлепанцах.

— Спасибо, — вежливо ответила Анна и выпрямилась. Она устала плакать.

— А чего «спасибо»? Бери да вытирай, — неизвестный перешел на «ты» и улыбнулся, зубы у него были ровные, только сверху не хватало половины резца.

Анна, не ответив, прошла мимо, считая шаги, дошла до супермаркета, толкнула дверь. Ей туда не надо было, но не торчать же под дождем.

Походила по торговому залу. Взяла бутылку коньяка. Расплатилась и тут же попыталась открыть бутылку. Покупатели поглядывали на нее удивленно — вроде прилично одетая женщина, а туда же.

— Давайте помогу, — предложил высокий мужчин.

Она молча протянула ему бутылку. Он ловко открыл и вернул Анне:

— Может, все-таки не стоит прямо так, на ходу. Хотите, пойдем куда-нибудь?

Она посмотрела на него невидящим взглядом и, резко развернувшись, направилась к выходу.

Выйдя на улицу, глубоко вдохнула прохладный воздух и сделала глоток. Коньяк приятно согрел.

У Дашиного дома был скверик. Анна опустилась на влажную

скамейку. Открыла бутылку и сделала еще несколько глотков. Шел дождь, но ей было все равно. Неужели это она, Анна, еще вчера чувствовала себя такой счастливой, такой желанной? Неужели это она ловила на себе влюбленные глаза мужчины и забывалась в его объятиях?..

Сделала еще глоток и зарыдала во весь голос. Даже не сразу заметила, что зазвонил телефон. Это была Даша.

— Аня, где ты? Видела твои звонки, прости, не могла ответить. А сейчас вот не могу до тебя дозвониться. Не молчи, где ты? Что случилось?

— В твоём скверике, пью коньяк. Мы с дождем плачем, и нам хорошо. — Анна уже смеялась.

— Никуда не уходи. Я сейчас спущусь, слышишь?!

Анна с ненавистью бросила телефон в сумку и сделала очередной глоток коньяка.

— Я уже здесь, — прозвучало сзади. Анна резко обернулась, увидела Дарью. Та шла к ней прямо через газон, увязая каблуками в мокрой траве.

— Даша, Даша, — Анна снова заплакала, — представляешь, Струна пропал! Он бросил меня!

Дарья ахнула:

— Не может быть!

— Сергей прав, я ему не нужна. Он такой интересный, умный, такой нежный и сексуальный. А я?.. Я и себе-то не нужна.

— Анечка, дорогая, — Даша заботливо обняла ее. — Пойдем. Ты вся промокла. Простынешь. Пойдем.

— Никуда я не пойду. Я хочу умереть. Я не могу без него, понимаешь?! Это невозможно! Этот день я не переживу. Пусти меня! Я не хочу! Без него!..

Она оттолкнула Дашу, сделала шаг назад, поскользнулась на мокрых листьях, подвернула ногу, упала на колено, быстро встала, отряхивая грязные руки. Коньячная бутылка звякнула и откатилась.

Дарья протянула бумажные платки, сама вытерла ей пальцы.

Смеркалось. У входа в кафе с зелеными ставнями зажглись круглые лампы. Снова пошел дождь, такой мелкий, что не нарушал глади неглубоких луж, похожий на взвесь в свете фонарей.

Анна отшвырнула телефон:

— Мне не нужен телефон...

Даша подняла трубку с земли. Обхватила Анну за плечи. Они пошли вдвоем, цепляясь друг за друга и сопротивляясь ветру. Анна молчала, у нее не осталось больше ни слов, ни желания их произносить.

Она лежала в теплой Дашиной квартире, в чистой Дашиной постели,

заботливо укрытая одеялами, а Даша бронировала на сайте авиакомпании билет на Берлин.

«Правильно, — подумала Анна, обретая уверенность, — правильно, я полечу в Берлин, я поеду в Панков, я увижу его там, его профиль, и этого голубя, я найду его, и все будет хорошо». И провалилась в сон.

За окнами занимался розовый рассвет, дождь кончился, мокрые тротуары блестели в лучах солнца, и можно было поверить, что все неприятности позади.

Дарья не спала, сторожила покой Анны, ходила по комнате со стаканом чая, поглядывая на часы. Анне можно поспать еще тридцать минут, а потом — подъем, дорога в аэропорт, и неважно, что нет багажа, ведь вещи — такая, в сущности, ерунда.

— Доброе утро!

Услышав звонкий голос Даши, Анна даже улыбнулась, забыв на мгновение о своем горе. Высунула руку из-под одеяла, взяла мобильный, посмотрела. Ни вызовов, ни сообщений. Даже Сергей не звонил, отметила она краем сознания, даже Сергей.

— Даша, — спросила она, — а вот скажи мне...

Даша потянула с нее одеяло:

— Вставай, лежебока! Я приготовила тебе завтрак.

— Нет, ты мне сначала скажи, — Анна снова спряталась под одеялом с головой, только темные пряди оставив на подушке, — как так получается, что человек никому становится не нужен? Почему?

— Аня, ты говоришь ерунду! Это бред, причем болезненный. Я заказала тебе билет, ты через пять часов будешь в Берлине, отыщешь своего Струну и все выяснишь. Я уверена — у него были причины так поступить... Мы просто их не знаем. Ты поедешь и все узнаешь!

— И все узнаю... — эхом отозвалась Анна.

Она встала, в короткой футболке, выданной ей накануне Дашей, отправилась в ванную — умываться, принимать душ. Обернув голову полотенцем, вышла на кухню. Даша сидела на табурете с прямой спиной. В окно било солнце, доносился привычный шум большого города, призывно пахло кофе.

Даша сделала ей фруктовый салат и разогрела слоеные рогалики. На фарфоровой дощечке желтел сыр, рядом лежал острый нож. В масленке — холодное масло.

— Ух! — Анна внезапно развеселилась, — а я ведь есть хочу просто со страшной силой! Кажется, я последний раз ела... Когда же? Позавчера, что ли?

— Приятного аппетита! — Даша встала, прижала голову Анны к груди.

Анна позавтракала, Даша сварила еще кофе, на минуту вышла в другую комнату, вернулась и с загадочным лицом поставила перед подругой кожаный кофр.

— Ой, а что здесь? — Анна взглянула с любопытством.

— Мои запасы косметики, — Даша открыла крышку и покрутила в руке золотистый цилиндрик губной помады, — давай-ка, осваивай. Ты должна выглядеть ослепительно!..

Анна слышала ее голос, но не понимала слов. Со Струной тоже такое бывало, он сам ей говорил. Он отключался, чтобы прислушаться к своим мыслям. Сейчас ей требовалось то же самое.

Откинувшись в удобном кресле, она смотрела в иллюминатор. Земля стремительно удалялась, мощный авиалайнер набирал высоту, уши слегка заложило, она глотнула.

«Ничего, ничего, — сказала себе мысленно, — все в порядке. Через два часа я буду в Берлине, возьму такси, назову адрес клиники в Панкове... Я обязательно найду там Струну, просто подойду к нему, встану напротив, и наши глаза окажутся близко-близко. Так и будет. Именно так...»

Струна

Утром, перед завтраком, в дверь постучала Шмидтова и сказала, что Свен умер...

Джошуа вскочил с кровати, надел брюки и принялся как безумный носиться по комнате, пиная ногами мебель. Шмидтова присела на подоконник, грызла ногти и громко всхлипывала. А я, онемев, стоял у распахнутой двери и нервно обшаривал карманы. Вдруг Джошуа бросил в меня пачкой сигарет и стал громко причитать на идише. Минуту спустя он пулей вылетел из комнаты. Шмидтова бросилась следом. Свои ботинки я нашел под кроватью. Когда я бежал вниз по лестнице, до меня донеслись отзвуки скандала на первом этаже. Джошуа стоял у открытой двери кабинета психолога Аннеты и из коридора кричал:

— Ты, сука недоделанная, зачем ты принесла эту газетенку и зачем ты это ему прочла?! Тебе бы, психолог сраный, следовало понимать, что это его сломает! Уж кто-кто, а ты должна была это знать! Ты знала, как много значила для него семья и какую вину он перед ними чувствовал. Ты

выслушивала его по этому поводу сотни раз, ты сама видела, недоучка, как с наступлением марта он каждый раз погружается в свой ад и с каким трудом оттуда выбирается. Ты сама выписывала ему транквилизаторы и прекрасно знаешь, сколько он всего этого глотал, чтобы прийти в себя. Он поглощал больше психотропных средств, чем малые дети конфет. Ты же это знала! Так вот знай теперь: это ты его убила! Ты вытолкнула его на автостраду. До сих пор я тебя только презирал, но теперь я тебя ненавижу!

Вокруг Джошуа собирались пациенты. Психолог Аннета пыталась прервать его и закрыть дверь, но он опередил ее, подставив в проем свою босую ступню.

Спустя некоторое время толпа расступилась, пропуская полицейского. Все решили, что его вызвала Аннета, и принялись свистеть и материться. Привлечение полиции для разрешения конфликтов в Панкове считалось предательством. Ситуация становилась все более напряженной. В этот момент Шмидтова прорвалась к двери и спросила у полицейского, что он тут делает. Он смущенно ответил, что собирает информацию об одном из пациентов, но не хотел бы нарушать лечебный процесс и, если появился не вовремя, придет в другой раз. Все как по команде разразились громким смехом. Воспользовавшись этим, Аннета пригласила полицейского в кабинет, а Джошуа нехотя убрал ногу. Полицейский исчез за дверью, и все стали расходиться, похлопывая Джошуа по плечу.

В полдень мы с Джошуа поехали в клинику, чтобы забрать вещи Свена. В коридоре сновали журналисты с фотоаппаратами. В палате, где умер Свен, уже лежал другой пациент. Вещи Свена, упакованные в картонную коробку, нам выдал медбрат. В небольшом подвальном помещении стояло шесть таких коробок с написанными фломастером фамилиями и крестами — вещи тех, кто умер той ночью. Увидев это, я подумал, что в больницах, видимо, к смерти быстрее всего привыкают.

Мы на такси вернулись в Панков. Охранник Хартмут, узнав меня, вышел из своей будки и протянул мне письмо, подписанное директором клиники. Мне разрешалось, «несмотря на самовольное нарушение режима, продолжить лечение». Я мог даже занять свою бывшую комнату.

Вечером мы с Джошуа спустились в котельную с вещами Свена. В одном из отделений бумажника вместе с потрескавшейся фотографией дочурки лежал выцветший лист бумаги с компьютерной распечаткой письма, которое отправила жена, сообщавшая, что встретит его в аэропорту в Берлине:

Свен, я так рада этой поездке! Мы уже давно не проводили время

вместе. Вдвоем.

Желаю тебе счастливого полета. Пожалуйста, не работай в самолете слишком много. Постарайся заснуть.

Мы будем ждать тебя.

Мы тебя любим.

Твоя маленькая Марленка & Ирене.

Прочитав письмо, Джошуа достал из коробки бутылку русской водки. Открутил металлическую крышку и сделал глоток. Потом передал бутылку мне.

— Струна, — сказал он тихо, — после того, как ты неожиданно свалил к этим русским, Свен ходил словно в воду опущенный. У него никого не было. Родители давно умерли, жена и дочка погибли, а я, хоть он и доверял мне, был для него слишком чужаковат. На самом деле у него был только ты. Он никак не мог прийти в себя, когда ты уехал. И тогда мы с ним решили, что ты уехал в Россию за самогоном. Ну и, может быть, еще переспать с какой-нибудь женщиной. И скоро вернешься. Хорошо, что ты купил эту водку. Ты вернулся точно так, как мы это придумали. Иногда Свен бывал наивен, как ребенок. Не верил в Бога, но верил в сказку. Потому что сердце у него было больше, чем мозг, хотя всем только мозг его и нужен был. А теперь вот взял и умер. Взял и умер... — прошептал Джошуа, поднося бутылку к губам.

И заплакал, дергаясь всем телом. Весь день он строил из себя агрессивного, дерзкого, ищущего предлога подраться мачо, чтобы никто не понял, каково ему на самом деле. Только сейчас, здесь, в котельной, где они так часто сживали со Свеном, он почувствовал, что может сбросить броню и наконец перестать притворяться.

Потом мы молча пили водку. Когда на дне осталось на один глоток, Джошуа закрыл бутылку крышкой и бросил в коробку.

— Давай оставим этот глоток для Свена, если он вдруг придет за своей порцией, — сказал Джошуа. — Думаю, этой водки он бы выпил. Я говорил ему, что после водки звезды видишь совсем по-другому, да и Вселенная выглядит иначе, но он не хотел мне верить. Знал слишком много, да и упрямый был.

Водка не успокоила Джошуа. Он достал свой айпод и зажал его между коленей. Потом протянул мне маленький пакетик с белым порошком:

— Сделаешь нам дорожки, Струна? Надеюсь, ты не разучился в этой твоей Сибири. Сегодня такой день, что если не напудрить нос...

Я осторожно высыпал порошок на гладкий блестящий корпус айпода,

проведя две узкие дорожки во всю его длину. Облизал палец, взял немного порошка и размазал по деснам. Это был кокаин. Джошуа вытащил банкноту, ловко свернул в трубочку. Кокаин — не из тех угощений, которое сначала предлагают гостям. Первая порция предназначена хозяину. И только вторая — мне.

Потом мы плечо к плечу сидели на куче кокса, и мир постепенно становился проще, уходили меланхолия, грусть, усталость, тоска. В какой-то момент Джошуа сказал:

— Послушай, Струна, а что, если мы не позволим закопать Свена? Я никогда его не спрашивал, но он, наверное, не хотел, чтобы его червяки сожрали. Привезем его в Панков, попросим Норберта, чтобы он сжег его, как положено, а прах соберем в кубок. Мой отец когда-то провез контрабандой через немецкую границу прекрасный старинный кубок из Иерусалима. Он мне так понравился, что я его купил. Соберем в него прах Свена и спрячем где-нибудь здесь, в котельной. И когда будем расслабляться, он всегда будет с нами. Что ты об этом думаешь, Струна? — спросил он, толкая меня локтем под ребра.

— Что ты несешь, Джошуа?! Тебя, видно, пробрало по полной программе. Как ты себе это представляешь?! Что мы, выкрадем Свена ночью из морга и увезем на тачке Норберта? А тот сделает из печи в Панкове крематорий? Ты либо умом тронулся, либо окончательно окосел!

— Ладно, Струна, не нервничай, — сказал Джошуа, — я просто предложил...

Он вытащил из кармана еще пакетик и протянул мне свой айпод.

— Струна, скажи, только честно, правду ли говорит Шмидтова, будто ты в Москве искал какую-то украинскую лесбиянку, которую до этого и в глаза не видел?

— Да, правда.

— Но зачем? Заскок у тебя случился или ты наконец-то действительно рехнулся? Сказал бы, и я нашел бы тебе в Берлине столько украинских лесбиянок, что у тебя на всех сил бы не хватило.

— Дело не в этом. Не в сексе.

— Тогда зачем ты ее искал? С женщинами рано или поздно все сводится к сексу.

— Джошуа, ты начинаешь меня доставать! Тебе пора остановиться. У тебя сегодня плохой приход.

— Спокойно, Струна, спокойно. Я педик, поэтому могу ошибаться. Ты ее нашел?

— Нет. Не нашел. Но найду! Вот похороним Свена, и я туда вернусь.

— Не кипятись, я всего лишь спросил.

— Прости. Видишь ли, лесбиянка была всего лишь предлогом. Это запутанная история, как и почти все здесь, в Панкове. Но пока я искал ее, встретил одну женщину, которая... ну, не знаю, как это сказать. Может быть, ту, которая чаще всего приходит мне на ум, когда я слушаю музыку. Именно из-за нее я хочу туда вернуться. Ты понимаешь меня, Джошуа? — спросил я, глядя ему в глаза.

— Кажется, да, Струна. Если она для тебя связана с музыкой, значит, ты влип. А нет ли у нее младшего брата? — спросил он с улыбкой.

Мы разразились смехом. Конечно, Джошуа меня не поймет, ведь для него любовь — это нечто запредельное.

Потом он подключил к айподу наушники. Мы курили сигареты и слушали Чайковского и Шумана.

Под утро, когда серый рассвет продирался сквозь темноту, я стоял у окна в комнате психушки, глядя на пробуждающийся Берлин, и слушал громкий стук своего сердца. Мне казалось, что на трещине оконного стекла алым пятном растеклась кровь очередного голубя, забывшегося в полете.

Я плакал...

notes

Примечания

Вальтер Ульбрихт (1893–1973) — руководитель ГДР в 1960–1971 гг.

Роберт Бимон (р. 1946) — американский легкоатлет, чемпион Олимпийских игр 1968 г. по прыжкам в длину.

Закон Мёрфи (*англ.* Murphy's law) — шуточный философский принцип «Anything that can go wrong will go wrong».

Маарив — название еврейской вечерней молитвы.

5

Сексуальное поведение, имеющее своей целью деторождение.

Кевин Кеннер (р. 1963) — американский пианист, завоевал вторую премию на Международном конкурсе пианистов имени Фредерика Шопена в Варшаве в 1990 г.

Иво Погорелич (р. 1958) — известный хорватский пианист-виртуоз.

«Мать Иоанна от ангелов» — повесть Ярослава Ивашкевича.

Яцек Качмарский (1957–2004) — известный польский поэт, прозаик, композитор, бард;

Тадеуш Возняк (р. 1947) — польский музыкант, композитор и вокалист.

Барбакан (барбикан, барбикен) — фортификационное сооружение, предназначенное для дополнительной защиты входа в крепость. Барбакан в Кракове построен в 1498–1499 гг.

Сукеннице — здание бывших Суконных рядов, построенное в 1300 г., ныне филиал Национального музея.

Бытовая музыка евреев Восточной Европы, звучавшая в основном на свадьбах.

Найджел Кеннеди (р. 1956) — британский скрипач-виртуоз, получил скандальную известность за смешение симфонических традиций с джазовыми, выступления с рок-музыкантами, связи с футбольными фанатами и т. д.

Ванесса Мэй (р. 1978) — всемирно известная скрипачка, композитор. Известна в основном благодаря техно обработкам классических композиций.

Поморье (Поможе) — историческая географическая область Польши, расположенная вдоль южного берега Балтийского моря.

Так называют территории, долгое время входившие в состав Германии и возвращенные Польше после Второй мировой войны.

Болеслав Лесьмян (1877–1937) — известный польский поэт; для его поэзии характерно слияние условного, сказочного мира с реальным и окрашенное мистицизмом стремление раствориться в природе.

Берут Болеслав (1892–1956) — польский политический и государственный деятель.

Бона (1493–1557) — польская королева, дочь герцога миланского Джан Галлеаццо Сфорца, вторая жена короля Сигизмунда I; благодаря энергии и уму пользовалась большим политическим влиянием.

Колокол Зигмунт, или колокол Сигизмунда — самый большой в Польше, висит на одной из башен Вавельского замка, польского аналога московского Кремля.

Сэмюэл Барбер (1910–1981) — американский композитор.

«Взвод» (*англ.* Platoon; 1986) — фильм Оливера Стоуна о войне во Вьетнаме.

Строка из «Фауста» в пер. Б. Пастернака.

Бещады (*польск.* Bieszczady) — горы в Польше и на Украине, часть большого «лука» Восточных Карпат (Восточные Бескиды).

«Молитва» (на стихи Франсуа Вийона).

Чеслав Милош (1911–2004) — польский поэт, переводчик, эссеист. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г.

Андреас Волленвейдер (р. 1953) — швейцарский музыкант и композитор, автор классической и джазовой музыки для созданной им самим электроакустической арфы с весьма своеобразным звучанием.

Гарольд Чарльз Шонберг (1915–2003) — американский музыковед и музыкальный критик.